

Давай поженимся, Джон Апдайк

О, если любишь ты меня,
Женись, не ведая сомненья,
Любовь не хочет ждать ни дня,
Она умрет от промедленья.
Роберт Херрик

I. Теплое вино

Этот пляж на перенаселенном побережье Коннектикута был мало кому известен — к нему ведет узкая асфальтовая дорога с непонятными развилками, зигзагами и поворотами, которую поддерживают лишь в относительно приличном состоянии. У большинства неясных поворотов потрескавшиеся деревянные стрелки с длинным, индейским названием указывают дорогу к пляжу, но некоторые из них упали в траву, и когда наша пара впервые решила здесь встретиться, — а было это идиллическим, не по сезону мягким мартовским днем, — Джерри сбился с пути и опоздал на полчаса.

Сегодня Салли опять приехала раньше него. Он задержался: купил бутылку вина, потом — безуспешно — пытался найти штопор. Ее темно-стальной “сааб” стоял одиноко в дальнем конце площадки для машин. Джерри мягко подвел к нему свой автомобиль — старый “меркурий” со складным верхом — в надежде, что Салли сидит, дожидаясь его, за рулем и слушает радио: у него в машине как раз зазвучал Рэй Чарльз, исполнявший “Рожденные для утрат”.

Мечты всегда, всегда

Мне приносили только боль...

Она оживала перед ним в этой песне — в голове у него уже сложились слова, которыми он окликнет ее и предложит перейти к нему в машину, чтобы вместе послушать: “Эй! Привет! Иди скорей сюда — клевые записи дают!” Он привык разговаривать с ней, как мальчишка с девчонкой, перемежая хиповый жаргон телячьим сюсюканьем. Песни по радио обретали для него новый смысл, если он слушал их, когда ехал к ней на свидание. Ему хотелось слушать их вместе с нею, но они редко приезжали в одной машине, и по мере того, как той весной неделя сменяла неделю, песни, словно майские жуки, умирали в полете.

Ее “сааб” стоял пустой, Салли поблизости не было. Наверно, она — в дюнах. По форме пляж был необычный: дуга гладкого намытого океаном песка тянулась на добрых полмили между нагромождениями больших, в желтых потеках, камней; вверх от ближайшей груды камней уходили дюны — чахлая трава и извилистые дорожки отделяли друг от друга сотни песчаных лоскутов, словно комнаты в огромном, созданном природой отеле. Это царство гребней и впадин было обманчиво запутанным. Им ни разу еще не удалось найти то место — то идеальное место, где они были в прошлый раз. Джерри быстро полез вверх по крутой дюне, не желая терять время и останавливаться, чтобы снять туфли и носки. Он задышался, поднимаясь бегом в гору, и это казалось таким чудесным — будто вернулась юность, вернулась жажда жизни. С тех пор как начался их роман, он всегда спешил, бежал, выгадывал время там, где прежде этого не требовалось, — он стал атлетом, обгонявшим часовую стрелку, выкраивавшим то тут, то там час-другой, из которых складывалась небывалая и неведомая вторая жизнь. Он бросил курить: ему не хотелось, чтобы его поцелуи отдавали табаком.

Он выскочил на гребень дюн и испугался: Салли нигде не было. Вообще никого не было. Помимо их двух машин, на просторной стоянке виднелось еще штук десять — не больше. А через какой-нибудь месяц здесь будет полно народу: забитый досками дом (бар-раздевалка) оживет, наполненный загорелыми людьми и грохотом механической музыки, в дюнах станет невыносимо жарко, необитабельно. Сегодня же дюны еще хранили оставшуюся после зимы первозданность природы, не тронутой человеком. Когда Салли окликнула его, звук прилетел к нему по прохладному воздуху, словно крик

птицы: “Джерри?” Это был вопрос, хотя если она видела его, то не могла не знать, что это он. “Джерри? Эй?”

Повернувшись, он обнаружил ее на одной из дюн, что высилась над ним, — она осторожно шла в желтом бикини, глядя вниз, чтобы не наколоть босые ноги о жесткую траву; светловолосая, стройная, вся в веснушках, она казалась сейчас стыдливой девой песков, скрывавших ее от него. На вид плечи и грудь у нее были жаркие, а впадина спины — прохладная. Наверно, лежала на солнце. Ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо покраснелось.

— Эй! Как я рада, что ты приехал?! — Она слегка задыхалась, возбужденный голос ее звенел, и каждая фраза звучала вопросительно. — Жду тебя здесь, в дюнах, а вокруг носится орда диких полуголых мальчишек, мне стало так страшно?!

Мгновенно отбросив хиповые выражения, точно он стремился обойти нечто непередаваемое, смущающее, Джерри подчеркнуто вежливо сказал:

— Храбрая ты моя бедняжка. Каким опасностям я тебя подвергаю. Извини, что опоздал. Слушай. Мне ведь надо было купить вина, потом я пытался купить штопор, а эти абсолютные кретины, эти типы в занюханной деревенской лавчонке — их бы только Норману Рокуэллу *note 1* рисовать — пытались всучить мне вместо штопора коловорот.

— Коловорот?

— Ну да. Это как скоба с ручкой, только без скобы.

— Тебе, видно, совсем не жарко.

— Ты же лежишь на солнце. Ты где?

— Здесь, наверху?! Иди сюда.

Прежде чем последовать ее призыву, Джерри присел, снял туфли и носки. Он был в городской одежде — в пиджаке и при галстук — и нес бумажный пакет с бутылкой вина, словно дачник, возвращающийся домой с подарком. Салли расстелила свое красное с желтым клетчатое одеяло во впадине, где не было ничьих следов — лишь ее собственные. Джерри поискал глазами мальчишек и обнаружил их на некотором расстоянии в дюнах — они настороженно наблюдали за молодой парой, не поворачивая головы, точно чайки. А он бесстрашно, не таясь, посмотрел на них и прошептал Салли: — Они же совсем щенки и, похоже, невредные. Но может, ты хочешь уйти подальше в дюны?

Он почувствовал, как она кивнула у его плеча, кивнула, будто сказала, как одна лишь она могла сказать, по-особому, быстро и резко дернув головой: “Да, да, да, да”; он ловил себя на том, что нередко, когда Салли и близко не было, подражал этой ее манере. Он поднял ее одеяло, и ее плетеную сумку, и ее книгу (роман Моравиа) и положил на ее теплые руки. Шагая рядом с нею вверх по склону соседней дюны, он обнял ее обнаженный торс, желая поддержать, и повернулся, проверяя, видели ли мальчишки этот жест собственника. Но они, устыдившись, уже с воплями неслись в другом направлении.

Как всегда, Джерри и Салли долго бродили по дюнам — вниз по извилистым дорожкам меж колючих кустов восковицы, вверх по гладким склонам, смеясь от усталости, выискивая идеальное место — то самое, где они были в прошлый раз. И, как всегда, не могли его найти; под конец они разложили одеяло в первой попавшейся ложбинке с чистым песком и тотчас сочли это место изумительным.

Джерри встал перед ней в позу и устроил стриптиз. Сбросил пиджак, галстук, рубашку, брюки.

— О, — сказала она, — на тебе уже купальные трусы.

— Я проходил в них все это чертово утро, — сказал он, — и всякий раз, чувствуя, как резинка впивается в живот, думал: “А я увижу Салли. И она увидит меня сразу в купальных трусах”.

С наслаждением впивая воздух каждой клеточкой своего тела, он огляделся: они были скрыты от чужих глаз, сами же могли видеть стоянку для машин внизу, и застывший рукав моря, крепко зажатый между здешним берегом и Лонг-Айлендом, и сверкающие

гребешки пены, спешащие к берегу и разбивающиеся о полосатые скалы.

— Эй?! — слышалось с одеяла. — Не хочешь навестить меня в своих купальных трусах? Да, да — почувствовать друг друга кожей, всей длиной тела, на воздухе, под солнцем. От солнца под опущенными веками Джерри поплыли красные круги; бок и плечо Салли нагрелись, рот постепенно таял. Они не спешили — это и было, пожалуй, самым весомым доказательством того, что они, Джерри и Салли, мужчина и женщина, были созданы друг для друга, — они не спешили, они стремились не столько распалиться, сколько успокоиться один в другом. Его тело постепенно заполняло ее, прилаживалось, приспособивалось. Ее волосы — прядь за прядью — падали ему на лицо. Чувство покоя, ощущение, что они достигли долгожданного апогея, наполняло его, словно он погружался в сон.

— Непостижимо, — сказал он. И повернул лицо вверх, чтобы вобрать в себя еще и солнце: под веками все стало красным.

Она заговорила, уткнувшись губами в его шею, где была прохладная, хрустящая от песчинок тень. Он чувствовал песок, хотя песчинки скрипели на зубах Салли.

— А ведь стоит того — вот что самое удивительное, — сказала она. — Стоит того, чтобы ждать, преодолевать препятствия, лгать, спешить; наступает эта минута, и ты понимаешь, что все стоит того. — Голос ее, постепенно замирая, звучал тише и тише.

Он сделал попытку открыть глаза и ничего не увидел, кроме плотной идеальной округлости чуть поменьше луны.

— А ты не думаешь о той боли, которую мы причиним? — спросил он, снова крепко сжав веки, накрыв ими пульсирующее фиолетовое эхо.

Ее неподвижное тело вздрогнуло, словно он плеснул кислотой. Ноги, прижатые к его ногам, приподнялись.

— Эй?! — сказала она. — А как насчет вина? Оно ведь согреется. — Она выкатилась из его рук, села, откинула волосы с лица, поморгала, сбросила языком песчинки с губ. — Я захватила бумажные стаканчики: не сомневалась, что ты о них и не вспомнишь. — Это крошечное проявление предвидения в отношении своей собственности вызвало улыбку на ее влажных губах.

— Угу, ведь и штопора у меня тоже нет. Вообще, леди, не знаю, что у меня есть.

— У тебя есть ты. И это куда больше, чем все, что имею я.

— Нет, нет, у тебя есть я. — Он заволновался, засуетился, пополз на коленях туда, где лежали его сложенные вещи, извлек из бумажного пакета бутылку. Вино было розовое. — Теперь надо выбрать место, где ее разбить.

— Вон там торчит скала.

— Думаешь? А если эта хреновина раздавится у меня в руке? — Внезапная неуверенность в себе пробудила привычку к жаргону.

— А ты поосторожнее, — сказала она. Он постучал горлышком бутылки о выступ бурого, в потеках, камня — никакого результата. Постучал еще, чуть сильнее — стекло солидно звякнуло, и он почувствовал, что краснеет. “Да ну же, дружище, — взмолился он про себя, — ломай шею”.

Он решительно взмахнул бутылкой — брызги осколков сверкнули, прежде чем он услышал звук разбиваемого стекла; изумленный взор его погрузился сквозь ощерившееся острыми пиками отверстие в море покачивающегося вина, заключенное в маленьком глубоком цилиндре. Она подползла к нему на коленях и воскликнула: “У-у!”, несколько пораженная, как и он, этим вдруг обнажившимся вином — зрелищем кровавой плоти в лишенной девственности бутылке. И добавила:

— С виду оно отличное.

— А где стаканчики?

— К черту стаканчики. — Она взяла у него бутылку и, ловко приладившись к зазубренному отверстию, запрокинула голову и начала пить. Сердце у него на секунду замерло от ощущения опасности, но когда она опустила бутылку, лицо у нее было довольное и ничуть не пораненное. — Да, — сказала она. — Вот так у него нет привкуса

бумаги. Чистое вино.

— Жаль, что оно теплое, — сказал он.

— Нет, — сказала она. — Теплое вино приятно.

— Очевидно, по принципу: лучше такое, чем никакого.

— Я сказала приятно, Джерри. Почему ты мне никогда не веришь?

— Слушай. Я только и делаю, что верю тебе. — Он взял бутылку и так же, как она, стал пить; когда он запрокинул голову, красное солнце смешалось с красным вином.

Она воскликнула:

— Ты порежешь себе нос!

Он опустил бутылку и, прищурясь, посмотрел на Салли. И сказал про вино:

— От него покачивает. Она улыбнулась и сказала:

— Вот тебя и качнуло. — Она дотронулась до его переносицы и показала алое пятнышко крови на своем белом пальце. — Теперь, — сказала она, — встреться с тобой в обычных условиях, я всегда буду замечать этот порез у тебя на носу; и только я буду знать, откуда он.

Они вернулись на одеяло и дальше уже пили из стаканчиков. Потом они пили вино друг у друга изо рта, потом он капнул немножко ей на пупок и слизнул. Через какое-то время он застенчиво спросил ее:

— Ты меня хочешь?

— Да?! Очень, очень?! Всегда?! — Опять эта ее интонация, все превращавшая в вопросы.

— Никого кругом нет, нас тут не увидят.

— Тогда быстрее?!

Опустившись на колени у ног Салли, чтобы стянуть с нее нижнюю часть желтого купального костюма, он вдруг подумал о продавцах из обувного магазина — в детстве его смущало, что на свете есть люди, которые только и заняты тем, что, став перед другими на колени, возятся у их ног, и он удивлялся, что при этом они вроде бы не чувствуют себя униженными.

Хотя Салли была уже десять лет замужем и к тому же до Джерри имела любовников, ее манера любить отличалась чудесной девственной безыскусностью и простотой. С собственной женой у Джерри часто возникало порочное ощущение тщательно продуманных извивов и усилий, а с Салли — хоть она уже столько раз через все это прошла — всегда было бесценное ощущение изумленной невинности. Ее осыпанное веснушками, запрокинутое в экстазе лицо, с капельками пота, который выступил от солнца на верхней губе, обнажавшей сверкающие передние зубы, казалось зеркалом, помещенным в нескольких дюймах под его лицом, — чуть запотевшим зеркалом, а не лицом другого человека. Он спросил себя, кто это, и потом вдруг вспомнил: “Да это же Салли!” Он закрыл глаза и постарался дышать в одном ритме с ее легкими прерывистыми вздохами. Когда ее дыхание стало ровным, он сказал:

— А ведь под открытым небом лучше, верно? Больше кислорода.

Он почувствовал ее кивок у своего плеча, словно трепетное касание крыльев.

— А теперь отпусти меня? — сказала она.

Лежа рядом с ней, пока она втискивалась в свои бикини, он предал ее: захотелось сигарету. А ведь все и так хорошо — эта наполненность до краев, эта благодарность, это широкое небо, этот запах моря. Устыдившись стремления снова влезть в свою загрязненную прокуренную шкуру, он вылил остатки вина в стаканчики и воткнул пустую бутылку, как монумент, горлышком вверх в песок.

Салли смотрела вниз на безлюдную стоянку для машин и вдруг спросила:

— Джерри, как я могу жить без тебя?

— В точности как я живу без тебя. Просто мы оба большую часть времени не живем.

— Давай не будем говорить об этом. Давай не будем портить наш день.

— О'кей. — Он взял роман, который она читала, и спросил:

— Ты понимаешь, что к чему у этого малого?

— Да. А ты — нет.

— Не очень. Я хочу сказать, не потому, что все это не правда, но... — Он потряс книгой и

отшвырнул ее в сторону. — Разве это надо говорить людям?

— По-моему, он хороший писатель.

— Ты многое считаешь хорошим, верно? Ты считаешь Моравиа хорошим, ты считаешь, что теплое вино — это хорошо, ты считаешь, что любовь — это хорошо.

Она быстро взглянула на него.

— А ты не согласен?

— Отчего же — вполне.

— Нет, не правда, ты мне иногда не веришь. Не веришь, что я вот такая, простая. А я в самом деле простая. Ну совсем, точно... — ей трудно давались сравнения: она видела все так, как оно есть, — ...точно эта разбитая бутылка. Во мне нет тайн.

— Такая красивая бутылка. Посмотри, как срез — там, где отбито, — сверкает на солнце.

Она — будто маленький каток, которым утрамбовывают пляж: круглая, круглая. — Джерри снова захотелось сигарету — чтобы было чем жестикулировать.

— Эй? — сказала она, как говорила обычно, когда между ними, казалось, возникало отчуждение. — Привет, — серьезно ответил он.

— Привет, — повторила она в тон ему.

— Солнышко, почему ты все-таки вышла за него замуж?

И она рассказала ему, рассказала подробнее, чем когда-либо, обхватив колени и потягивая вино, — рассказала так мило, мягко, небрежно историю своего брака, типичную историю двадцатого века, а он смеялся и целовал ее склоненную голую поясницу.

— Ну, а я продолжала брать уроки верховой езды, и опять у меня был выкидыш. Тогда он послал меня к психоаналитику, и этот чертов аналитик, Джерри, — он бы тебе понравился: он очень похож на тебя, такой деликатный, — говорит мне — сама не знаю, отчего это у меня, но я всегда стараюсь делать, как советуют мужчины, такая уж у меня слабость, — так вот, он и говорит мне: “На этот раз вы родите”. О'кей, я и родила. В голове у меня все так перепуталось, я даже подумала, уж не от аналитика ли у меня ребенок. Но, конечно, не от него. Это был ребенок Ричарда. Ну, а потом — раз уж появился один, вроде бы надо было завести и еще, чтоб первый вырос человеком. Но не всегда все получается, как хочешь.

— А знаешь, почему у меня столько детей? — спросил он. — Я понятия об этом не имел, пока Руфь не сказала мне как-то ночью. Ты же знаешь, она очень верит в то, что роды должны быть естественные. Так вот, Джоанну она родила с великими муками, поэтому, видите ли, она решила произвести на свет еще двоих детей, чтобы, так сказать, отшлифовать технику. Он надеялся, что вызовет у Салли смех, и она действительно рассмеялась, и в этом обоюдном взрыве веселого серебристого смеха они потопили все печальные тайны, которые хранили про себя. У нее таких тайн было больше, чем у него. Это их неравенство огорчало Джерри, и когда тени от дюн удлинились в их маленькой лощинке, он поцеловал ее запястья и признался, отчаянно пытаясь уравновесить их судьбы:

— Я препогано поступил, женившись на Руфи. Право же, куда хуже, чем если б женился ради денег. Ведь я женился на ней, так как знал, что из нее выйдет хорошая жена. Такой она и оказалась. Господи, до чего же я об этом жалею. До чего жалею, Салли.

— Не грусти. Я люблю тебя.

— Я знаю, знаю. И тоже тебя люблю. Но как могу я не грустить? И что нам делать?

— Не знаю, — сказала она. — Наверно, еще немного потянуть, как оно есть?

— Да ведь на месте ничто не стоит. — Он указал вверх и уставился на солнце, точно хотел себя ослепить. — Это чертово солнце и то на месте не стоит.

— Не устраивай мелодрамы, — сказала она.

Они ползали на коленях, собирая свои вещи, а в уме прокручивали хрупкую ложь, которую придется нести домой. Светлые волосы его Салли упали, когда она склонилась над их крошечным, немудреным хозяйством, — она казалась при этом песчано-желтом освещении такой спокойной и такой покорной, что он сердито поцеловал ее, последний раз в этот день. Все их поцелуи казались последними. Ленивым движением она

опустилась на землю и, прижавшись к нему всем телом, обвила его руками. Плечо ее было теплым на вкус — его губы заскользили по ее коже.

— Детка, у меня это не пройдет, — сказал он, и она кивала, кивала так, что тела их закачались: Я знаю. Я знаю.

— Эй, Джерри? За твоим плечом я вижу Саунд, а на нем маленький парусник, и какой-то городок вдали, и волны накатывают на скалы, и все залито солнцем, и так красиво?! Нет. Не поворачивай головы. Просто поверь мне.

II. Ожидание

— Прощай?

— Не говори мне этого слова, Джерри. Пожалуйста, не говори. — Рука у Салли ныла оттого, что она так долго держала трубку, а сейчас задрожал и мускул плеча. Зажав трубку между плечом и ухом и высвободив таким образом руки, она принялась застегивать лямки на брюках Питера: за последние два-три месяца он научился сам одеваться, вот только пуговицы не умел застегивать, она же в разброде чувств не подумала даже его похвалить. Бедный мальчик, он уже целых десять минут стоял, дожидаясь, пока мать кончит разговор, — ждал и слушал, ждал и наблюдал с неуверенной улыбкой и таким настороженным выражением в глазах, что она заплакала. Рыдания подступили к горлу, словно рвота; она сжала зубы, стараясь, чтобы их не было слышно в телефоне.

— Эй? Не надо. — Джерри смущенно рассмеялся — звук донесся слабо, издалека. — Ведь я же только на два дня.

— Не говори так, черт бы тебя подрал. Мне плевать, что ты там думаешь, но не смей этого говорить. — “Я с ума схожу, — подумала она. — Я — сумасшедшая, и он возненавидит меня”. При мысли, что он может возненавидеть ее после того, как она так безраздельно себя ему отдала, Салли возмутилась. — Если ты только и способен смеяться надо мной, может, лучше нам в самом деле расстаться.

— О Господи. Я вовсе не смеюсь над тобой. Я люблю тебя. Мне просто невыносимо, что я не могу быть с тобой, чтобы утешить тебя.

Питер потерялся об нее, чтобы она застегнула ему и другую лямку, и она почувствовала в его дыхании запах леденца.

— Где ты взял леденец? — спросила она. — Нельзя есть сладкое с утра.

Джерри спросил:

— Кто там у тебя?

— Никого. Только Питер.

— Мне дал Бобби, — сказал Питер, и на его личико, растянутое в неуверенной улыбке, стал наползать страх.

— Пойди разыщи Бобби и скажи, что я хочу с ним поговорить. Иди же, лапочка: Иди найди Бобби и скажи ему. Мама сейчас кончит говорить по телефону.

— Бедный Питер, — раздался у нее в ухе голос Джерри. — Не отсылай его.

Да как он может так говорить, он, который лишил ее всякой радости общения с детьми? И однако, то, что он так говорил, делало ее совсем беззащитной, не измеримо расширяло ее любовь: не желал он держаться в рамках любовника, какими она их себе представляла. Излишняя доброта то и дело заставляла его вылезать из своей скорлупы. Слезы обожгли ей щеки: она молчала, чтобы он не услышал ее охрипшего голоса. Живот и плечи у нее буквально ныли от боли. Господи, он что, нарочно так себя ведет?

— Эй? Привет?

— Привет, — ответила она.

— Ты в порядке?

— Да:

— Пока меня не будет, ты сможешь съездить в Загородный клуб, и свозить детей на море, и почитать Моравиа...

— Я сейчас читаю Камю.

— Ты такая умная.

- Ты не опоздаешь на самолет?
- Свози Питера на море, и поиграй с малышкой, и поваляйся на солнце, и будь милой с Ричардом...
- Не могу. Я не могу быть милой с Ричардом. Из-за тебя он теперь больше для меня не существует.
- Я не хотел.
- Я знаю. Знаю. — Как любовник Джерри совершал одну ошибку — жестокую ошибку: он вел себя будто ее муж. А у нее до сих пор не было настоящего мужа. Теперь, наблюдая Джерри, Салли начала подумывать о том, что десять лет была замужем за человеком, старавшимся остаться для нее лишь любовником, сохраняя дистанцию, которую любовникам всякий раз приходится преодолевать. Ричард вечно критиковал ее, анализировал ее поступки. Когда она была молода, это ей льстило; теперь же казалось подлым. Вне постели он вечно стремился раздеть ее, обнажить какое-то двуличие, какие-то скрытые мотивы ее действий. А Джерри пытается ее одеть, то и дело бросая ей жалкие вуальки утешений и советов. Она кажется ему душераздирающе обнаженной.
- Послушай, — сказал он. — Я люблю тебя. Мне бы так хотелось, чтобы ты могла поехать со мной в Вашингтон: Но это невозможно. Однажды нам это сошло с рук. А теперь Ричард что-то знает. И Руфь знает.
- Знает?
- Чувствует кожей.
- Что ты сказал?
- Знает. Только не волнуйся на этот счет. Все равно во второй раз так чудесно не было бы. Мне тебя все время будет не хватать, и один в постели я вообще не засну. Кондиционер жужжит “ш-ш-ш”, “ш-ш-ш”.
- Значит, тебе будет не хватать и Руфи.
- Не в такой степени.
- Нет? Эй, я люблю тебя за то, что ты сказал: “Не в такой степени”. Настоящий любовник сказал бы: “Ничуть”.
- Он засмеялся.
- А я как раз такой и есть. Не настоящий.
- Тогда почему же я не могу выкинуть тебя из головы? Джерри, мне больно, физически больно. Даже Ричард жалеет меня и дает мне снотворное, которое выписал ему врач.
- Мир не знает более высокой любви, если один человек отдает другому снотворное, которое ему выписал врач.
- Я могла бы вечером позвонить Джози и сказать, что у меня сломался “сааб” и я застряла в Нью-Йорке. Последнее время машина барахлит вовсю, я знаю, мне бы поверили.
- Ах ты мое солнышко! До чего же ты храбрая. Но это у нас не пройдет. Они узнают, и тогда Ричард не отдаст тебе детей.
- Мне не нужны дети, мне нужен ты.
- Не говори так. Ты очень любишь своих детей. Достаточно тебе было посмотреть на Питера — и уже глаза на мокром месте.
- Это из-за тебя у меня глаза на мокром месте.
- Я этого не хотел.
- Она не знала, как на это реагировать: у нее никогда не хватит духу сказать, что он виноват во всем — и в том, чего не хотел совершить, и в том, что совершил. Джерри верил в Бога, и это служило препятствием для ее наставлений. Из окна кухни она увидела, что Питер нашел Бобби. Питер забыл про ее наказ и вместе со старшим братом направился в рожицу.
- Она спросила:
- Ты весь день будешь в Госдепартаменте? Я могу позвонить тебе туда, если приеду?
- Салли, не надо приезжать. Ты идешь на Голгофу ради пустяков, мы же проведем вместе всего одну ночь.
- Ты забудешь меня.

Его смех отозвался в ней болью: она ведь действительно так считала.

— Не думаю, чтобы я мог забыть тебя за два дня.

— Ты считаешь, что ночь со мной — это пустяк? Он помолчал; лента секунд разматывалась, и Салли почувствовала, что он не спешит с ответом.

— Нет, — наконец сказал он. — Я считаю, что ночь с тобой — почти предел мечтаний. Я надеюсь, что у нас будет таких ночей — целая жизнь.

— Надежда — вещь приятная и безопасная.

— Я не хочу препираться с тобой. Я никогда не препираюсь с женщинами. Мне кажется, мы не должны сворачивать на этот путь, пока не будем точно знать, что намерены делать дальше.

Она вздохнула.

— Ты прав. Я говорю себе: “Джерри прав”. Мы не должны поступать необдуманно.

Слишком многих это затрагивает.

— Целую орду. Хотелось бы мне, чтоб их было поменьше. Хотелось бы мне, чтоб в мире были только ты и я. Слушай. Ты не должна приезжать. Все рейсы перепутаны из-за этой забастовки в компании “Истерн”. Как раз сейчас у меня на глазах шесть генералов с четырьмя звездочками и двести молодчиков в дакроновых костюмах устремились к выходу номер семнадцать. Должно быть, объявили посадку на мой самолет. — Он говорил из телефонной будки на аэродроме Ла-Гардиа. Мест на самолет, которым Джерри собирался лететь, не оказалось, и теперь он убивал неожиданно освободившееся время, болтая с ней по телефону. Она подумала: “Если бы он попал на тот самолет, он бы мне не позвонил”, и эта случайность, позволившая увидеть, какое маленькое место занимает она в его жизни, лишь возвысила его в ее глазах, расширила своим оскорбительным подтекстом горькую, ноющую пустоту, которую создала в ней любовь. Он ждет, что она рассмеется или согласится с ним, — она никак не могла вспомнить, чего он от нее ждет.

— Я очень тебя люблю, — вяло произнесла она.

— Эй, а как ты объяснишь сумму, которую с вас взыщут за этот телефонный разговор? Я бы не стал звонить за твой счет, если бы знал, что мы проговорим так долго.

— Ну, я скажу... сама не знаю, что я скажу. Во всяком случае, он никогда не слушает, что я говорю. — Иногда Салли задумывалась, так ли уж справедливы обвинения, которые она выдвигала против мужа. Ее рассуждения были как заросший сад: каждый день появлялись новые сорняки.

— Уже началась посадка. Прощай?

— Прощай, дорогой.

— Я позвоню тебе в среду утром.

— Очень хорошо.

Он уловил в ее голосе укор и спросил:

— Позвонить тебе из Вашингтона? Завтра утром?

— Нет, у тебя и без того дел хватит. Вот и занимайся ими. А обо мне — думай иногда. Он рассмеялся.

— А как же иначе? — Помолчал и сказал:

— Ты ведь единственная. — Чмокнул мембрану и повесил трубку.

Она быстро опустила трубку на рычаг, словно спешила закупорить бутылку, чтобы Джерри не выскочил из нее.

Нечесаная, в развевающемся банном халате, Салли вышла из дома и громко крикнула, повернувшись к кромке рощицы: “Ма-аль-чики! На пля-аж!”

В рощице, отделявшей дома соседей друг от друга, густо пахло летом — то был не обычный для Коннектикута запах прореженного кустарника и травы, а насыщенный теплый аромат спрессованной листвы и гниющей древесины; вот так же пахло, когда она девчонкой приезжала на летние каникулы из Сиэтла в Каскады. Она поднялась наверх переодеться, и легкая свежесть папоротника, вызывавшая ностальгию, проникла в окно спальни, сливаясь с резким, слегка порочным запахом соли, которым отдавал ее купальный костюм. Салли скрутила волосы в пучок и заколола шпильками. Одна, у себя

в ванной, она вызвала к жизни образ Джерри — его глаза смотрели на нее из воздуха. Прежде, чем предаться любви, он всегда вытаскивал из ее волос шпильки, и, совершая ежедневный туалет, она как бы склонялась перед ним, разделяя его бережную любовь к ее телу.

Она приготовила термос лимонада, побранила мальчиков, велела им быстрее надевать плавки и усадила всех в машину. “Сааб” в последнее время неохотно заводился, поэтому она парковала его носом к спуску и, используя инерцию движения, включала мотор. Когда Салли докатила вниз, на дороге показалась Джози, усердно толкавшая колясочку с Теодорой, в ногах которой стоял пакет с покупками; они встретились на самой крутизне, где Салли обычно отпускала сцепление. Женщины успели лишь обменяться испуганными взглядами: как раз в этот момент зажиганье дало искру, и мотор рывком заработал. Салли показалось, что Джози хотела о чем-то ее спросить — что-нибудь насчет кормления или сна Теодоры, но Джози знала все это не хуже нее — даже лучше, потому что была менее рассеянная, не молодая и уже оставившая любовь позади.

Под умиротворяющим июньским солнцем Саунд расстился гладкой равниной, излучавшей приказ: “Не ездь”. Салли повела Питера и Бобби в дальний конец пляжа. Ей показалось, что в группке матерей на другом конце она заметила Руфь, а Бобби как раз сказал:

— Я хочу поиграть с Чарли Конантом.

— Вот устроимся, тогда пойдешь и разыщешь его, — сказала Салли. И вдруг обнаружила, что снова плачет: почувствовала, как щеки стали влажными. Не ездь. Все было за это — песчинки, хор танцующих искр на воде, настороженные взгляды сыновей, отдаленные всплески и крики, заполнившие ее слух, словно мягкий стук сказочной швейной машинки, когда она легла и закрыла глаза. Не ездь, ты не можешь уехать, ты здесь. Это единодушие всех и вся было просто поразительным. Он не хотел, чтобы она ехала к нему, он считал, что ночь с ней — это ничто, он заявил, что она устраивает себе Голгофу, он сказал, что так, как было в первый раз, уже не будет. Она обозлилась на него. Под безжалостными лучами солнца ей стало трудно дышать; что-то жесткое царапнуло кожу на ее обнаженном животе, и она открыла глаза, еле сдержав крик. Питер принес клешню краба, высохшую и пахучую. “Не уезжай, мамочка”, — молил он, поднеся к самым ее глазам свой хрупкий мертвый дар. Должно быть, все-таки это ей послышалось.

— Какая прелесть, солнышко. Только не бери в ротик. А теперь беги, играй с Бобби.

— Бобби не любит меня.

— Не говори глупости, милый, он тебя очень любит, просто не умеет это выразить. А сейчас беги и дай мамочке подумать.

Конечно, не надо ей ехать. Джерри правильно сказал: им тогда повезло. Ричард находился в одной из своих поездок. Джерри ждал ее в Национальном аэропорту, они взяли такси и поехали в Вашингтон. Шофер, серьезный мужчина с кожей цвета чая, который вел машину так осторожно, будто она его собственная, подметил их особую молчаливость и спросил, не хотят ли они проехать через парк, вокруг Тайдл-бей-син, чтобы полюбоваться японскими вишнями. Джерри сказал — да. Деревья стояли в цвету — розовые, сиреневатые, оранжевые, белые; дрожащие пальцы Джерри все крутили и крутили на ее пальце обручальное кольцо. Черная няня играла в пятнашки с маленькими мальчиками на тенистой лужайке, и самый маленький из них протянул ручонки, а мяч, не коснувшись их, упал у его ног. В вестибюле отеля, затянутом темными коврами, гудели протяжные южные голоса. Опустив глаза, портье записал ее как миссис Конант. Наверно, слишком уж она сияла. В номере были белые стены, на них — олеографии в рамках, изображавшие цветы; окна глядели в колодец двора. Джерри брился опасной бритвой, усиленно намазываясь кисточкой, чего она никак не ожидала. Она полагала, что все мужчины бреются электробритвами, потому что так брился Ричард. Не ожидала она и того, что в первый же вечер, пока она подкрашивала глаза в ванной, а он смотрел по телевизору, как Арнольд Палмер одерживает победу, загоняя мяч в лунку, на него нападет депрессия и ей придется добрых четверть часа сидеть подле него, а он будет лежать в

постели, смотреть на белые стены и бормотать что-то насчет страданий и греха; с большим трудом ему удастся, наконец, собраться с духом, застегнуть рубашку, надеть пиджак и пойти с ней в ресторан. Они шли тогда под весенним, высекающим слезы ветром — квартал за кварталом, по широким, проложенным под прямым углом друг к другу улицам, — ” — а ресторана все не было. Вдали от освещенных монументов и фасадов Вашингтон казался темным и загадочным, словно закулисная часть театра. Мимо, шурша, проносились лимузины, оставляя за собой одинокий текучий звук, — на Манхэттене такой звук можно услышать разве что поздно ночью. Салли чувствовала, как наваждение постепенно покидает Джерри. Он стал вдруг очень возбужденным, перепрыгнул лягушкой через счетчик у стоянки машин, а в ресторане, излюбленном месте техасцев, где подавали дорогие мясные блюда, изображал из себя конгрессмена, сопровождающего молочную королеву из Миннесоты. “А ты мне пригляну-у-улась, душечка”. Официант, прислушивавшийся к их разговору, ждал хороших чаевых и был явно разочарован. Странно, что ей доставляет удовольствие вспоминать неловкие ситуации, в которые она попадала. В тесном магазинчике подарков, где Джерри непременно хотел купить игрушки своим детям, продавщица то и дело поворачивалась к ней, точно она была их матерью, и вопросительно смотрела, озадаченная ее молчанием. В последнее утро у лифта, когда они ехали завтракать, старшая горничная спросила, можно ли убрать у них в номере, и она сказала — да; эта женщина была первым человеком, не усомнившимся в том, что она — жена Джерри. Когда они в полдень вернулись в номер, жалюзи были подняты, с кровати все было сдернуто и сама она отодвинута к бюро, а по полу ползал негр и чистил ковер мягко жужжавшим пылесосом. Джерри и Салли покинули отель в одном такси, но домой летели разными самолетами, а приехав, обнаружили, что никто не сопоставил их одновременного отсутствия. Их мимолетный брак — обручальное кольцо, вышвырнутое за борт, — все глубже и глубже, безвозвратно погружался в зеленые воды прошлого. Что бы ни случилось, такого уже не будет, никогда не будет — до конца дней. Было бы глупо — чистое безумие — все поставить на карту и поехать к нему сейчас. Ибо теперь жалюзи, прикрывавшие их роман, если и не были окончательно сорваны, то, во всяком случае, достаточно приоткрыты: Джози краснела и решительно выходила из кухни, когда в десять часов раздавался, по обыкновению, звонок Джерри; Ричард вечера напролет сидел и пил, задумчиво втянув в себя верхнюю губу; а с личика Питера почти не исчезало настороженное, выжидающее выражение. Даже малышка, только-только учившаяся ходить, и та, казалось, сторонилась ее и предпочитала держаться за воздух. Быть может, все это ей просто мерещится — порою Салли всерьез боялась за свой рассудок.

Она поднялась на ноги. Море, сшитое с небом тоненькой бежевой ниточкой острова, казалось, исключало возможность вырваться отсюда. Ею овладела паника.

— Ма-альчики! — позвала она. — Пора е-ехать!

Тельце Бобби изогнулось и упало на песок в припадке досады. Он крикнул:

— Мы же только что приехали, ты, дурочка!

— Никогда не смей так говорить, — сказала она ему. — Если будешь грубить, никому и в голову не придет, что, в общем-то, ты славный маленький мальчик. — Еще одна из теорий Джерри: если часто повторять человеку, что он славный, он и станет славным. И в известном смысле это срабатывало. Питер подошел к ней; Бобби, испугавшись, что его оставят одного, надулся, но все же нехотя побрел за ними к “сабу”.

Не ездите. Не надо. Однако приказ этот не имел веса, никакого веса, и хотя она читала его в десятке предзнаменований, возникавших препятствиями на ее пути, пока она одевалась и что-то лгала, чтобы выбраться из дома, и мчалась в аэропорт, и оплачивала проезд на самолете, — слова оставались пустыми, невесомыми, они колыхались на поверхности, а под ними была глубокая убежденность, что ехать надо, что ничего другого и быть не может, что только это — правильно. Волна уверенности в том, что она поступает правильно, подхватила Салли и пронесла над неожиданным препятствием в виде изумленной Джози, мимо обращенных к ней лиц детей, заставила стремительно, задышавшись, переодеться, пренебречь зловещим непослушанием стартера в “сабе”,

погнала ее вниз по извилистым аллеям парка Мерритт, по захлавленным металлическим ломом бульварам Куинса, помогла выдержать нервотрепку в аэропорту Ла-Гардиа, пока служащие компании “Юнайтед” искали для нее место на самолете, вылетавшем в Вашингтон. И Салли полетела — стала птицей, героиней. Небо легло ей на спину, когда они взмыли ввысь в безоблачную прерию над облаками, — трепещущая, сияющая, неподвижно застывшая, она залпом проглотила двадцать страниц Камю, в то время как тупорылый воздушный кондиционер шелестел над ее волосами. Самолет накренился над глинистым континентом ферм, где скакали лошади величиной с булавочную головку. В иллюминаторе потянулись акры пастельных домиков, изогнувшихся кривыми рядами, а потом город — пересекающиеся авеню и миниатюрные памятники. Обелиск Вашингтона на мгновение возник в глубине широкого Молла с куполом Капитолия в противоположном конце. Самолет пролетел над самой водой, подскочил, коснувшись земли, моторам дали обратный ход, машина содрогнулась, потом, величественно покачиваясь, пробежала немного вразвалку и остановилась.

Промчавшийся ливень оставил мокрые следы на взлетно-посадочной полосе. Послеполуденное солнце припекало бетон, и от него поднимался влажный жар, тропически душный, совсем не похожий на жару у моря, откуда Салли бежала. Было три часа дня. В аэровокзале люди стремительно шли к выходу, осаждаемые смешанными запахами натертых полов и горячих сосисок. Салли отыскивала пустую телефонную будку. Рука не слушалась, вкладывая в отверстие монету. Заусеница на указательном пальце больно задралась, когда она стала набирать нужный номер.

Джерри работал художником-мультипликатором и иллюстрировал телевизионную рекламу; Госдепартамент заказал его фирме серию тридцатисекундных сюжетов на тему о приобщении слаборазвитых стран к свободе, и Джерри отвечал за этот проект. Со времени той первой поездки в Вашингтон Салли помнила, в каком отделе Госдепартамента можно его найти.

— Он не работает у вас в штате, — пояснила она. — Он приехал всего на два дня.

— Мы нашли его, мисс. Скажите, пожалуйста, что передать — кто звонит?

— Салли Матиас.

— Мистер Конант, вас спрашивает мисс Матиас. Шуршанье электрических помех. И его резкий хохоток.

— Эй, ты, сумасшедшая мисс Матиас, привет.

— Я сумасшедшая? Наверно. Бывает, смотрю на себя и думаю — совсем спокойно: “Ты рехнулась”.

— Ты где, дома?

— Солнышко, неужели не ясно? Я здесь. В аэропорту.

— Господи, в самом деле приехала, да? Безумица.

— Ты на меня сердисься?

Он рассмеялся, но не стал разуберять ее. Во всяком случае, не сказал ничего утвердительного — одни вопросы.

— Да разве я могу на тебя сердиться, если я люблю тебя? Какие у тебя планы?

— А надо мне было приезжать? Я поступлю так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтоб я уехала?

Она почувствовала: он что-то высчитывает. За стеклом телефонной будки на натертом полу стоял маленький пуэрториканец приблизительно одних лет с Питером — должно быть, его тут оставили. Он вращал своими черными глазенками; острый подбородочек его вдруг задрожал, и он заплакал.

— Можешь убить как-то время? — спросил, наконец, Джерри. — Я позвоню в отель и скажу, что жена решила приехать ко мне. Возьми такси, поезжай в Смитсоновский институт или еще куда-нибудь часика на два, встретимся на Четырнадцатой улице у пересечения с Нью-Йоркской авеню примерно в половине шестого.

Дверь соседней телефонной будки распахнулась, и смуглый мужчина в цветастой рубашке раздраженно схватил мальчика за руку и повел куда-то.

— А что, если мы друг друга не найдем?

— Слушай. Я найду тебя даже в аду. — Ее всегда пугало, что Джерри, упоминая про ад,

имеет в виду вполне конкретное место. — Если почувствуешь, что заблудилась, иди на Лафайетт-сквер — ну, ты, знаешь, в садик за Белым домом — и стой под передними копытами лошади.

— Эй? Джерри? Не смей меня ненавидеть.

— О Господи. Вот было бы хорошо, если б я тебя возненавидел! Скажи лучше, как ты одета.

— Черный полотняный костюм.

— Тот, в котором ты была на вечеринке у Коллинзов? Грандиозно. В Смитсоновском институте на первом этаже потрясающие старинные поезда. И не пропусти самолет Линдберга. До встречи в полшестого.

— Джерри? Я люблю тебя.

— И я тебя люблю.

“Значит, он считает, что хорошо было бы, если бы он мог возненавидеть меня”, — подумала она и, выйдя из аэровокзала, взяла такси. Шофер спросил, в какой Смитсоновский институт ей надо — в старый или в новый, и она сказала — в старый. Но подойдя к двери старинного особняка из красного кирпича, круто повернула обратно. Прошлое было для нее лишь пыльным пьедесталом, возведенным для того, чтобы она могла жить сейчас. Она повернула обратно и пошла под солнцем по Моллу. Убывающий день, тротуары, усеянные пятнами тени и семенами, тележки торговцев сладостями, туристские автобусы с темными стеклами, набитые глазающими американцами, стайки детей, причудливое кольцо колеблемых ветерком красно-бело-синих флагов у основания высокого обелиска, индийские женщины в сари с браминскими кружочками на лбу и жемчужинками в ноздре и в то же время при зонтиках и портфелях — все это создавало у Салли впечатление ярмарки, а купол Капитолия вдали, более светлый, чем серые крылья основного здания, поблескивал, словцо глазированный марципан. Солнечный свет, озарявший, куда ни глянь, официальные здания, казался ей драгоценным, как деньги, — она шла мимо Музея естественной истории вверх по 12-й улице под серыми аркадами министерства почт, затем по Пенсильванской авеню — к ограде Белого дома. Она чувствовала себя легко, свободно. Правительственные здания, вылепленные причудливой рукой и застывшие, как бы царили в воздухе рядом с нею; величественные и нереальные, они давили на нее. В просветы между часовыми и зеленью она поглядела на Белый дом — ей показалось, что он сделан из чего-то ненастоящего и похож на меренгу. Она подумала о большеглазом молодом ирландце, который правил там: интересно, каков он в постели, мелькнуло у нее в голове, но представить себе этого она не могла — он же президент. И она свернула на 14-ю улицу, шагая навстречу своей судьбе. В сумочке у Салли была зубная щетка — весь ее багаж: она унаследовала от отца любовь путешествовать налегке. Ничем не обремененная, не чувствуя жары в своем черном полотняном костюме, она казалась самой себе элегантной молодой вдовой, возвращающейся с похорон мужа, старого, жадного и злого. На самом-то деле Ричард, несколько, правда, отяжелевший за эти десять лет, был все еще хорош собой, хотя голова его, казалось, давила своей тяжестью на плечи, а движения стали менее стремительными и четкими под бременем “ответственности” — слово это он произносил отрывисто и раздраженно. Когда они только поженились, жили они на Манхэттене и, поскольку были бедны, много ходили пешком и ничуть не расстраивались. Она почувствовала призрак Ричарда у своего плеча, вспомнила, как стала даже ходить иначе от сознания, что рядом — мужчина, твой собственный. Она ненавидела учебные заведения — эти чопорные места изгнания на Восточном побережье. Ричард вызволил ее из Барнарда и сделал женщиной. Куда же девалась ее благодарность? Неужели она такая испорченная? Нет, не могла она этому поверить сейчас, когда вся была еще наполнена ощущением бескрайнего небесного простора, хотя под ногами блестели кусочки слюды, а ноздри щекотал перечный запах гудрона. Полосы на переходе размазались и сместились, расплавленные летней жарой. Она решительно шагала по широким тротуарам, обгоняя неторопливо шествующих южан. Часы на церкви — лимонно-желтой

церкви Святого Иоанна — пробили пять ударов. Она пошла на запад по Ай-стрит. Правительственные служащие в распахнутых легких пиджаках, щурясь от солнца, смотрели сквозь нее и спешили дальше — к ожидающим в Мэриленде женам и мартини. Море женщин выплеснулось на улицы. По стеклянным фронтонам зданий слева золотой брошью катилось солнце, и жаркие лучи его, нагрев ее лицо, заставили Салли вспомнить о себе. Она поняла, что невольно насупилась, сосредоточенно вглядываясь в лица, из страха пропустить лицо Джерри.

Как он просияет! Невзирая на все свои угрызения совести и предчувствия, как он просияет при виде нее, — он всегда сияет, и только она одна способна вызвать у него эту улыбку. Хотя он был всего на несколько месяцев старше нее и отличался удивительной для своих тридцати лет наивностью, в его присутствии она чувствовала себя словно бы его дочерью, чье непослушание всякий раз было проявлением бережно хранимой жизнестойкости. Салли почувствовала, что лицо ее застыло в широкой улыбке — в ответ на воображаемую улыбку Джерри.

А другие лица таили в себе опасность. Ей показалось, что она увидела знакомого, молодого питомца Уолл-стрита, которого Ричард не раз приглашал к ним в Дом, — он как раз заворачивал за угол здания авиакомпании “Бритиш Оверсиз Эрэйс”, напротив простершей свою длань статуи Фэррагата note 2 . Фамилия этого человека была Уигглсуорс, а перед ней два инициала — какие именно, Салли не могла вспомнить. Его ничего не выражающее лицо исчезло за углом. Наверняка она ошиблась: ведь на свете миллионы людей, но типов — лишь несколько, а таких людей, которые не принадлежат ни к одному из них, очень мало. Тем не менее, из страха быть узнанной, она опустила взгляд, так что, как и предсказывал Джерри, обнаружил ее, конечно же, он, хоть и не в аду.

— Салли! — Он стоял на теневой стороне Ай-стрит, без шляпы, подняв руку, точно останавливал такси. В строгом костюме он был обескураживающе похож на всех прочих, и пока он ждал у перекрестка, чтобы сигнал светофора позволил перейти улицу, сердце у нее екнуло, точно она вдруг проснулась и выяснила, что находится за двести миль от дома. Она спросила себя: “Кто этот мужчина?” Сигнал возвестил: ИДИТЕ, и он заспешил к ней — первый в группке людей; сердце у нее заколотилось. Она беспомощно стояла на краю тротуара, а расстояние между ними сокращалось, и ее тело, все ее опустошенное тело, вновь чувствовало трепетное касанье его рук; она увидела его крючковатый нос, который никогда не загорал и был красным все лето, его печальные неопределенного цвета глаза, его неровные, торчащие зубы. Он гордо и как-то нервна улыбнулся, с минуту неуверенно постоял, потом дотронулся до ее локтя и поцеловал в щеку.

— Господи, до чего же ты грандиозна, — сказал он, — шагаешь вразвалку своими большими ногами, точно девчонка с фермы, которая на каблуках ходить не умеет. Сердце у нее успокоилось. Никто больше не видел ее такой. Она ведь из Сиэтла, потому и кажется Джерри девчонкой с фермы. Да она и в самом деле чувствовала себя не в своей тарелке здесь, на востоке. Среди местных женщин немало таких — к примеру Руфь, — которые никогда не прибегают к косметике, никогда открыто не флиртуют; рядом с ними Салли чувствовала себя нескладной, угловатой. Ричард заметил это и пытался понять причину ее неуверенности. Джерри тоже заметил и назвал ее своей “девочкой в ситцах”. Только после смерти отца, поехав однажды в Сан-Франциско, она вдруг почувствовала то, что, наверное, чувствуют все дети: до чего же здорово во всем, в каждой маленькой мелочи, быть самой собой.

— Как ты, черт подери, сумела удрать?

— Просто сказала “до свидания”, села в “сааб” и отправилась в аэропорт.

— А знаешь, это здорово — встретить женщину, которая умеет использовать двадцатый век на все сто. — Это была еще одна его причуда — считать, будто есть что-то комическое, несообразное в том, что они живут сейчас, в этом веке. Случалось, лежа с ней в постели, он называл ее “дражайшая моя половина”. Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие деликатно подчеркивать, — чтобы она ни в коем случае не забыла, — сложность их отношений в рамках окружающего мира. Даже сама его нежность возвещала о том, что их любовь незаконна и обречена.

— Эй, — сказал он, перекидывая к ней мостик сквозь наступившее молчание. — Я не хочу, чтобы ты рисковала ради меня. Я хочу сам рисковать ради тебя.

“Но ты не станешь”, — подумала она, продевая руку под его локоть, и опустила голову, стараясь попасть в ритм его шагов.

— Пусть это тебя не волнует, — сказала она. — Я ведь здесь. Он молчал.

— Ты злишься на меня. Не следовало мне приезжать.

— Я никогда на тебя не злюсь. Но все-таки как же тебе это удалось?

— Удалось.

Казалось, тела у него нет — одни крупные кости и нервы: у нее возникло впечатление, будто она держится за уголок воздушного змея, который стремится вырваться и взмыть ввысь.

Он тащил ее за собой.

— Ричарда, что, сегодня вечером не будет дома? — спросил он.

— Будет.

Он резко остановился.

— Господи, Салли. Что случилось? Ты взяла и сбежала? А назад ты можешь вернуться?

При последнем вопросе голос его резко повысился. Ее ответ еле царапнул ее собственную барабанную перепонку:

— Не волнуйся на этот счет, милый. Я с тобой, а все остальное кажется таким далеким.

— Говори же. Не заставляй меня себя презирать. Расскажи, что произошло.

Она рассказала, переживая все заново, пугая самое себя. Пляж, охватившая ее паника, дети, Джози, самолет, скитанье по городу, намерение позвонить домой через час, сказать, что она на Манхэттене, что у нее сломался “сааб” — никак не желает заводиться — и что Фитчи предложили ей переночевать, поскольку завтра утром у нее занятия на курсах искусствоведения в музее “Метрополитен”.

— Солнышко, это не пройдет, — сказал он ей. — Постараемся не терять голову. Если я сейчас посажу тебя на самолет, ты еще успеешь домой к восьми.

— Ты этого хочешь?

— Нет. Ты же знаешь, я хочу, чтобы ты всегда была со мной.

И хотя все свидетельствовало об обратном, она чувствовала, что это правда. Она — его жена. Это странное обстоятельство, неведомое миру, но ведомое им, превращало не праведное — в праведное, все, казавшееся безумием, — в мудрость. Из всех женщин Джерри выбрал ее, Салли, и самым ценным во время их первого незаконного путешествия было то, что она почувствовала за те два дня, как крепнет эта истина, почувствовала, как расслабляется он. В первую ночь он совсем не спал. Она несколько раз в испуге просыпалась, когда он выскальзывал из постели — то попить воды, то подкрутить воздушный кондиционер, то что-то найти в чемодане.

“Что ты ищешь?”

“Пижаму”.

“Замерз?”

“Немного. Спи, спи”.

“Я не могу. Тебе плохо, ты несчастлив”.

“Я очень счастлив. Я люблю тебя”.

“Но я не могу тебя согреть”.

“Ты действительно холоднее, чем Руфь, — почему-то”.

“В самом деле?”

Должно быть, по ее голосу он почувствовал, что ее оскорбило это неожиданное сравнение, ибо он тут же поспешил отступить: “Нет, я не знаю. Забудь. Спи, пожалуйста”.

“Я завтра же уеду. Я не останусь на завтрашнюю ночь, если у тебя из-за меня бессонница”.

“Не будь такой обидчивой. Бессонница у меня не из-за тебя. Это Господь ее на меня насылает”.

“Потому что ты спишь со мной”.

“Слушай. Я люблю бессонницу. Это доказывает, что я еще жив”.

“Прошу тебя, Джерри, пожалуйста, ложись”. — Она крепко прижалась к его телу, стараясь заставить воздушного змея спуститься с небес, и сама уснула где-то между землей и небом, на котором в кирпичном колодце двора за их жалюзи начинала разгораться заря. Вторую ночь Джерри еще крутился, но спал уже лучше, а сейчас, в эту третью ночь, тремя месяцами позже, когда весна уступила место лету, он очень скоро задышал ровно и ритмично, в то время как у Салли все еще слегка колотилось сердце. Она старалась внушить себе, что гордится его доверием. Заснула она, однако, со смутным ощущением утраты, а проснулась рано утром с обостренным сознанием, что осталась одна. Комната была совсем другая, чем в тот первый раз. Стены, хотя Джерри и Салли остановились в том же отеле, были не белые, а желтые, и вместо цветов на них висели два бледных гольбейновских портрета. За жалюзи брезжило утро, и Салли видела лица словно сквозь дымку, отчего они казались живыми — капризные, с пухлыми губками. Свидетелями скольких адюльтеров, скольких пьяных совокуплений пришлось им быть? Внизу, по проспекту, шурша метлой, прошел уборщик. Та, первая, их комната выходила во двор; эта с высоты пяти этажей смотрела на сквер. Где-то внизу, под ними, в лабиринте столицы взывала сирена грузовика, собирающего отбросы, лязгнул мусорный бак. Она подумала о молочнике, который поднимается сейчас на ее крыльцо, чтобы со звоном поставить свои бутылки у двери покинутого ею дома. Джерри лежал поперек кровати — простыня дыбилась у его горла, а ноги торчали голые. Она растолкала его, разбудила, вызвала в нем страсть. В момент наибольшей близости он сонно прошептал:

— Руфь! — Но уже через секунду осознал свою ошибку:

— Ах, извини. Я как-то не понял, кто со мной.

— Меня зовут мисс Салли Матиас, и я сумасшедшая женщина.

— Конечно, сумасшедшая. И к тому же очень красивая.

— Только немного холодновата — по сравнению.

— Ты так этого и не забыла?

— Нет. — Это у нее стало наваждением: дома, садясь в ванну, она теперь быстро касалась своей кожи, выискивая тот холодок, о котором он говорил, а однажды, прощаясь с Руфью после званого ужина, не без любопытства задержала в руке ее руку, стремясь ощутить легкую разницу в телесном тепле, дававшую преимущество над ней этой внешне холодной женщине. Она заметила, что тощего Джерри часто знобит. Когда они впервые легли в постель, она в его движениях почувствовала привычный ритм ответных движений его жены и, лежа в объятиях этого постороннего мужчины, ревниво сражалась с образом той, другой женщины. Сама же она несла на себе отпечаток сексуальной манеры Ричарда, так что вначале казалось — не двое, а четверо занимались любовью на диване или на песке, и при мысли об этом что-то смутное и близкое к лесбиянству просыпалось в ней. Сейчас это все исчезло. На разгоравшемся восходе долгого июньского дня, который последует за их третьей, проведенной вместе ночью, Джерри и Салли любили друг друга ясно, бездумно, как любили Адам и Ева, когда человечество было еще четко разделено на две половины. Она взгляделась в его лицо и невольно воскликнула, пронзенная своим открытием:

— Джерри, какие у тебя печальные глаза!

Улыбка, обнажившая неровные зубы, была поистине сатанинской.

— Да как же они могут быть печальными, когда я так счастлив?

— И все же они такие печальные, Джерри.

— Не надо смотреть в глаза, когда занимаешься любовью.

— А я всегда смотрю.

— Тогда я буду закрывать их.

Ах, Салли, моя единственная, утраченная Салли, позволь сказать тебе сейчас — сейчас, пока мы оба еще не забыли, пока в водопаде еще сверкают искры, — что я любил тебя, но самый твой вид был мне вечным укором. Ты была словно запретная земля, куда я входил на цыпочках, чтобы украсть волшебное зеркало. Ты была принцессой, вышедшей замуж за упыря. Я шел к тебе, как рыцарь, чтобы тебя спасти, я превращался в дракона и

насиловал тебя. Ты мерила мою цену бриллиантами, я же мог предложить тебе лишь пепел. Помнишь, как в нашей первой комнате во вторую ночь я посадил тебя в ванну и тер губкой тебе лицо, и пальцы, и твои длинные руки так старательно, точно мыл кого-то из моих детей? Я пытался сказать тебе об этом еще тогда. Ведь я — отец. Наша любовь к детям ведет к их потере. Каким прелестным, ленивым, голым ребенком была ты тогда, моя любовница и минутная жена: веки твои были опущены, щеки покоились на простыне из пара, поднимавшегося от воды. Смогу ли я когда-нибудь забыть, хотя я вечно живу на небе, среди колесниц, чьи ободья сплошь состоят из глаз, прославляющих Господа, — забыть, как ты вышла тогда из ванны и тело твое вдруг превратилось в водопад? Ты, совсем как мужчина, обмотала свои чресла полотенцем и заставила меня ступить в воду, которую твоя плоть зачаровала, покрыв серебристой пленкой. И я стал твоим ребенком. Дурацкой мокрой рукавицей ты, моя мать, моя рабыня, протерла мне даже уши, и я весь размяк, растаял от этих нежных омовений. Я все забыл, потонул. А потом мы высушили друг другу капли на мокрых спинах и отправились в кровать с намерением мгновенно заснуть, словно два послушных ребенка, которые спят и видят сны в низком шатре, под шум проливного дождя.

Джерри закрыл глаза, и это ее обидело. Она любила наблюдать любовь, следить за игрой, за слиянием слоновой кости и шерсти, за тем, как постепенно смягчается взгляд. Неужели она порочная? В Париже во время медового месяца с Ричардом ее сначала шокировали зеркала в комнате, а потом стали вызывать интерес. Ведь этим занимаются люди — такие уж они есть. Она даже немножко гордилась, что приучила и Джерри просто на это смотреть. Почему-то Руфь не научила его этому. Однако печаль в его глазах глубоко проникла ей в душу, и до конца дня Салли всем существом остро и испуганно ощущала свой образ в глазах других людей. Продавец газет в пропахшем духами вестибюле отеля, смотревший на нее из-под набрякших век, видел перед собой избалованную молодую даму. Официантка, подавшая им завтрак у стойки, весело взглянула на нее и явно приняла за секретаршу, переспавшую с хозяином. Отдав Джерри объятия такси, Салли осталась одна — она кожей чувствовала, как отражается в каждом взгляде, в каждой стеклянной двери. Для продавцов в японском магазине сувениров она была слишком крупной. Для швейцара-негра она была белой. Для всех остальных — ничто.

Кто же она? И что за тяжесть несет она в себе, что за боль, которую, словно нерожденного ребенка, конечно же, стоит нести? Одна ли она такая? Или эта молоденькая черная девушка, похожая на шоколадного лебедя, эта подрумяненная матрона в шерстяных одеждах — тоже страдают от раздирающей сердце любви, которая в прямом смысле слова возносит на небеса? Салли не могла этому поверить; однако же не хотелось верить и тому, что она одна такая — эксцентричная, сумасшедшая. Ей вспомнилась мать. Когда отец умер во время своей последней поездки — тихий мирный человек, навеки успокоившийся в больнице Святого Франциска (все авторитеты сошлись на том, что в смерти его не были повинны ни таблетки, ни бутылка), они перебрались в Чикаго, поближе к родственникам матери, и ее мать, хоть и была католичкой, не ударилась в религию, не запила, а стала играть. Непостижимыми островками счастья в ту пору были дни, когда они вместе, на поезде или на автобусе, ездили в Арлингтонский парк, или на трек Готорна в Сисеро, или в Мейвуд смотреть рысаков; всё в тех местах держалось на ниточке, на нерве, косо освещенное лучами удачи, — ноги лошадей, обмотанные белым бинтом, хлысты жокеев, планки загородок, брусья турникетов, отполированные множеством рук, исподтишка брошенные взгляды мужчин, возможно, гангстеров, летящие по ветру клочья разорванных пополам невыигравших билетов, косые лучи солнца, которые передвигаются, словно спицы медленно вращающегося колеса. Опухшие руки матери снова и снова теребили сумочку. Люди или лошади — разве у всех не один инстинкт? О Господи, только что он лежал рядом с ней, исходя страстью, словно в предсмертной лихорадке, и вот его уже нет — исчез, затерялся среди мраморных зданий. Только что был весь с нею, весь в ней, скулил и хныкал, а через минуту уже встречается с самим заместителем Госсекретаря по мультяшкам note 3 . Где

же тут разумное начало? Кто так все устроил? Он до того все запутал, этот ее не муж и не любовник, что она теперь и сама не знает, верит в Бога или нет. Когда-то у нее было на этот счет твердое мнение — “да” или “нет”, вот только она забыла какое.

Судя по солнцу, время перевалило уже за полдень, и тень ее съежилась; разгоряченные ноги болели. Салли повернула на север от отеля и неторопливо побрела по улицам — через однообразные кварталы, заполненные авиационными агентствами, мимо островков зелени, посреди которых стояли всадники в фисташковой форме и махали ей, пытаясь привлечь к себе внимание. Джерри должен ждать ее в Национальной галерее в час дня. А пока время то бежало, то останавливалось — в зависимости от того, на какие часы падал ее взгляд: свои она забыла надеть в спешке отъезда. И теперь на ее загорелой руке виднелась белая полоска от браслета.

Железные курильницы, каменные вазы, азиатские ножи для бумаги в витринах антикварных магазинов отвечали ей тупым блеском, когда она пыталась найти в них себя. Когда-то ее интересовали эти вещицы; когда-то она умела заполнить время, оказавшись в каком-нибудь городе одна: она разглядывала предметы и ткани и как бы вступала в обладание ими. Теперь же она искала себя в бронзе, шелках и фарфоре и — не находила. Когда она шла вместе с Джерри, она что-то в них обнаруживала, но уже не одну себя, а обоих: она объясняла ему, он — ей, они обменивались жизненным опытом, впитывая по частям тот огромный урок, которым стали для них годы, предшествовавшие их любви. В каждой вещи она видела лишь что-то, о чем можно рассказать ему, а без него — нечего и рассказывать: он украл у нее внешний мир. И она вдруг разозлилась на него. Да как он смел говорить ей, чтоб она не приезжала, а когда приехала, сразу лег с ней в постель! И при этом смотрел на нее такими печальными глазами, словно умоляя почувствовать себя виноватой! Да как он смеет брать ее задаром, когда она могла бы продать себя за сотни долларов любому достойному человеку на этом проспекте — ну, например, вон тому. Какой-то чиновник-иностранец в белоснежных манжетах и с экстравагантной, но тщательно продуманной стрижкой горделиво вышагивал по залитому палящим солнцем тротуару мимо министерства юстиции. Он поглядывал на нее. Она красивая. Сознание, что это так, все утро ближе и ближе подступало к ней и сейчас вошло в нее. Она красивая. Где бы она ни проходила, люди смотрят. Высокая, светловолосая, до краев наполненная любовью — отданной и полученной. Недаром, когда она поднялась, наконец, по ступеням музея, гигантская ротонда не показалась ей нечеловечески большой — такая, как надо: большому человеку нужны дворцы. Она долго стояла перед фигурой Карла V работы Леона Леони и в его расширенных зрачках видела себя королевой.

— Прекрати, — сказал Джерри, подходя к ней сзади и беря ее за локоть. — Прекрати быть такой красивой и гордой. Ты меня убьешь. Я упаду замертво к твоим ногам, и тогда — как ты доставишь мой труп Руфи?

Руфь, Руфь — она никогда не выходит у него из головы.

— Я очень на тебя рассердилась.

— Я знаю. Это видно.

— Ты думаешь, ты все знаешь обо мне, да? Ты думаешь, я принадлежу тебе.

— Ничего подобного. Ты во многом принадлежишь сама себе.

— Нет, Джерри. Я — твоя. Мне очень жаль. Я обременяю тебя.

— Не надо ни о чем жалеть, — сказал он. — Мне такое бремя нужно. — Глаза его

внимательно следили за ее лицом, подстерегая сигнал тревоги, перемену. — Посмотрим?

— робко спросил он. — Или пойдём есть?

— Давай посмотрим. Желудок у меня сегодня не в порядке.

И в галерее она все время остро ощущала, что существует среди картин, отражается в блеске глаз, глядящих на нее с портретов, смотрит, пригибается, отступает, позирует в этом завораживающем пестром театральном мире. В музеях Джерри становился маньяком — в нем пробуждалось увлечение школой старых мастеров. Его восторги тянули Салли из зала в зал. Его руки показывали, жадно повторяли жесты на застывших

полотнах. Посетители, покорно внимавшие объяснениям через наушники, с возмущением посматривали на них. Наверно, она казалась им тупой ученицей Джерри. Наконец, он нашел, что хотел: стену с тремя Вермеерами.

— О Господи, — простонал он, — какой рисунок! Люди не понимают, какой у Вермеера рисунок. Влажные губы вон той женщины. И удивительные шляпы. А та — как освещены ее руки, и золото, и жемчуга. Это прием, понимаешь, двойной прием: точный цвет в точно избранном месте. — Он взглянул на Салли и улыбнулся. — Вот мы с тобой, — добавил он, — мы точно совпадаем по цвету, но, похоже, находимся не в том месте, где надо бы.

— Давай не будем говорить о нас, — сказала Салли. — Мне надоело быть в плохом настроении. У меня болят ноги. Я наверняка отмахала сегодня не одну милю. А что, если мы где-нибудь сядем и поедем?

Стены кафетерия были увешаны репродукциями круглоглазых пернатых — творений Одюбона note 4 . Проглоченная через силу еда камнем легла в желудке Салли. Вопреки обыкновению, у нее не было аппетита — возможно, от бессонницы, а возможно, от сознания, что время утекает так быстро. Зато Джерри уплетал за обе щеки — чтобы забить себе рот и не разговаривать или от радости, что еще одна адюльтерная эскапада благополучно подходит к концу. Оба молчали. Салли подумала, что тот огромный урок, который они друг другу преподали, усвоен ими до конца. Она вздохнула.

— Не знаю. Наверно, мы просто оба ужасно эгоистичны и жадны.

Хотя она произнесла это, чтобы доставить ему удовольствие, он тут же стал возражать.

— Ты полагаешь? В конце концов Ричард и Руфь не так уж много нам и дали. Ну почему мы должны умирать ради того, чтобы их жизнь шла как по накатанному? Не умерщвляйте духа своего — разве Святой Павел этого не сказал?

— Возможно, это чувство новизны делает наши отношения такими удивительными. Но мы устанем. Я уже сейчас устала.

— От меня?

— Нет. От всего.

— Я знаю, знаю. Не бойся. Мы благополучно доставим тебя назад.

— Меня это не волнует. Ведь Ричарду, в общем-то, все равно.

— Не может быть.

— Может.

— Думаю, что и Руфи было бы безразлично, узнай она обо всем.

Хотя Салли понимала, что Джерри сказал это просто в тон ей, она вдруг услышала свое настойчивое:

— А хочешь, давай не вернемся? Возьмем и удерем?

— Ты лишишься своих детей.

— Я готова.

— Это ты сейчас так говоришь, а через неделю тебе станет их не хватать, и ты возненавидишь меня, потому что их с тобой не будет.

— Ты такой умный, Джерри.

— От этого нам ничуть не легче, верно? Бедняжка ты моя. Тебе нужен хороший человек в мужья и плохой человек — в любовники, а у тебя все наоборот.

— Ричард совсем не такой уж плохой.

— О'кей. Извини. Он — принц.

— Обожаю, когда ты злишься на меня.

— Я знаю. Но я не злюсь. И не собираюсь злиться. Я люблю тебя. Если хочешь ссориться, отправляйся домой.

Она посмотрела вокруг — за столиками сидели студенты художественных школ, преподаватели в обмотанных клейкой лентой очках, толстухи, бежавшие от жары, а на стенах — такие мертвые-мертвые птицы.

— Я туда и отправлюсь, — сказала она.

— И правильно сделаешь. Давно пора. Вот только остановимся по дороге купить что-нибудь моим чертовым деткам.

— Ты балуешь их, Джерри. Ты ведь уезжал всего на один день.

— Они ждут подарков. — Он поднялся, и они вышли через дверь, открывавшуюся прямо на тротуар. Он шагал стремительно, широко — мимо торговцев сладостями и автобусов с туристами, и, стремясь не отстать, она задыхалась, так что слова не могла вымолвить. Наконец, сжалившись над ней, он взял ее за руку, но прикосновение было влажным, и обоим стало неловко: они уже перешли тот возраст, когда ходят, держась за руки. У двери в магазин мелочей, где в витрине были выставлены обычные дешевые сувениры — свинки-копилки, флажки, набившие оскомину изображения Кеннеди во всех видах, — выдержка вдруг изменила ей, и она наотрез отказалась зайти.

— Но почему? — спросил он. — Помоги мне выбрать.

— Нет. Не могу.

— Салли.

— Выбирай сам. Это твои дети — твои и Руфи.

Он побледнел: он никогда еще не видел ее такой. Она попыталась загладить ссору:

— Я пойду в отель и уложу твой чемодан. Не волнуйся. Только, пожалуйста, не заставляй меня покупать с тобой игрушки.

— Слушай. Я люблю... — Он попытался взять ее под локоть.

— Не ставь меня в глупое положение, Джерри. Мы мешаем людям входить.

Шагая одна по 14-й улице — от блеска кусочков слюды в асфальте у нее резало глаза, — Салли вдруг заплакала и тотчас поняла, что никому до нее нет дела: никто на нее не смотрит — ни одна живая душа из всего этого множества людей.

Они вместе вышли из отеля и поймали такси. Они пересекли Потомак и проехали мимо какой-то непонятной аварии на дороге через парк у обелиска Вашингтону. Старенький синий “додж” с красным номером штата Огайо лежал вверх колесами на средней полосе — просто непостижимо, как его угораздило перевернуться. Никакая другая машина к этому явно не была причастна. Смеющиеся полисмены под палящим солнцем направляли движение. Две толстухи с всклокоченными волосами обнимались у линии разграничения, а вся поверхность дороги блестела, усеянная стекольной пудрой. Рука Джерри сжала ее руку. Авария осталась позади, машинам стало свободнее, и они поехали быстрее, шофер перестал что-то бормотать, и, покрутив по “восьмеркам”, они подкатили к северному крылу аэровокзала.

В зале ожидания — хотя был обычный рабочий день — неожиданно оказалось много пароду. По лицам оборачивавшихся людей Салли поняла, что их находят красивой парой, в чем-то заурядной, а чем-то запоминающейся: он — в сером, она — в черном, он — с чемоданом, она — с карманным изданием Камю. Она представила себе, как они на протяжении жизни входили бы в аэропорты, на вокзалы, на причалы, в вестибюли гостиниц, и подумала, что они всегда выглядели бы такими же — высокие, молодые, чуть слишком часто друг друга касающиеся. Хорошо бы Джерри перестал то и дело брать ее за руку — это разрушает иллюзию, будто они женаты. А он, видимо, не думал о необходимости поддерживать эту иллюзию здесь. Он поставил чемодан и направился к одной из очередей, а она, покраснев, волнуясь, заняла место в хвосте соседней очереди. Очередь была длинная, двигалась медленно, и постепенно Салли поняла, что атмосфера веселого оживления, царившая вокруг, не имеет никакого отношения ни к ней, ни к ее растерянному виду. Пораженная, она вдруг обнаружила — так поражается человек, который, проснувшись, видит, что находится в комнате, где мебель расставлена точно так же, как в его долгом сне, — что, кроме нее, на свете существуют другие люди и другие проблемы. В очереди чуть позади стоял полный раскрасневшийся человек в мятом дакроновом костюме — от волнения он даже не замечал, что то и дело ударяет ее по ногам своим чемоданом. “Мне надо быть в Ньюарке к семи”, — твердил он. Взволнованное лицо уже не пыталось сохранять вкрадчивое выражение, на которое намекала тоненькая щеточка усов. Одно время Ричард тоже носил такие усы, и Салли подумала, не потому ли его верхняя губа в профиль кажется ей теперь такой голой и незащитной.

Когда две очереди, изогнувшись, сблизилась до расстояния вытянутой руки, Джерри взял ее под локоть и сказал:

— Похоже, забастовка в “Истерн” создала здесь пробку. Надо было нам заранее забронировать места. Когда ты должна вернуться?

— Я думала — между пятью и шестью. Да не волнуйся ты так, Джерри.

— Я волнуюсь не за себя. Руфь поедет встречать меня только после девяти. Давай подумаем. Сейчас пять минут четвертого. Предположим, мы не попадем на три пятнадцать, следующий самолет — в четыре пятнадцать; твоя машина стоит в аэропорту Ла-Гардиа...

— Она может не завестись.

Салли сказала это, чтобы подразнить его. Но он даже не улыбнулся. Длинное лицо его было напряжено и без смешливых морщинок казалось моложе, неискушеннее. Ричард не раз говорил: Джерри не знает, что такое страдание. Салли поняла эти слова по-своему: что Джерри скользит по поверхности, а Ричард зарывается вглубь; или же: что Джерри со своей женой жить легче, чем ему с нею. Но мысль об этом не оставляла Салли, и она то и дело думала: не для того ли Джерри впустил ее в свою жизнь, чтобы научиться страдать. Он сказал:

— Будем исходить из того, что заведется. Тогда ты приедешь домой чуть позже шести — со скидкой на час “пик”. Это тебя устроит?

— Как выйдет, так и выйдет, — отрезала она. Их разговор явно начал отвлекать стоявшего позади мужчину от собственных забот.

Джерри выхватил у нее из рук деньги и раздраженным жестом показал, чтобы она вышла из очереди.

— Я с таким же успехом могу купить и оба эти чертова билета. Не понимаю, на кой бес нам нужно создавать эту видимость. — Он посмотрел прямо в лицо мужчине, стремившемуся попасть в Ньюарк, и изрек:

— Летайте по воздуху, ругайте без роздыху. — Такая бравада как раз в его стиле: ему приятно создавать впечатление, что он — с любовницей.

Все пластмассовые кресла были заняты. Молоденький моряк-китаец поднялся, уступая Салли место, и она, перешагнув через его спортивную сумку, села. Обычно она не любила, когда к ней относились как к слабому существу, но сейчас охотно приняла предложение моряка. Ей хотелось от всего отключиться. Она углубилась в Камю. Пистолет в руке, слепящий свет. Араб в бумажных брюках. Выстрел, как удар хлыста. Ощущение нереальности. Джерри подошел к ней, держа два желтых билета, и сказал:

— Ну и каша. Оказывается, сегодня на Нью-Йорк не бронируют места — мы все в живой очереди. Но они в любую минуту ждут сообщения о дополнительном самолете. Я уверен, что ты попадешь домой к шести.

— Ш-ш. Ты слишком громко говоришь.

— Слишком громко — для чего?

— А, неважно.

Отрезвленный ее взглядом, он сказал:

— Я получил посадочные талоны с номером очереди.

— На чье имя?

— На мое. О'кей?

Она не могла не улыбнуться.

— Это, кажется, незаконно, — сказала она, потому что он явно именно об этом сейчас и думал.

“Пасхальное шествие” в бравурной аранжировке “Музак” вдруг смолкло, и громкоговоритель забормотал что-то нечленораздельное. Новая волна усталых путешественников скатилась по настилу и растеклась у билетных стоек. Служащие в синих форменных костюмах казались совсем юными и испуганными. Они с преувеличенной четкостью прикрепляли к билетам талончики на багаж и отвечали на вопросы с той непреложной категоричностью, с какой Салли обычно лгала Ричарду. “Ты врешь, как мужчина, — однажды сказал он ей. — Выдумашь какую-нибудь не правдоподобную историю и держишься ее”. Значит, Ричард знает о ней то, чего не знает

Джерри. Она ведь никогда не лгала Джерри. И при мысли об этом он сразу показался ей безнадежно наивным, беспомощным; она встала и пошла к стойке вдоль очереди, состоявшей сплошь из мужчин. Должны же быть какие-то преимущества оттого, что ты — женщина; нельзя только ждать и желать.

Девушка, занимавшаяся билетами, была такая молоденькая, что не побоялась искусственной седины; Салли почувствовала свое превосходство над нею — превосходство умудренной опытом женщины. У этой девчонки нет детей, нет женатого любовника, за которого она не может выйти замуж. Она из причуды покрыла волосы инеем.

— Я должна быть дома к шести, — заявила ей Салли. Но голос ее прозвучал хрустко, робко, тогда как ответ девушки был профессионально тверд.

— Мне очень жаль, мисс, — сказала она. — Следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать. Пассажирам, стоящим в живой очереди, следует пройти к выходу двадцать семь, имея при себе посадочные талоны с порядковым номером.

— Но мы попадем на самолет? — спросила Салли.

— По расписанию следующий самолет на Ла-Гардиа вылетает в четыре пятнадцать, — повторила девушка, ловко прикалывая талончик к билету.

Джерри подошел и встал за спиной Салли.

— Нам сказали, что может быть дополнительный.

— Мы ждем сообщения об этом, сэр, — сказала девушка. Взгляд ее кукольных глаз, умело подмазанных гримом, официально выдаваемым авиакомпанией, охватил Джерри вместе с Салли, но выражение их не изменилось. Салли не была уверена, должна ли она говорить “мы” или “я”. Люди в очереди, услышав их переговоры с девушкой и почувствовав, что эти двое могут попасть на самолет раньше остальных, заволновались, затолкались.

— Прошу соблюдать очередь, — повысив голос, крикнула девушка. — Прошу не выходить из очереди.

Салли вдруг почувствовала симпатию к девушке: пока они с Джерри занимались любовью, таким вот младенцам пришлось взвалить на себя дела целого мира. И теперь, когда взрослые вылезли из своего эгоистического уединения в постели, они с раздражением обнаружили, что мир распадается на части. Какие все мы алчные, какие напористые! Салли стало стыдно, и она закрыла глаза, от души желая снова стать маленькой девочкой. Девочкой, какой она была до того дня, когда отец не вернулся домой. Все поездки, подумала она, таят в себе эту возможность — невозвращения.

— Пить хочется, — сказала она. Джерри спросил:

— Пить или выпить? Чего-нибудь крепкого или просто так?

— Просто так. От алкоголя у меня только больше будет голова кружиться. — Какой-то частицей души она все еще была там, на берегу, с Мерсо и Арабом.

У стойки, где продавали сосиски, стояла такая толпа, что не протолкнешься, но шагах в ста дальше по коридору в направлении центрального зала они обнаружили бар, открытый, точно сцена, с одной стороны; в дальнем конце его был свободный столик.

Джерри усадил за него Салли и из отнюдь не блестящего чистотой оазиса, по обеим сторонам которого булькали стеклянные конусы с подцвеченной водой, добыл два пакетика молока в виде двух островерхих палаток из вощеной бумаги. Вернувшись к столику, Джерри поставил один пакетик себе на голову и стал им балансировать. В руке он держал соломинку в белом бумажном пакетице и размахивал ею, как волшебной палочкой. А Салли была Золушкой.

Она сказала:

— Не занимайся эксгибиционизмом.

— А я буду, — сказал он. — Я пришел к выводу, что я страшный человек. Понять не могу, что ты во мне нашла.

Она проткнула отмеченный пунктиром уголок, просунула в отверстие соломинку и принялась пить; по выражению его лица она поняла, что он пустится сейчас в

рассуждения.

— Займемся анализом, — сказал он. — Что ты во мне нашла? Должно быть, то, что ты можешь быть со мной лишь считанные минуты — минуты, за которые тебе приходится бороться, — и делает наши отношения бесценными. А вот если мы поженимся, когда я умерщвлю свою жену и по крови своих детей приду к тебе...

— Какие ужасы ты говоришь, Джерри.

— Так мне это видится. Если я таким образом поступлю, я уже не буду тем, кого, тебе кажется, ты любишь. Я буду человеком, бросившим жену и троих детей. Я буду презирать себя, и ты очень быстро станешь относиться ко мне соответственно.

— Я вовсе не уверена, что все именно так произойдет, — сказала она, мысленно пытаюсь как-то обобщить свои представления о жизни. Он, право, ничего не понимает. Джерри верит в возможность выбора, в ошибки, в осуждение на вечные муки, — верит, что можно; избежать страданий. Они же с Ричардом просто верят в случай. Да, конечно, детство у нее было несчастливое: неожиданная смерть отца, сумасшествие матери, депрессивное состояние старшего брата, интернаты — и тем не менее в ней жило чувство, что она не имела бы сейчас своего лица, случись все иначе. Она была бы другой — такую, какой ей вовсе не хотелось быть.

— С другой стороны, — сказал он, изящно изгибая кисть (никому из ее знакомых не доставляло такого удовольствия любоваться своими руками), — почему я тебя люблю? Ну, ты мужественная, добрая — в самом деле очень добрая, — роскошная, женственная, живая, в общем — отличная баба, это всякому ясно. Тут уж ничего не скажешь: стоит тебе войти в комнату, все в тебя влюбляется. Я влюбился в тебя, как только увидел, а ты была тогда на девятом месяце — ждала Питера.

— А ты ведь ошибаешься. Я нравлюсь очень немногим.

Он с минуту подумал, словно производя смотр сердец их общих знакомых, и затем сказал с присущей ему жесткой бесстрастностью:

— Пожалуй, ты права.

— Ты вообще единственный, кто видит во мне что-то особенное. — Подбородок у нее задрожал: произнося эти слова, она почувствовала, что еще крепче привязывает себя к нему.

Он сказал:

— Другие мужчины — просто идиоты. Однако же, несмотря на все свои чары, ты несчастлива. Ты нуждаешься во мне, а я не могу тебе себя дать. Я хочу тебя, а получить в свою собственность не могу. Ты — точно золотая лестница, до вершины которой я так никогда и не долезу. Я смотрю вниз — и земля кажется мне клубком голубого тумана. Я смотрю вверх — и вижу сияние, до которого мне никогда не добраться. Это-то и придает тебе непостижимую красоту, и если я женюсь на тебе, я ее уничтожу.

— Знаешь, Джерри, брак — он ведь кое-что и создает, а не только разрушает иллюзии.

— Знаю. Я действительно это знаю. И это меня убивает. Я хочу, помимо всего прочего, — хочу сформировать тебя, создать тебя заново. Я чувствую, что мог бы. А вот с Руфью я этого не чувствую. Она, в общем-то, уже сложилась, и мне, если жить с ней, то лучше всего... — и он на пальцах проиллюстрировал свою мысль, — ...на параллелях.

— Давай посмотрим правде в лицо, Джерри, Ты все еще любишь ее.

— Она не вызывает у меня неприязни — это точно. Хотел бы, чтоб было иначе. Это могло бы все облегчить.

Она потянула через соломинку воздух со дна пакета.

— Не пора ли нам двигаться, чтоб не опоздать на четыре пятнадцать?

— Подожди, не затыкай мне рта. Пожалуйста. Послушай. Я вижу все так ясно. У нас с тобой, солнышко мое Салли, — любовь идеальная. Идеальная — потому что она не может быть материализована. Для мира мы не существуем. Мы никогда не лежали вместе в постели, мы не были вместе в Вашингтоне; мы — ничто. И любая попытка начать существовать, вырваться из этой муки убьет нас. О, конечно, мы можем на все наплевать и пожениться и как-то склеить совместную жизнь — в газетах об этом пишут каждый день, — но то, что есть у нас сейчас, мы потеряем. Самое грустное, конечно, что мы в

любом случае это потеряем. Слишком вся эта ситуация тяготит тебя. Ты скоро меня возненавидишь. — Он был явно доволен столь блистательным выводом.

— Или ты — меня, — сказала она, поднимаясь. Ей не нравился этот бар. Детишки, ссорившиеся за соседним столиком, вызвали у нее тоску по собственным детям. Мать детишек, хоть и была не старше Салли, выглядела бесконечно измученной.

Когда они выходили из этого бара, напоминавшего сцену, Джерри рассмеялся так театрально, что все головы повернулись в их сторону. Он схватил Салли за руку выше локтя и сказал:

— Знаешь, на что мы похожи? Мне только сию минуту пришло это в голову. Мы с тобой — точно слова молитвы, выгравированные на рукоятке ножа. Помнишь, в детстве мы читали Рипли “Верись — не верись!” — там всегда были такие штуки? Выгравировано старым чероки в Стиллуотерсе, штат Оклахома?

Они пошли к выходу на поле по коридору, оклеенному рекламами: одна стена здесь была голубая, другая — кремовая. Салли поняла, что бессильна против этого потока слов: ее словно обезоружили и выставили на посмешище.

— Джерри, наш брак ничем бы не отличался от других браков: жизнь не превратилась бы в сплошной рай, но это еще вовсе не значит, что в ней не было бы ничего хорошего.

— Ох, не надо, — взмолился он, глаза его стали какие-то бесцветные, и он поспешно отвел их от нее. — Не заставляй меня терзаться. Конечно, нам было бы хорошо. Бог ты мой! Конечно, ты была бы мне лучшей женой, чем Руфь. Хотя бы потому, что ты животное классом выше.

“Животное” — это слово больно хлестнуло ее, но, собственно, почему? В Париже она глядела на себя в зеркала и видела правду: люди — животные, белые животные, извивающиеся, рвущиеся к свету. У выхода номер 27 толпились животные в костюмах, они плотно сбились, словно стадо у кручи; от них исходил запах паники. Впервые Салли ощутила безнадежность ситуации. Десятки людей пришли сюда раньше их. Иллюзия порядка, которую поддерживали немногословные молодые агенты по продаже билетов в большом зале ожидания, здесь, среди реклам, предлагающих посетить Бермудские острова и нью-йоркские мюзиклы с длинными, ничего не говорящими названиями, полностью рассыпалась. Ни единого сотрудника авиакомпании. Стальная дверь выхода номер 27, точно вход в газовую камеру, плотно задвинута. Бетонный пол чуть скошен, словно для стока крови. Джерри поставил чемодан у металлической стены и жестом предложил Салли сесть на него, а сам отправился в голову очереди — поговорить с теми, кто был в гуще толкучки. Вернувшись, он сказал:

— Ну и дела. Двое из тех ребят ждут уже с полудня.

— Посадочные талоны у тебя? — спросила она.

Расстроенный, взмокший, он дважды перерыл все карманы, пока, наконец, нашел их и, точно фокусник — стремительным жестом извлек на свет. Внезапно залаял невидимый громкоговоритель. Негр в больших голубых солнечных очках и пилотской фуражке открыл с другой стороны стальную дверь. К нему жался маленький бледный контролер с узким лицом. Громкоговоритель объявил посадку на самолет, вылетающий в четыре пятнадцать на аэродром Ла-Гардиа, выход номер 27, и по коридору, чинно вышагивая, продефилировала группа пассажиров — легкие чемоданчики, хорошо одетые дети и шляпы с цветами. Все это были обладатели бронированных мест. А прочие — “живая очередь” — толпились за оградой из металлических трубок. Один за другим обладатели бронированных мест отмечались у стойки и исчезали. Крещендо недовольных воплей взмыло над сгрудившейся очередью, угрожая захлестнуть негра в голубых солнечных очках; он поднял глаза от билета, который как раз собирался надорвать, и весело сверкнул белоснежными зубами, широкой улыбкой, поражающей глубиной своей радости, своей мстительности, своего понимания и своего ангельского презрения.

— Потерпите, ребята, — сказал он. — Пусть жена сначала выпроводит его из дома.

Нарочито громкий смех был ответом на эту шутку. Джерри тоже рассмеялся и осторожно бросил взгляд на Салли, а ей был отвратителен смех толпы: они же все подхалимничают перед этим негром. Только бы привлечь к себе его внимание — может, тогда он пропустит

их. Дверь, ведущая к самолету, превратилась в позорную преграду; чтобы пройти сквозь нее, требовались улаживания и подкуп. Когда последние обладатели забронированных мест отметились, у стойки пошептались и выкрикнули два номера, не имевших ничего общего с теми, что стояли на посадочных талонах Джерри и Салли. Двое мужчин — таинственные избранники, по костюму и внешнему виду ничем не отличавшиеся от остальных, — отделились от стада и прошли в дверь. Негр приподнял свои голубые солнечные очки и медленно оглядел оставшихся. Глаза у него были налиты кровью. На секунду они остановились на Салли, приподнявшейся было с чемодана.

— Всё, друзья, — сказал он.

В воздухе раздался сдавленный стон протеста.

— А как насчет дополнительного? — крикнул кто-то.

Негр словно и не слышал. Он шагнул в сторону, и стальная дверь с грохотом захлопнулась за ним. Фаланга пассажиров с только что прилетевшего самолета появилась в глубине коридора и двинулась на них — им пришлось отступить в зал ожидания, который сразу словно уменьшился в размерах. Ноги у Салли болели, в горле снова пересохло, и мужчина, стоявший рядом, вдруг показался ей загримированным и чужим, одновременно близким и далеким — точно в пьесе, которую они играли в школе, когда другая девочка изображала ее мужа. Нараставший у Джерри страх, — а Салли чувствовала его запах, — оскорблял ее. Она сказала ему:

— Джерри, ты не видишь всего юмора ситуации. Он спросил:

— Может, попытаем счастья в “Америкен”?

— У меня не хватит денег еще на один билет.

— Господи, у меня тоже. Придется сдать наши билеты и получить деньги.

Он добрых четверть часа проторчал в плотно сбитой, громко выражавшей свое возмущение очереди, и когда билеты были, наконец, сданы и деньги получены, Джерри и Салли помчались по бесконечным чертовым коридорам и лестницам, соединявшим северное крыло аэровокзала с главным зданием. Компания “Америкен” помещалась в самом дальнем конце. Здесь было просторнее, яркий свет не так бил в глаза, но к полированным поверхностям все равно липла чума суеты. От билетных стоек отошли двое-трое со знакомыми лицами — такие же, как они, ветераны ожидания. “Кина, ребятки, не будет”, — весело объявил им один. Значит, их уже приметили. Должно быть, они привлекают внимание — неужели так заметно, что они незаконно вместе? Неужели от них так несет любовью?

Агент по продаже билетов компании “Америкен”, отвечавший точно запущенная магнитофонная лента, подтвердил дурные вести: ни одного места на север до завтрашнего утра. Джерри отвернулся от стойки, губы его брезгливо вытянулись под облезшим от загара носом. Салли спросила:

— А мы можем получить наши места в “Юнайтед”? У нас сохранились посадочные талоны?

— Сомневаюсь. Ох, до чего же я нескладный. Возьми себе лучше пилота в возлюбленные. Они помчались назад — ее стертые пятки вопили от боли при каждом шаге, — и Джерри снова стал в очередь, и девушка с химически-седыми волосами, состроив гримасу, восстановила их в списке. Он вернулся к Салли и сообщил:

— Она говорит, нечего и думать попасть на тот, что вылетает в пять пятнадцать, но они надеются, что будет дополнительный около шести. Ричард уже вернется домой?

— Наверно. Джерри, не надо делать такое отчаянное лицо. Положение безвыходное.

Давай примиримся с тем, что еще несколько часов проведем вместе.

Руки его безвольно висели вдоль тела. Он дотронулся до ее плеча.

— Пойдем погуляем.

Они прошли мимо автоматов, продающих плитки шоколада и книжки Гарольда Роббинса, и, толкнув захватанную двойную дверь, выбрались на воздух. Она сняла туфли, и он нес их — по одной в каждой руке. Она взяла его под локоть, и он, сунув туфлю в карман пиджака, сжал ее пальцы свободной рукой. Они вышли на узкий тротуар, тянувшийся вдоль каких-то безликих, низких кирпичных зданий, — здесь, видимо, никто никогда не

гулял, — и двинулись по нему. Асфальт под ее ногами без туфель был теплый. Джерри вздохнул и опустился на низкий бетонный парапет, который разделял два клочка пожухлой травы, нуждавшейся в стрижке. Салли села с ним рядом. Перед ними лежал голый пустырь, где стоял, уткнувшись в землю, одинокий бульдозер, словно его бросили посреди последнего рывка в конце рабочего дня. Мирная тишина повисла над этими акрами ободранной земли. За ними брусочек моста через шоссе поблескивал бесшумно пронесшимися машинами. Вдали виднелись деревья, стояли ряды красноватых государственных жилых домов, а еще дальше, на низком синем холме, — аккуратно посаженная роща и надо всем — бескрайнее нежно-голубое небо, зеленоватое ближе к затянутому дымкой горизонту. Пейзаж был какой-то удивительно благостный. Без туфель ноги у Салли перестали гореть, и ее спутник здесь, на фоне неба и травы, вновь обрел реальность.

— Я так и вижу нас в Вайоминге, — сказал он, вытянув руку и указывая куда-то в пространство, — с нами твои дети, и у нас есть лошадь, и холодное маленькое озеро, где можно плавать, и сад, который мы разобьем у дома.

Она рассмеялась. Она заметила как-то мимоходом, что ей всегда хотелось вернуться на запад, но не на побережье, и с тех пор он в своих планах на будущее неизменно исходил из этого. “Вайоминг” — само слово, когда она мысленно писала его, дышало простором, привольем.

— Не дразни меня, — сказала она.

— Разве я тебя дразню? И не думаю. Я говорю все это потому, что так чувствую, хочу, чтобы так было. Извини. Боюсь, слишком я с тобой нюни распускаю; наверно, следовало бы делать вид, будто я вовсе не считаю, что жизнь у нас сложится чудесно. А ведь жизнь у нас сложится чудесно, если я сумею преодолеть чувство вины. Первый месяц мы станем только заниматься любовью и смотреть на все вокруг. Мы ведь будем такие усталые, когда там обоснуемся, и нам придется смотреть на мир заново и строить его, начиная с фундамента: засыпать гравий, потом класть камень за камнем.

Она рассмеялась.

— Мы с тобой будем этим заниматься? Он явно обиделся.

— А разве нет? Это кажется тебе неразумным? Меня, например, после любви с тобой всегда тянет к земле. Сегодня утром, когда мы под руку вышли на улицу, я увидел в витрине магазина маленькое растение, и оно показалось мне удивительно живым. Каждый листочек, каждая жилка. Именно такими я видел предметы, когда учился в художественной школе. В Вайоминге я снова начну писать маслом — и рисовать тостеры для рекламного агентства в Каспере.

— Расскажи мне про художественную школу, Джерри.

— А нечего рассказывать. Я поступил туда и встретил там Руфь, и она очень неплохо для женщины рисовала; отец у нее был священником, и я женился на ней! И не жалею об этом. Мы прожили вместе несколько хороших лет.

— Знаешь, тебе будет ее не хватать.

— В определенном смысле — пожалуй. А тебе, как ни странно, будет не хватать Ричарда.

— Не говори “как ни странно”, Джерри. Ты иногда вынуждаешь меня думать, что все это — дело моих рук. Ты и Руфь были так счастливы...

— Нет.

— ...а тут появилась эта злополучная женщина, которая вела себя так, будто хочет завести любовника, тогда как на самом деле хотела заполучить тебя в мужья.

— Да нет же. Слушай. Я ведь уже не один год люблю тебя. И ты это знаешь. И понял я, что люблю тебя, не в ту минуту, когда мы легли в постель, — я это понял, увидев тебя. Что же до брака, то ведь не ты завела о нем разговор. Ты считала его невозможным. А я подумал, что из этого может кое-что получиться. Мне, конечно, не следовало говорить об этом, пока я сам твердо не решил, но ведь и тут мною двигала любовь к тебе: я хотел, чтобы ты знала... Ох, слишком много я болтаю. Даже слово “любовь” начинает звучать бессмысленно.

— В одном ты был не прав, Джерри.

— В чем же? Похоже, я не прав во всем.

— Своей великой любовью ты внушил мне, что быть на положении любовницы — это для меня унижительно.

— Так оно и есть. Ты для этого, право же, слишком хорошая, слишком прямая. Слишком безоглядно ты собой жертвуешь. И я ненавижу себя за то, что все это принимаю.

— Принимай и дальше, Джерри. Если ты не можешь взять меня в жены, пусть хоть я останусь для тебя хорошей любовницей.

— Но я не хочу, чтобы ты оставалась любовницей, — наши жизни для этого не приспособлены. Любовницы — это для европейских романов. А здесь, у нас, другого института, кроме брака, нет. Семья — и баскетбол в пятницу вечером. Ты так долго не выдержишь; тебе кажется, что выдержишь, но я-то знаю, что нет.

— По-моему, я это тоже знаю. Просто я ужасно боюсь, погнавшись за безраздельным обладанием тобой, потерять даже то, что у нас сейчас есть.

— У нас есть любовь. Но любовь должна приносить плоды, иначе она иссякнет. Я вовсе не имею в виду детей — видит Бог, у нас их и так слишком много, — я имею в виду ощущение раскованности, праведности — понимаешь, любовь должна быть освящена благословением. Слово “благословение” кажется тебе глупым?

— А разве мы — не благословение друг для друга?

— Нет. Оно должно исходить не от нас, а свыше.

Над ними в еще ярком небе, тогда как на землю уже напознала тень, беззвучно висел распластаный серебряный самолет. Джерри легонько обнял ее за плечи и совсем по-иному посмотрел на нее — лицо его расплзлось в отеческой улыбке, всепрощающей, обволакивающей. Он сказал:

— Эй! — и посмотрел на свои колени. — Ты знаешь, я могу сидеть здесь с тобой и говорить о потерях — о том, что могу потерять тебя и что мы оба можем потерять нашу любовь, но ведь я говорю только потому, что ты — со мной, и все это всерьез не воспринимаю. А вот когда я потеряю тебя, когда тебя со мной не будет, тут я взвою, как зверь. По-настоящему взвою. И все, что мешает мне сейчас прийти к тебе, покажется пустыми словами.

— Но ведь это не пустые слова.

— Нет. Пожалуй, не совсем. Возможно, беда наша в том, что мы живем на закате старой морали: она еще способна мучить нас, но уже не способна поддерживать.

Тембр его голоса, заглохшего в беспросветном мраке, заледенил ее. Она чуть подвинулась вперед, высвобождаясь из-под его руки, встала, глубоко вобрала в легкие воздух и позволила мысли разориться в природе.

— Какой чудесный долгий день, — сказала она, пытаюсь вернуть радость, охватившую их при виде этих мест.

— Почти самый долгий в году, — сказал он, поднимаясь с наигранно самоуверенным видом, который старался придать себе всякий раз, как получал отпор. — Никак не могу сообразить, дни сейчас убывают или еще прибывают? — Он посмотрел на Салли и, решив, что она не поняла, пояснил:

— Я имею в виду солнцестояние.

И оба расхохотались от этой его попытки объяснить очевидное.

Они вернулись в зал ожидания и обнаружили, что там по-прежнему полно народу.

Самолет в пять пятнадцать улетел. Запах сосисок усилился: настало время ужина. Трое молодые людей за стойками уже явно осатанели от нескончаемого столпотворения. Они перекидывались остротами, то и дело пожимали плечами и не столько отвечали на вопросы разъяренной, взволнованной толпы, сколько стоически сносили ее возмущение. Девушка с седыми волосами потягивала кофе из стаканчика с эмблемой авиакомпании. Джерри осведомился у нее, будет ли дополнительный самолет в шесть часов.

— Нам еще ничего не известно, сэр.

— Но ведь час назад вы сказали, что он будет.

— О вылете объявят, сэр, как только мы получим подтверждение.

— Но нам необходимо попасть домой. Наша... наша помощница, которая сидит с ребенком, собиралась пойти на танцы. — Как это похоже на Джерри, подумала Салли:

зачем врать, когда не умеешь. Танцы во вторник вечером? Они с девушкой переглянулись, и тогда Джерри, разоблаченный ими обеими, спросил девушку напрямик: — Так есть надежда?

— Мы запросили о дополнительном самолете нашу главную контору и ждем ответа, — сказала она и отвернулась, чтобы без помехи насладиться кофе.

Вид у Джерри был такой мрачный, что Салли сказала: “Я есть хочу”, в надежде услышать от него обычную грубовато-дружескую шутку по поводу ее аппетита. Но он воспринял ее слова лишь как некий факт, требовавший определенных действий, и, вытащив не без труда свой чемодан из-за пластмассового кресла, повел ее назад по голубому и кремовому коридору в бар. Все столики были заняты, Он поставил чемодан у металлического столба и, усадив на него Салли, отправился к стойке выяснять, есть ли сэндвичи. Он принес два тоненьких сухих ломтика хлеба с ветчиной и сыром и два бумажных стаканчика с кофе. Почему он не прихватил ничего покрепче? Наверное, решил, что не положено пить, когда ты в столь тяжелом положении, или что надо сохранять ясность ума. Будь она дома, Ричард уже нес бы ей сейчас джин с тоником, или дайкири, или даже ромовый коктейль “Коллинз”, или чистый джин с лимоном. В их первое совместное Рождество она подарила ему шейкер для сбивания коктейлей, и даже когда они ссорились до умопомрачения, он торжественно приносил ей что-нибудь выпить. Она подумала, что Ричард во время этого ожидания непременно устроил бы спектакль — по крайней мере, взорвался бы, возмутился. Крупный, сильный, с далеко не идеальным зрением, он обожал лезть на рожон. Обожал кухню, обожал так забить холодильник, чтобы тот, набирая холод, весь трясся. Салли ощутила во рту вкус дайкири, который он бы ей принес. Холодный-прехолодный.

Джерри ел стоя, возвышаясь над нею, и сама поза возродила в нем желание поактерствовать. Если бы это была сцена, они находились бы на самом ее краю. В двух-трех шагах от них непрерывно шаркала толпа.

— Я попытался представить себе тиски, в которых я очутился, — сказал он ей. — Так вот: я — между смертью и смертью. Жизнь без тебя — для меня смерть. С другой стороны, бросить семью — это грех; пойдя на такой шаг, я отрину Господа, а отринув Господа, лишусь права на вечную жизнь.

Салли почувствовала, что у нее нет сил бороться, ну что она может сказать в ответ на такое обвинительное заключение? Она попыталась подладиться под его умонастроение, но трудно было поверить, что ум хоть как-то ко всему этому причастен.

Заглотив сэндвич, он присел на корточки и зашептал ей в самое ухо. Она досадливо отвернула голову и в эту минуту заметила знакомого с виду мужчину, который стоял у бара и смотрел на них. Он тотчас отвел взгляд; его усики в профиль на фоне неоновой рекламы превратились в зеленую каплю под носом. А Джерри шептал ей:

— Я смотрю на твое лицо и представляю себе, что вот я лежу в постели, умираю и спрашиваю себя: “Именно это лицо хотелось бы мне видеть, лежа на смертном одре?” Не знаю. Честно говорю: не знаю, Салли.

— Ты не скоро умрешь, Джерри, и до тех пор в твоей жизни будет еще много женщин после меня.

— Ничего подобного. Ты — моя единственная женщина, Ты — единственная женщина, которую я хочу. Ты была предназначена мне на Небесах, и Небеса же не разрешают мне быть с тобой.

Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие создавать немислимые препятствия из абсурдных абсолютов, а кроме того, она чувствовала, что ему доставляет удовольствие наказывать ее. Наказывать за то, что она его любит. Она понимала, что он считает такое наказание благом: совесть требовала, чтобы он все время держал ее на грани боли, обрамлявшей их любовь. Но понимала она и то, что он ведет себя, как ребенок, который нарочно говорит гадости в расчете, что ему станут возражать.

— Ты ведь не женщина, Джерри, поэтому, мне кажется, ты преувеличиваешь, думая, что твой уход будет так уж болезненно воспринят Руфью.

— В самом деле? Как же он будет ею воспринят? Скажи. — Руфь была единственной

земной темой, которая никогда не переставала интересовать его.

— Ну, она будет потрясена и почувствует себя очень одинокой, но при ней останутся дети, и у нее появится... трудно передать это словами, но я помню по себе, когда я осталась одна... у нее появится чувство удовлетворения при мысли, что вот еще один день она пережила и справилась. В замужестве этого чувства не испытываешь. А потом она, конечно, снова выйдет замуж.

— Думаешь, выйдет? Скажи — да.

— Конечно, выйдет. Но... Джерри? Только, пожалуйста, не злись.

— Я слушаю тебя.

— Если ты намерен сделать этот шаг, то делай. Я не знаю, о чем она догадывается или что ты ей говоришь, но если ты мучаешь ее так, как мучаешь меня...

— Я тебя мучаю? Господи! Я же хочу как раз обратного.

— Я знаю. Но... я... я не собираюсь собой торговать. Я буду приходить к тебе, сколько смогу, и тебе вовсе не обязательно на мне жениться. Но не дразни меня такой возможностью. Если ты считаешь это возможным и хочешь этого, то женись на мне, Джерри. Оставь ее, и пусть она создает себе новую жизнь. Она не погибнет.

— Хотел бы я быть в этом уверен. Вот если бы существовал какой-то приличный человек, который, я бы знал, готов на ней жениться и заботиться о ней... Но все знакомые мужики по сравнению со мной — сущие кретины. В самом деле. Я вовсе не самонадеян, просто это факт.

Салли подумала: не потому ли она и любит его, что он может сказать такое и в то же время выглядеть наивным мальчишкой, который многого от нее ждет и даже готов выслушать отповедь.

— Она не найдет никого другого, пока ты не уйдешь от нее, — сказала ему Салли. — Не можешь же ты выбрать ей нового мужа, Джерри, вот это уж действительно слишком самонадеянно с твоей стороны.

Всякий раз, как она пыталась уязвить его, он был, казалось, только благодарен ей. “Давай, давай, — словно говорила его улыбка, — сделай мне больно. Помогите мне”.

— Ну что ж, — сказал он и вставил один стаканчик из-под кофе в другой. — Все это чрезвычайно интересно. Досыта наелись горьких истин.

— Зато, по-моему, мы все друг другу выложили начистоту, — заметила она, пытаясь оправдаться.

— Мило, правда? До того мило — выложить все друг другу и сидеть спокойненько, как ни в чем не бывало. Но нам, пожалуй, лучше вернуться. Вернуться в свой ад.

— Спасибо за сэндвич, — сказала она, поднимаясь. — Он был очень вкусный.

— Ты грандиозна, — сказал он ей. — Грандиозная блондинка. Когда ты встаешь — точно флаг поднимается. У меня сразу возникает желание присягнуть ему. — И он при всех церемонно прижал руку к сердцу.

Толпа разрослась: к билетным стойкам было не пробиться. Салли вдруг поняла полную безнадежность их положения и впервые после полудня почувствовала, что сейчас заплачет. Джерри повернулся к ней и сказал:

— Не волнуйся. Я доставлю тебя домой. А что, если нам нанять машину?

— И проделать весь путь на колесах? Джерри, да разве это возможно?

— Ну, а ты не считаешь, что хватит с нас самолетов?

Она кивнула, и слезы обожгли ей горло, как отрыжка. Джерри помчался во весь дух по коридору — ей казалось, что кожа у нее на пятках рвется в клочья, когда она кинулась за ним. Стойки компаний по прокату автомобилей тремя одинокими островками маячили далеко впереди.

Девушка из компании “Херц” была в желтом, девушка из компании “Эйвис” — в красном, девушка из компании “Нейшнл” — в зеленом. У Джерри была кредитная карточка “Херца”, и девушка в желтом сказала:

— Мне очень жаль, но все наши машины разобраны. Все хотят ехать в Нью-Йорк.

Значит, такая уж у них судьба — всюду опаздывать. Куда бы они ни тыкались, — толпы

людей уже стояли там до них. Джерри вяло возмутился: ему словно бы стало легче от того, что еще одна возможность упущена, еще одно появилось оправдание для бездействия. Вот Ричард — тот бы наверняка сумел найти выход: нет таких трудностей, которых он бы окольным путем не обошел, самый процесс нахождения окольных путей доставлял ему чувственное наслаждение. Человек, фигурой напоминавший Ричарда, — крупный, но стремительный в движениях, — возник в поле зрения Салли; мужчина этот подошел к ним и сказал:

— Я не ослышался — вы говорили про Нью-Йорк? Я охотно разделю с вами затраты.

— Это был тот самый, которому необходимо было попасть в Ньюарк к семи часам.

Сейчас стрелки показывали без двадцати семь.

Девушка из “Херца” окликнула ту, что стояла за стойкой “Эйвиса”:

— Джина, нет лицу тебя машины, которую ты могла бы послать в Нью-Йорк?

— Сомневаюсь, но подожди: дай позвоню на стоянку. — Джина стала набирать номер, зажав трубку между ухом и плечом. Салли вдруг подумала: интересно, эта Джина была когда-нибудь влюблена? Она была совсем молоденькая, но апатичная, с пресыщенным и одновременно недовольным выражением лица, какое, решила Салли, очевидно, появляется у итальянских девушек от того, что страдальцы матери слишком долго прижимают их к груди. Салли сбежала от своей страдальцы матери, как только смогла; сначала нашла приют в школе, затем в замужестве и, возможно, потому всякое страдание воспринимала как что-то неожиданное, неоправданное, остро болезненное. Она думала: неужели каждой женщине в мире выпадает на долю такая боль — разве это вынесешь? Чем же тогда держится мир?

Высокая девушка в зеленом за стойкой “Нейшнл” спросила:

— И чего это все рвутся в Нью-Йорк? Что там такого, в Нью-Йорке?

— Колокол свободы note 5, — сказал ей Джерри.

— Будь я на вашем месте, — сказала она ему, — я бы взяла такси, поехала в город и посмотрела какой-нибудь фильм.

Джерри спросил:

— А что идет хорошего?

Девушка из “Херца” сказала:

— Моему приятелю понравился фильм “Прошлым летом в Мариенбаде”, а я считаю — хуже не придумаешь. У кустов там даже тени нет. Я ему говорю: “И это они называют искусством”, а он говорит: “Самое что ни на есть искусство”.

Девушка компании “Эйвис” крикнула из-за своей стойки:

— В городе идет новая картина с Дорис Дэй и Рокком Хадсоном — все в восторге.

Джерри сказал:

— Я люблю Дорис Дэй. Голливуду надо бы почаще давать ей петь.

Салли всегда огорчало то, как легко он завязывает разговоры с женщинами — любыми женщинами.

Джина положила телефонную трубку на рычаг и сказала:

— Элис, одна машина только что вернулась, ее могут сразу выпустить.

И Элис, миленькая Элис с личиком без подбородка и таким нетребовательным приятелем, улыбнулась, выставив вперед крупные зубы, и сказала:

— Извольте, сэр. Теперь она займется вами.

— Меня не забудьте, — напомнил мужчина, которому надо было в Ньюарк.

Джерри повернулся к нему и, покраснев, сказал:

— Мы с женой, пожалуй, предпочли бы ехать одни.

Мужчина шагнул к Джерри и схватил его руку.

— Меня зовут Фэнчер. Я живу в Элизабет, штат Нью-Джерси, и работаю по химическим присадкам. Я вовсе не хочу на вас давить, но вы бы очень меня обязали, если бы разрешили поехать с вами.

Джерри изящным жестом приложил свою тонкую длинную руку ко лбу и сказал:

— Что ж, мы об этом подумаем. Сначала еще надо получить машину.

Он небрежно швырнул кредитную карточку “Херца” на стойку перед Джиной, но она сказала, что, поскольку машина принадлежит компании “Эйвис”, надо внести аванс в двадцать пять долларов наличными.

— Но у нас ведь нет двадцати пяти долларов, верно? — спросил Джерри у Салли.

— А билеты? — сказала она.

Фэнчер мигом очутился подле них.

— Вам нужно двадцать пять долларов?

Салли и Джерри молча посмотрели друг на друга, и от романтической поездки вдвоем при луне, навстречу своей судьбе и полуночи, остался лишь раскрашенный задник.

— Я сдам билеты и получу за них деньги, — сказал он. — Та девчонка у меня действительно поседет. — И сказал Джине:

— Я вернусь через десять минут. А Салли сказал:

— Жди меня здесь и стереги машину. — Скорчил извиняющуюся гримасу Фэнчеру и умчался.

Минуты тянулись нескончаемо долго. Мистер Фэнчер молча стоял рядом с Салли, то и дело теребя свои усики, и стерег ее, а она стерегла призрачный автомобиль. Три девицы в наступившем вокруг их островков затишье болтали наперебой о приятелях и купальных костюмах. У Салли закружилась голова. Горечь подступала к горлу — ее тошнило от этой любви. Любовь... любовь окутала мир туманом, любовь не выпускает самолеты, любовь скрывает от нее детей, любовь придала ее мужу в профиль вид немощного старца. Фэнчер торчал рядом с нею — он занимается химическими присадками, и ему необходимо быть в Ньюарке, но она обещала любить того, что ушел, и повиноваться ему, пока смерть не разлучит их. “Великий Боже, отпусти меня!” Она держалась очень прямо и старалась не шевелиться, чтобы ее не вырвало. Цементный пол был весь в сигаретных окурках и следах от каблуков. Говорила зеленая девица из компании “Нейшнл”: она-де всю жизнь считала, что у нее неподходящая фигура для бикини — ведь она такая высокая, но ее приятель шутки ради купил ей бикини, и теперь она и думать ни о чем другом не хочет: в бикини чувствуешь себя так свободно.

Вернулся красный, запыхавшийся Джерри — Джерри со своим лупящимся от солнца носом, глазами, избегающими смотреть на собеседника, и этой летящей походкой, которая делала его похожим на воздушного змея.

— Порядок! — объявил он, выбросив в воздух руки победной буквой “V” note 6 и как бы заключая всех четырех женщин в объятия. Фэнчеру он сказал:

— Можете забирать машину. И всяческих вам успехов в Ньюарке. — И, дотронувшись до плеча Салли, сообщил:

— Девушка из “Юнайтед” сказала, что будет дополнительный самолет, и посоветовала обратиться к человеку — она тут написала к кому. — Он показал клочок бумаги, на котором женским почерком было поспешно нацарапано только “Кардомон”.

— Ты его уже видел?

— Нет, его не оказалось на месте. Пошли поищем его.

— Джерри, чемодан!

— Ах, верно. Господи, обо всем-то ты думаешь, Салли.

Фэнчер сказал:

— Вы говорите, есть самолет? Тогда и мне не нужна машина. — И с поразительной для такого полного мужчины скоростью — словно метнули дротик — устремился вперед, оставив их далеко позади на пути к залу ожидания.

Здесь, казалось, инстинкт передвижения овладел человеческими ордами — почти все устремились к выходам на поле. Встревоженные Джерри и Салли в общем потоке вышли из зала и двинулись по коридору. Толпа густела. В воздухе стоял какой-то странный гул — Салли почудилось, что люди скандируют: “Шаферица, шаферица!” Она решила, что у нее опять галлюцинация, но оказалось, выкрикивали именно это слово. В центре толпы негр в синих солнечных очках совещался о чем-то со светловолосым человеком в форме авиакомпании, вооруженным блокнотом. А вокруг них полукругом стояли разодетые немолодые люди и гортанными выкриками, избличавшими уроженцев Диксилэнда note

7, подбадривали девушку в шляпе с цветами и платье из переливающегося желтого шелка. Теперь Салли все поняла: это — подружка невесты, и если она не попадет на самолет, то опоздает на свадьбу; а может, она едет со свадьбы? Толпа заскандировала громче — Джерри присоединился к ней: “Шаферица, шаферица!” От возмущения у Салли заныло под ложечкой и глаза набухли слезами. Несправедливо это — ведь девчонка даже и не красивая. Возле носа — земляничное родимое пятно, и у губ — морщинки от напряженной жеманной улыбочки. Светловолосый кивнул негру. Тот сверкнул широкой иронической улыбкой и взял у девушки билет. Толпа ответила громким “ура”. Девушка прошла в дверь. И та с лязгом за ней захлопнулась. Самолет, вылетающий по расписанию в семь пятнадцать, взял курс на Нью-Йорк.

В зале ожидания Джерри оставил Салли и отправился разыскивать мистера Кардомона. Она одиноко стояла у выцветшей голубой стены, когда к ней подошел высокий мужчина и вежливо произнес:

— Если не ошибаюсь — Салли Матиас!

Уигглсуорс — и два инициала перед фамилией. Салли сразу вспомнила эти инициалы: Э. Д. Он спросил:

— Вы здесь с Диком? — Голос у него был бархатный, мягкий; он был хорошо сложен, и тщательно причесан, и так богат, что Ричард буквально танцевал вокруг него, когда он два-три раза был у них дома.

— Нет, я здесь одна, — сказала она. — Я довольно часто удираю. У меня мама живет в Джорджтауне. А вы пытаетесь пробиться в Нью-Йорк?

— Нет, я двигаюсь в Сент-Луис. Мой самолет улетает через полчаса. Хотите чего-нибудь выпить?

— Это было бы чудесно, — сказала Салли, — но я стою в живой очереди, и мне, пожалуй, лучше не отходить. Мы ждем дополнительный самолет. — И тотчас исправила местоимение. — Я торчу здесь уже с трех часов. Фантастическая неразбериха.

— И все же, мне кажется, вам не мешало бы выпить. — Он улыбнулся — этаким большой кот, который мурлычет, когда его гладят; он был отменно красив и отменно противен и, несмотря на весь свой внешний лоск, понимал это.

— Я тоже так думаю, — сказала она, озираясь кругом и ища взглядом Джерри. Но его нигде не было видно.

Уигглсуорс истолковал этот ищущий взгляд как согласие и взял Салли за локоть. Она вырвала руку. Она сама не сознавала, до какой степени у нее натянуты нервы.

— Извините, — сказала она. — Честное слово, я еле сдерживаюсь, чтоб не разреветься: Ричард ведь ждет меня к ужину.

— В такой ситуации начинаешь жалеть о милых старых поездах, верно? — успокаивающе сказал Уигглсуорс, хотя и был явно оскорблен.

— А что вы собираетесь делать в Сент-Луисе? — спросила Салли. И почувствовала, как на ее лицо плотно легла маска соблазнительницы, почувствовала, что без всякого перехода начинает флиртовать.

— О, нечто весьма нудное. Банковские дела, слияние железных дорог. Акт отчаяния. Ненавижу Средний Запад.

— Вот как?

— Скажите, чем кончилось у Дика с канадской нефтью? Мне это показалось невероятно заманчивым, но я не сумел заинтересовать отца.

— Я об этом ничего не слышала. Он ведь никогда мне ничего не рассказывает. А как Би?

— Она отчаянно пыталась вспомнить имя его жены, но в памяти возникло лишь восковое личико балерины да то, что имя ее тоже смахивает на инициал.

— Очень хорошо. У нас теперь двое деток.

— Вот как? Чудесно. Еще одна девочка?

— Еще один мальчик. Вы уверены, что не хотите ничего выпить?

— Как вы меня соблазняет, — сказала Салли.

— А вы слышали про Джейми Бэбсона? Он снова женился — на сногшибательной индонезийке. Она — синхронщица в ООН.

— Да. Ему это, конечно, по душе.

Уигглсуорс рассмеялся. Зубы у него были безупречные, но слишком мелкие.

— А Бинк Хаббард — Ричард, я знаю, встречался с ним — исчез во Флориде: говорят, он снова уплыл на либерийском грузовом судне.

— По-моему, я его не знаю.

— Нет, конечно. Он из тех мужчин, кому все остальные дико завидуют.

— Да, есть такие. — Салли сама признавала, что говорит, как автомат. Оттолкнуть, притянуть, оттолкнуть, притянуть — настоящая проститутка.

Уигглсуорс посмотрел поверх ее головы и сказал:

— Это там не Джерри Конант?

— Где? А вы знаете Джерри?

— Конечно. Он ведь, кажется, живет где-то рядом с вами?

Он посмотрел на нее сверху вниз, и его безупречные брови (он что — выщипывает их?) приподнялись при виде ее напряженной озабоченности.

— Через Руфь, — пояснил он. — Мои родители ходили в церковь ее отца. Она слыла тогда красавицей.

— Такой она и осталась.

— Никто тогда не мог понять, почему она вышла замуж за Джерри.

Тут он и появился. Салли не столько увидела, сколько почувствовала его приближение, хотя он был еще далеко, почти у самых стоек авиакомпаний. Она почувствовала, как он заколебался, потом решил подойти. Голос его резко прозвучал у самого ее уха:

— Anno Domini note 8 Уигглсуорс — Иисус Христос собственной персоной.

— Джерри! Вы что — тоже тут застряли?

— По-видимому. Я как раз искал некоего мифического мужчину по имени Кардомон, который вроде бы должен помочь нам отсюда выбраться.

— Вам и миссис Матиас?

— Да, мы с миссис Матиас, похоже, попали в одну беду. — Он опустил взгляд на свою руку, в которой держал два билета. Поднял их и показал. — Я взялся вести переговоры и за нее тоже. У вас место забронировано?

— Да.

— А вы бы не согласились отдать его Салли?

— Охотно — только я лечу в Сент-Луис.

Джерри повернулся к Салли и сказал:

— Может, и нам махнуть в Сент-Луис? А там нанять плот и поплыть по Миссисипи.

Она рассмеялась — от возмущения. Как он смеет дразнить ее, когда они на краю катастрофы!

Улыбка застыла на лице Уигглсуорса, и по тому, как окаменели лица обоих мужчин, Салли поняла, что стала для них предметом раздора — телом.

— Я как раз говорил Салли, — сказал Уигглсуорс, — что Джейми Бэбсон женился на индонезийке.

— Великолечно, — сказал Джерри. — Смешанные браки — единственное, что навеки способно разрядить напряженность в мире. Кеннеди это тоже знает.

— Что на вас нашло, Джерри? — сказал тот, другой. — С каких это пор вы стали проповедником? Мне казалось, вы трудитесь на Госдепартамент.

Они сражались за нее. Тошнотворный страх вернулся к Салли и с ним — желание спать; она представила себе, как озадаченный Ричард сидит в одиночестве, волнуется, пьет уже второй martini, и ей отчаянно захотелось упасть в обморок — грохнуться на грязный, затоптанный пол среди сигаретных окурков и проснуться у его ног. А мужчины все говорили, зло обмениваясь репликами, долетавшими до нее словно сквозь вату, пока Уигглсуорс, загнанный в угол превосходящей резкостью Джерри, наконец, не сказал:

— По-моему, мне пора на посадку. Желаю вам обоим удачи. — И в том, как он попрощался, как поклонился одной головой с высоты своего стройного тела, было что-то удивительно изящное, близкое к благословию. Только чванливое ничтожество могло так держаться. Джерри надулся и был мрачен, как грозовая туча. Значит, это все-таки случилось — он

возненавидел ее? Она спросила:

— Ты так и не нашел Кардомона?

— Нет. Его просто не существует. Может, это шифр? Если “Кардомон” прочесть наоборот, получится “Ном-о-драк”. — Объявили посадку на восьмичасовой самолет, вылетающий в Сент-Луис, и Уигглсуорса — устремленный вдаль взгляд, высоко поднятый подбородок — вынесло в лавине портфелей из зала ожидания. Джерри взял руки Салли в свои. — Ты вся дрожишь.

— Немножко. Меня расстроила эта история.

— Он часто встречается с Ричардом?

— Почти никогда. Ричард ему не компания.

— Ничего он не скажет. Никаких процентов ему это не принесет. Просто запомнит на всякий случай: а вдруг понадобится пошантажировать тебя.

— И будет прав, верно? Я хочу сказать, что я и есть такая, какой он увидел меня.

— А какой он тебя увидел?

— Не заставляй меня произносить это, Джерри. Джерри мысленно перемолол ее отказ.

— Вообще-то, — сказал он, — тебе было бы куда лучше с ним, чем со мной. Уж он бы посадил тебя на этот чертов самолет, уверен.

— Джерри.

— М-м?

— Не кори себя. Ты же говорил мне, чтоб я не приезжала.

— Но я хотел, чтобы ты приехала. И ты это знала. Потому и приехала.

— Я приехала потому, что и мне этого хотелось. Он вздохнул.

— Ох, Салли, — сказал он. — Ты ко мне так добра. — Он взглянул на билеты, которые все еще держал в руке, и сунул их в боковой карман пиджака, потом устало посмотрел на нее. Улыбка сожаления на секунду осветила его лицо:

— Эй?!

— Привет.

— Давай поженимся.

— Прошу тебя, Джерри, прекрати.

— Нет, давай. А ну их всех к черту. Назад мы вернуться не можем. Господь сказал свое слово.

— Не верю, что ты это серьезно. Голос его звучал вяло:

— Нет. Серьезно. Ты же ведешь себя со мной как жена. И вообще в моих глазах ты — миссис Конант.

— Но я не миссис Конант, Джерри. Мне только хотелось бы ею быть.

— Тогда — о'кей. Предложение принято. Я не вижу другого выхода: возвращаемся в отель, звоним Руфи и Ричарду, а со временем поженимся. Это единственное, что я могу придумать. Сейчас я чувствую только усталость, но мне кажется, я буду очень счастлив.

— Я постараюсь сделать тебя счастливым.

— По-моему, мы сумеем получить твоих детей. Теперь суды уже так не придираются к тому, кто из супругов совершил адюльтер.

— А ты уверен, что именно этого хочешь?

— Конечно. Я, правда, не думал, что все так получится, но я рад, что получилось. — Однако с места он не двинулся. А она стояла рядом, и в сердце у нее было пусто. Радость и горе, страх и надежда — все, что наполняло ее прежде, куда-то исчезло. Даже на полу вокруг них образовалась пустота. Люди кричали, жестикулировали, но она слышала лишь тишину. Потом вдруг почувствовала, что хочет пить и что у нее болят стертые пятки. В отеле можно будет снять туфли. А потом они спустятся в бар выпить.

В окружавшей их пустоте возникла девушка, крашенная под седину.

— Мистер и миссис Конант? Я разыскала мистера Кардомона.

За ней следовал светловолосый мужчина в форменном пиджаке авиакомпании, с блокнотом в руке. Салли уже видела его раньше. Когда?

Джерри вдруг рванулся в сторону от нее. Вытащил авиабилеты. Они были истрепанные и казались ненужными бумажками. Заикаясь, он принялся объяснять:

— Мы уже с трех часов пытаемся попасть на самолет в Нью-Йорк и отказались от прокатной машины, потому что нам сказали, что будет дополнительный самолет.
— Могу я взглянуть на номера ваших посадочных талонов? — попросил мистер Кардомон. И принялся рассматривать их, потирая кончик носа костяшкой пальца. Потом внимательно оглядел их обоих, то и дело почесывая пальцем нос. До Салли вдруг дошло, что обе они — и она и седая девушка — стоят, вытянувшись в струнку. От шеи Джерри потянуло слабым, еле уловимым запахом пота. Мистер Кардомон что-то записал в блокноте, пробормотав:

— Конант, два. — Затем поднял голову с копной светлых, вьющихся, как у мальчишки, волос, и Салли увидела, что глаза у него серые, цвета алюминия. Он знает. Он сказал Джерри: мисс Марч сейчас вложит посадочные талоны в ваши билеты.

— Так, значит, все-таки есть самолет? — спросил Джерри.

Кардомон посмотрел на ручные часы.

— Он вылетает через полчаса. Выход — двадцать восемь.

— И мы летим на нем? Господи, благодарю тебя. Благодарю. А мы решили было возвращаться в отель, — И не в силах выразить мистеру Кардомону, который уже стоял к ним спиной, всю свою благодарность, Джерри повернулся к девушке и зафонтанировал:

— А вы знаете, теперь мне уже нравятся ваши волосы. Ни в коем случае не перекрашивайте их в натуральный цвет.

Он куда-то ушел следом за ней и вернулся с билетами, в которые были вложены два голубых листочка; затем подхватил чемодан с игрушками для своих детей и зашагал по коридору, сопровождаемый Салли. К этому времени она уже успела изучить все рекламы. Спектакли, которые она не увидит, острова, которые никогда не посетит. Настороженная толпа, почуяв близость избавления, собралась у выхода двадцать восемь; в положенное время появился негр — солнечные очки его на сей раз торчали из кармашка рубашки — и медленно, с наслаждением, прочел список фамилий. Их фамилия стояла последней. Конанты. Они прошли в дверь, и когда Салли оглянулась, ей показалось, что она увидела среди теснившихся позади людей взволнованного усача, которому уже давно следовало быть в Ньюарке.

Самолет был маленький ДС-3 — он стоял, задрав нос, так что проход между креслами круто шел вверх. В кабине все мужчины уже сняли пиджаки, убрали чемоданчики и пересмеивались. “Интересно, на каком чердаке они его откопали”, — сказал кто-то, и Джерри рассмеялся и похлопал Салли по спине. Он был в таком восторге, испытывал такое облегчение — она попыталась разделить с ним эти чувства, но тут же поняла, что вообще почти не способна что-либо чувствовать. Она села дальше от прохода и сквозь овальное оконце смотрела, как механики размахивают карманными фонарями, а Джерри гладил ее руки и требовал, чтобы она похвалила его за то, что он достал им места. Она подумала было о Камю, лежавшем у нее в сумке, и — закрыла глаза. Сбросила терзавшие ноги туфли. Сзади доносился голос одной из стюардесс, а под самым окном вдруг взвыл мотор. В самолете было холодно, словно он только что спустился к ним с большой ледяной высоты. Джерри что-то положил на нее сверху — свой пиджак. Воротник тер Салли подбородок; Джерри все гладил ее руки и запястья, а она чувствовала, как тело ее сжимает словно металлическим кольцом; мужчины что-то бормотали, переговариваясь между собой, — она была единственная женщина в самолете, — и пиджак Джерри хранил его запах, и она уже засыпала, хотя самолет все еще стоял.

Ах, Салли, до чего же это был чудесный полет! Помнишь, как низко мы летели? И как наш маленький самолетик, подпрыгивая на воздушных течениях, нес нас, точно лодка-лебедь, по воздуху где-то между звездами, рассыпанными наверху, и городами внизу? Над нимбом твоих спящих волос я видел, как ширилось прочерченное спицами световое колесо столицы, накренилось и снова ширилось, — Данте не мог бы вообразить такую розу. В нашем ДС-3, который откопали Бог знает где, чтобы отвезти нас домой, было холодно: самолет не отапливался — мы дышали чистым эфиром. Мы плыли, урча двумя моторами, на высоте, которую едва ли назовешь высотой, над Балтимором, Чесапик-Бей, Нью-Джерси, темневшим фермами. Поднимись мы чуть выше, и нам бы уже не увидеть

каждую машину, заворачивавшую в гараж, каждый дом, уютно примостившийся в своем гнезде света. И каждый мост был двойным бриллиантовым колье, каждый придорожный ресторанчик — утопленным рубином, каждый город — россыпью жемчуга. А за окнами, скрашивая наше одиночество, недвижно плыли звезды.

И все это была ты — твоя красота. Я вошел в тебя и через тебя познал небо. Ты казалась — спящая подле меня, в то время как мужчины, широким кольцом окружавшие нас, шелестели газетами, пили кофе, — кем же ты казалась? Не моей женой, не сестрою, не дочерью. Я поглаживал твои руки, чтобы ты даже во сне чувствовала, что я тут. Твои руки казались на диво длинными, Салли, и, глядя на тебя, спящую, такую большую, крупную, я непомерно гордился, что ты моя. Как же я гордился — целый час, а то и больше, пока пилот вел нашу чудную посудину от звезды к звезде, — как гордился, что я — твой защитник. Никогда прежде и никогда потом не был я тебе столь верным защитником. Ибо если бы самолет разбился и ты умерла, я последовал бы за тобою, и мы бы вместе вступили в то сказочное царство — ведьмой пиджак лежал на тебе, мои жизненные соки еще бродили в твоих теплых глубинах. Две тудяги лошадки тащили нас, покачивая, вверх по черному воздушному скату — на север. В своем забытии ты принадлежала мне. Мне нравился овал черного неба рядом с твоим лицом. Мне нравился холод, побудивший тебя уткнуться головой мне в плечо. Мне нравились жесткие костяшки твоих рук, и мягкие, как пух, плечи, и твое тело под моим пиджаком.

А потом я ушел от тебя. Моторы заревели громче, стремительно промчался Манхэттен, океан поднялся нам навстречу, чтоб нас поглотить, колеса чиркнули по посадочной полосе, судьба нас пощадила: мы не умерли. Мне ненавистна была наша неудача: и умереть мы даже не смогли. Мне ненавистна была спешка, с какою я снял с тебя пиджак, и вытащил чемодан из-под сиденья, и стал пробираться по проходу, чтобы выйти первым. Руфь встречала меня: ведь было уже за десять. Я оставил тебя полусонную, откинув волосы с лица, чтобы они не щекотали губ, — ты сидела покинутая, добыча для алчных глаз. Я чувствовал твой взгляд, провожавший меня, пока я трусливо бежал по бетону, постепенно уменьшаясь, мелькая в крутящихся полосах света. В толпе за стеклянными дверьми я уже видел задранное кверху лицо Руфи. Я почувствовал, что исчез из твоих глаз. Я ведь вспомнил о ней.

Когда на следующее утро в десять часов зазвонил телефон, Джози покраснела от злости и вышла из кухни. Салли подошла к аппарату в купальном костюме: Питер уже полчаса ждал ее, чтобы ехать на пляж.

— Привет, — сказала она. Причем таким тоном, что чужому человеку это не показалось бы странным.

— Привет, — откликнулся Джерри. Голос у него был испуганный. — Как все прошло?

— Никак, — сказала Салли. — Я явилась еще до полуночи — он уже спал. А сегодня утром, прежде чем уйти, спросил меня, как поживают Фитчи, я сказала — хорошо, и больше мы ни о чем не говорили.

— Ты шутишь. Он наверняка что-то знает.

— Не думаю, Джерри. Мне кажется, что наши отношения достигли такой стадии, когда ему, право же, безразлично, что я делаю/

— Нет, не безразлично.

— А как у тебя с Руфью?

— Отлично. Вся эта путаница с самолетами дала мне тему для разговора — о тебе, естественно, не упоминалось. Я рассказал ей о девушках из прокатных компаний, о Фэнчере и об Уигглсуорсе. Мне даже как-то грустно стало от того, что она так обрадовалась при виде меня. Она уже совсем было потеряла надежду, что я прилечу. Солнце резко высвечивало солонку и перечницу, стоявшие на подоконнике. У Салли мелькнула мысль, не растопится ли соль.

— Я видела, как она тебя встречала, — сказала она.

— В самом деле? Я не был уверен, что ты увидишь.

— Ты так поспешно вывел ее из зала ожидания, точно взял под арест. Он рассмеялся.

— Да, она тоже сказала: “Зачем такая спешка?” Вообще-то она слегка подавлена.

Джоффри сломал себе ключицу, пока я был в отъезде.

— О Господи, Джерри! Ключицу!

— Судя по всему, ничего страшного. Чарли толкнул его, он упал на траву, потом весь день плакал и как-то странно держал руку, так что Руфи пришлось отвезти его в больницу, а там всего-навсего обмотали ему плечи бинтом, чтобы кость встала на место. Теперь он ходит, как маленький старичок, и никому не дает до себя дотронуться.

Питер влетел на кухню и принялся в ярости стучаться об ее голые ноги.

— Мне очень жаль, — сказала она.

— Не надо ни о чем жалеть. Ты тут ни при чем. Эй?

— Да?

— Ты была чудо как хороша. Прямо сдохнуть можно, как хороша.

— И ты тоже. И все было куда лучше, чем в первый раз.

— Меня буквально доконала эта пытка в аэропорту. Могу только удивляться, как ты ее выдержала.

— А меня это ничуть не раздражало, Джерри. Даже занятно было.

— Ты грандиозная. До того грандиозная, Салли, просто не знаю, что с тобой и делать.

Когда мы летели назад в самолете, ты была до того хороша, я голову потерял.

— А я потом жалела, что уснула. Упустила столько времени, когда могла бы быть с тобой.

— Нет. Не упустила. Все было правильно.

— У меня в самом деле словно вдруг не стало сил. Так со мной бывает в твоём присутствии, Джерри.

— Эй! Ты в самом деле считаешь, что все было хорошо? Не жалеешь, что поехала?

— Конечно, нет.

— Не очень-то веселый получился у нас ленч в музее, да и эта процедура с покупкой игрушек тоже прошла не слишком весело.

— Мне жаль, что так вышло. Пора бы мне стать взрослее. А я еще недостаточно взрослая, чтобы быть вечно веселой при тебе.

— Послушай...

— И я чувствую себя ужасно виноватой из-за этой истории с Джоффриной ключицей.

— Почему? Не надо. Ты тут абсолютно ни при чем.

— Нет, при чем. Я из тех, кто может накликать такое. Я приношу несчастье. Я гублю Ричарда, и моих детей, и твоих детей, и Руфь... — Глаза у нее защипало, и она опять вспомнила о соли, которая, наверно, тает сейчас под солнцем в солонке на окне.

— Да нет же. Послушай. Никого ты не губишь. Это я всех гублю. Я все-таки мужчина, а ты

— женщина, и мне положено быть хозяином положения, а я не могу. Ты добрая. Ты грандиозная женщина — ты сама знаешь это, а вот знаешь ли, что ты еще и добрая?

— Иногда, когда ты мне так говоришь, я начинаю в это верить.

— Вот и хорошо. Отлично. Верь. Питер принялся дергать ее за опущенную руку и плаксивым голосом тянуть:

— Пошли, мам. Пошли-и-и. — Все его пухлое тельце дергалось от отчаянных усилий. Она сказала Джерри:

— Питер ведет себя отвратительно, а Джози устраивает очередную истерику в гостиной, так что мне пора вешать трубку.

— Хорошо. Через минуту я отправляюсь к главному шефу с докладом о том, что мне сказали в Вашингтоне о необходимости соблазнять Третий мир. Мне очень неприятно насчет Джози. Если мы поженимся, нам обязательно держать ее?

— Мы никогда не поженимся, Джерри.

— Не говори так. Я только и живу мыслью, что рано или поздно это случится. Ты убеждена, что мы не поженимся?

Ему хотелось знать, хотелось услышать, что она убеждена.

— Не всегда, — сказала она. Он помолчал, потом сказал:

— Отлично.

— Я завтра целый день буду думать над твоим вопросом, так что не звони мне до пятницы. Мне кажется, нам надо какое-то время переждать, поэтому я не знаю, когда мы

снова увидимся.

— Угу. Наверно, не стоит испытывать судьбу. А она-то надеялась, что он станет спорить, настаивать на скорой встрече.

— Питер! — рывкнула она. — Ты хочешь, чтобы мама тебя отшлепала?

— Не сердись на Питера, — раздался у нее в ухе голос Джерри. — Он нервничает из-за тебя.

— Я не могу больше говорить. Прощай?

— Прощай. Я люблю тебя. И не будь так дивно хороша ни для кого больше.

— Желаю удачи, Джерри. — Она быстро повесила трубку, ибо знала, что они могут разговаривать до бесконечности и ей никогда не надоест слышать, как его голос произносит слова, в которые едва ли он сам верит. “Не будь так дивно хороша ни для кого больше” — он очень любит играть с мыслью, что она заведет себе другого. Он считает ее проституткой; Салли на миг почувствовала, что ненавидит его. Она стояла — отчаявшаяся, удивительно красивая в своем купальном костюме, голые ноги ее освещал косой теплый луч солнца. Так кто же она — порочная или сумасшедшая? Как она смеет отнимать этого мужчину у безупречной жены и беспомощных детей? И хотя Питер неистовствовал от нетерпения, она еще постояла, словно ждала ответа на свой вопрос.

III. Как реагировала Руфь

Две свернувшиеся фотографии в коробке.

На одной — цветной — запечатлено семейство Конантов по окончании церковной службы в холодное ясное вербное воскресенье — вербное воскресенье 1961 года. Джоффри — двухлетнего карапуза — только что крестили: на фотографии видно мокрое пятнышко у него в волосах. Руфь, в белом пальто, присела на корточки на пожухлой траве лужайки перед их домом между Чарли и Джоффри — у обоих вялые, по-зимнему бледные лица, оба скованные и нескладные, в одинаковых серых коротких штанишках, галстуках “бабочкой” и синих курточках. Джоанна, которой в ту пору было семь лет, стоит позади матери в зеленом беретике, застенчиво щурясь в свете молодого весеннего солнца. Руфь смотрит вверх и лукаво улыбается; солнечные блики нахально лежат у нее на коленях, на ней шляпка, кокетливо сдвинутая набекрень. Шляпку эту она заняла у Линды Коллинз. Под наигранной веселостью чувствуются усталость и напряжение. Накануне Конанты вернулись домой с вечеринки у Матиасов в два часа ночи. Над головой Руфи, у плеча Джоанны, расплывшейся желтой бабочкой или нарождающейся звездой торчит первый в этом году крокус. Цветок рано распустился в тепле, отражающемся от белых досок дома, и Джерри так нацелил объектив, чтобы и он вошел в кадр.

Сам Джерри присутствует на фотографии в виде вишневого пятна в нижнем левом углу. Здесь не запечатлено лишь то, как Джоанна в высокой белой индипендентской церкви, когда родители вернулись на свои места, протянула руку и нерешительно дотронулась до мокрого пятнышка на голове брата. Или как Руфь, решив вздремнуть в тот день после обеда, пока Джерри ходил с детишками на пляж, вдруг расплакалась при мысли, что предала отца и перечеркнула себя как личность.

Она была дочерью священника-унитария. Когда она встретила с лютеранином Джерри Конантом из Огайо и вышла за него замуж, религия ни для нее, ни для него не имела значения. Оба они посещали художественную школу в Филадельфии и были наивно и всецело поглощены культом точного цвета, живой линии. Они поклонялись молчаливым богам храма-музея, парившего над городом. Когда они впервые увидели друг друга обнаженными, у обоих было такое чувство, точно каждый открыл для себя новое произведение искусства, и в их браке сохранилась эта извращенная остраненность, в которой было больше взаимного восхищения, чем взаимного обладания. Каждый восхищался талантом другого. Руфь, хотя у нее никогда не ладилось с перспективой и было довольно смутное представление о форме, так что даже бутылка и горшочек в ее натюрмортах отличались мягкостью, присущей растениям, обладала редким даром цвета. Ее полотна были удивительно смелыми. Желтый кадмий нахально плясал на ее грушах; небо у нее было ровное, густо-синее и тем не менее воздушное, а тени — цвета, не

имеющего названия, просто тени, обретшие жизнь, пройдя через мозг. Тем не менее правда жизни проглядывала из хаоса ее твердых, четких мазков, созданного без особых стараний, но и не по небрежности. Этот ее дар показался Джерри удивительным, потому что его собственный талант был иным. Его отличала четкость линий, тщательность вырисовки. Каждый предмет, за изображение которого он брался, выглядел у него как бы пробужденным к жизни призраком, где изгибы линий и тщательно “проработанная” деталь заменяли безмятежную плотность материи. Хотя он много работал над цветом, пытаясь, перенять у Руфи присущую ей от природы экспрессию, его картины, несмотря на всю энергичность письма, рядом с ее полотнами неизбежно оказывались либо по ту, либо по другую сторону тонкой черты, отделяющей яркие тона от грязных. В последний год обучения в художественной школе их мольберты всегда стояли рядом. И тот, кто смотрел на их работы тогда, вполне мог прийти к выводу, — как приходили сами они, — что вдвоем они обладают всем, что нужно художнику.

Свои жизни они соединили, быть может, слишком бездумно, слишком уж положившись на эстетику. Но вот художественная школа осталась позади, и Джерри стал не очень преуспевающим художником-карикуристом, потом весьма преуспевающим мультипликатором в телевизионной рекламе, а Руфь — женой и матерью, слишком занятой хозяйством, чтобы достать ящик с красками и взять в руки палитру, и тут появились тени и начали сгущаться, подчеркивая различия, которые они проглядели, сидя рядом у мольбертов при идеальном верхнем освещении. Болезненным для них оказался вопрос о крещении детей. Первого ребенка — Джоанну — крестил отец Руфи в их первой квартире на Двенадцатой улице в Западной части города. Джерри шокировала эта церемония, показавшаяся ему пародией на святое таинство: его тесть, человек с остро развитым чувством гражданского долга, посвящавший немало времени деятельности в советах по межрасовым проблемам в Поукипси, отпускал шуточки по поводу “святой воды”, которую брал из-под кухонного крана. В результате следующего младенца — мальчика — крестили по-лютерански в аскетически голой деревенской церкви, где пахло яблоневым цветом и обветшалым бархатом, — в той самой церкви, где много лет тому назад принял конфирмацию Джерри. Таким образом, счет был уравнен, и третий младенец целых два года висел над разверстой пастью ада, пока его родители упорно сражались — каждый во имя своей церкви. Руфь была поражена накалом их страстей: для нее религия давно перестала иметь значение. Девочкой она, по заведенному обычаю, ходила в церковь, теперь же, стоило ей оказаться в церкви, на нее нападала какая-то слабость, растерянность, чувство вины. В конце первого стиха псалма голос у нее начинал дрожать, а к третьему стиху она уже еле сдерживала слезы, в то время как орган гремел в ее ушах раскатами, словно напыщенный, уязвленный отец. Джерри же, потерпев фиаско в своем честолюбивом стремлении стать карикатуристом “с именем”, после их переезда в Гринвуд погрузился в дела житейские, мелочные, семейные и вдруг стал бояться смерти. Избавление несла только религия. Он стал читать труды по богословию — Барта, Марселя и Бердяева; научил детей молиться на ночь. Каждое воскресенье он отвозил Джоанну и Чарли в воскресную школу при ближайшей индипендентской церкви, сам же просиживал всю службу и возвращался домой наэлектризованный, как боевой петух. Он ненавидел бесцветную веру Руфи, отступавшую и испарявшуюся под влиянием его ненависти. А Руфь верила в существование добра, ясных истин и совершенства, которые витают в воздухе, как пыльца с почек вяза, что рос у окон их спальни. Что же до остального, то не надо никого намеренно обижать: люди должны радоваться каждому новому дню. Вот и все. Разве этого недостаточно? Однажды ночью, проснувшись и услышав, как Джерри возмущается тем, что его ждет смерть, Руфь сказала: “Прах — во прах!” note 9 и, повернувшись на бок”, снова заснула. Джерри так никогда ей этого и не простил. А она страдала, что не может избавить его от страха, который овладевал им, когда он, лежа в постели, пустыми глазами смотрел в потолок или когда без усталости вышагивал по ночному дому, точно все тело его ныло от боли, и вел борьбу за каждый вздох, —

страдала, что не может вобрать в себя его страх, как вбирала его семя. Джерри мучило сознание, что третий ребенок не крещен: он видел в этом как бы знамение вымирания своего рода. Руфь пожалела его и сдалась. Джоффри крестили на руках у отца, а она стояла рядом в чужой шляпе, клянясь, что никогда больше не переступит порога церкви, стараясь не плакать.

На другой фотографии. — черно-белой, снятой несколькими годами раньше, в 58-м или 59-м году, — изображен Джерри: впалая грудь его блестит словно металлическая в гаснущем свете дня, он стоит по пояс в воде, балансируя на голове сверкающим под солнцем котелком. Он несет мидии к лодке, где сидит Салли Матиас, — она и щелкнула его. Руфь поразило тогда, что эта женщина умеет фотографировать. Обе семьи лишь недавно перебрались в Гринвуд, в каждой — маленькие дети, у каждой — свой дом, который они воспринимают как большой игрушечный дом, и вот Матиасы пригласили Конантов половить мидий на их лодке. Была приглашена еще одна пара, но те не поехали. Конанты тоже хотели было уклониться: они настороженно относились к Матиасам, исходя из того немногого, что знали о них. Салли, крупная, светловолосая, дорого одетая Салли, демонстративно на глазах у всех таскала галлоновые бутылки с молоком из супермаркета, чтобы не платить за доставку, которая и стоит-то всего несколько центов, — зато вино они пили ящиками. Матиасы ни в чем не знали меры — в щедрости и в скаредности, в размахе и в непоследовательности. Ричард был крупный, располневший мужчина, с темными жесткими волосами, нуждавшимся в стрижке, низким голосом и напыщенной речью, подчеркивавшей его самовлюбленность; к тому же один глаз у него не видел — после несчастного случая в детстве. Это не было заметно — разве что чуть настороженным, излишне напряженным был наклон его львиной головы. Только при взгляде в упор обнаруживалось, что зрачок у него не черный, а как бы затянутый морозной пленкой. Словно спасаясь от боли, он много пил, много курил, гонял свой “мерседес” и философствовал — тоже много; но чем же он все-таки занимался? У него были деньги, и он совершал поездки ради их приумножения. Его покойный отец владел винным магазином в Кэннонпорте, а теперь у этого магазина появились отделения в торговых центрах городка, который пускал метастазы и сливался с предместьями Нью-Йорка. В противоположность большинству молодых мужчин, поселившихся с семьями в Гринвуде, Ричард и родился в этом районе. Он любил море и еду, которую оно дарит людям. В течение двух лет он посещал Йельский университет, а потом бросил, видимо, решив, что для человека с одним глазом достаточно и половинного курса. Он рано женился; жена у него была яркая, чрезвычайно живая и очень броская. Оба, казалось, безоговорочно решили наслаждаться жизнью; такой безоговорочный гедонизм представлялся богохульным Джерри и вульгарным — Руфи. Однако же этот день на море, которого оба они так старательно пытались избежать, оказался настоящей идиллией. Солнце сияло, вино и беседа лились рекой. Джерри, выросший в глубине материка, брезгливый и боящийся воды, согласился поучиться у Ричарда — набрался храбрости, опустил лицо в воду и принялся руками отдиравать мидии, розовые и живые, от подводных скал. И теперь, гордясь своими достижениями, шел по воде к лодке с котелком, полным мидий.

На лице у Джерри — резкие тени, вид — до смешного свирепый. Вместо глаз — провалы, тени бегут от носа, губы растянуты в улыбке. Тощий раб, озабоченный и жестокий. Над его левым плечом — ноги Ричарда, толстые и волосатые, в мокрых теннисных туфлях, цепляются за выступ мокрой скалы. Расплывшееся пятно между его ногами — очевидно, Грейс-Айленд.

После того момента, запечатленного на фотографии, они подвели лодку к маленькой песчаной бухточке на Грейс-Айленде. Вчетвером они набрали хвороста, разожгли костер и сварили мидии. Ричард прихватил с собой масла, соли, чеснока. Мидий оказалось столько, что пришлось скармливать их друг другу, — получилась игра. С закрытыми глазами Джерри не мог отличить, когда во рту у него были пальцы Руфи, а когда — пальцы Салли. Начали сгущаться сумерки, и они занялись игрой в слова, потом индейской борьбой, потом прикончили вино, разделись и кинулись в воду. Их

обнаженные тела целомудренно белели в шуршащей мокрой темноте. Джерри с удивлением обнаружил, что вода кажется более теплой и менее страшной, если купаться голышом. Когда они снова собрались у огня, Ричард и Джерри были в брюках, натянутых прямо на мокрое тело, а женщины завернулись в полотенца. На плечах Руфи и Салли красноватыми огоньками, отражавшими костер, сверкали капельки воды. Роскошная женщина, подумала Руфь. Но беспечная и пустая. Поправляя полотенце, Салли без всякого стеснения обнажила груди, — и Руфь позавидовала тому, что они такие маленькие. Самой Руфи уже с тринадцати лет казалось, что у нее слишком большая грудь. Ее не оставляла мысль, что ей не хватает мускулов, чтобы носить такую тяжесть; и это впечатление не исчезало: жизнь опережала ее, то и дело предавая в ней женщину, которая еще не готова была раскрыться. По ту сторону костра сидел чужой Джерри, такой счастливый, а рядом — более крупный, более рыхлый мужчина, блаженно пьяный, как, впрочем, и все они. Однако идиллия больше не повторилась. Остаток того лета Матиасы приглашали другие пары на поиски мидий, а зимой супруги расстались — еще один эксцесс, как казалось Конантам, еще одна кричащая экстравагантность — из-за романа, который затеял Ричард в Кэннонпорте. Весной же, когда они помирились и Ричард вернулся в Гринвуд, лодка в результате его таинственных финансовых махинаций оказалась проданной.

Ему нравилось изображать таинственность. Он разъезжал без всякой видимой цели, часто с ночевками, а из его планов обогащения — открыть в городке кафе, издательство, специализирующееся на выпуске восточной эротики, фирму по перебивке автомобильных сидений тканью под гобелен, той, что с некоторых пор идет на модные “ковровые” чемоданы, — ничего путного не выходило. Беседуя с женщинами, он делал вид, будто не понимает простейших вещей, и его зрячий глаз наполнялся слезами из сочувствия незрячему, сочувствия тому печальному, что поведали ему.

Сначала Руфь, заметив это, краснела от стыда, словно он выудил у нее тайну, а потом краснела от злости: злости на себя за то, что она покраснела, и злости на Ричарда — за то, что он такой въедливый дурак. И однако же, дело было не только в этом. Возможно, она действительно выдала тайну — тайну о себе, которую тщательно скрывала от Джерри все эти восемь лет их супружества. Это была тайна, еще не выраженная словами, — вернее, такая, которую Руфь и не стремилась облечь в слова. Ей нравился запах Ричарда — запах табака, риски и старой кожи, который напоминал ей застоявшийся дух в кабинете отца после очередной утомительной субботы, проведенной за написанием проповеди; ей нравился этот озадаченно-покровительственный вид, с каким Ричард стоял нахохлившись или, пошатываясь, бродил среди гостей на вечеринках и всегда — рано или поздно — подходил к ней поболтать. Джерри заметил это — он не нави дел Ричарда. Ричард был одним из немногих, повстречавшихся им за тридцать лет жизни в материалистической Америке, кто открыто заявлял, что он — атеист. Когда Руфь как-то упомянула в разговоре, что Джерри настаивает, чтобы дети ходили в воскресную школу, жесткие брови Ричарда приподнялись, зрячий глаз расширился, и он рассмеялся от удивления.

— Какого черта — зачем?

— Это для него очень важно, — сказала Руфь, как преданная жена, хотя, возможно, такая рефлекторная преданность была, скорее, отсутствием преданности вообще.

С тех пор Ричард не упускал случая “подкусить” Джерри, как он это называл. Однажды на лужайке возле дома Матиасов в разгар летнего дня Ричард вытащил пластмассового Христа — амулет для автомобиля, присланный ему кем-то по почте, и рукой фигурки, поднятой для благословения, принялся чистить себе ногти. “Смотри-ка, Салли, — сказал он, — верно, из Христа получилась хорошая ногтечистка?” Салли, которая, насколько знала Руфь, выросла в католической вере, вырвала фигурку у Ричарда и пробормотала что-то насчет того, что хоть она, в общем-то, ни во что не верит, тем не менее... право же, Ричард... Джерри, несмотря на жаркое солнце, побелел как полотно. Потом он не раз вспоминал этот случай: какой садист этот мерзавец Матиас, разве можно так относиться

к жене!

На самом же деле Ричард относился к Салли даже слишком хорошо. Когда из угла полной гвалта комнаты или с лужайки перед домом во время чая на свежем воздухе слышался ее пронзительный голос, его передергивало, но он крепко сжимал губы: сделка заключена, и это цена, которую он платит за яркую броскость своей супруги. Он был хороший семьянин, чем не мог похвалиться Джерри. Как бы поздно он ни засиделся накануне за бутылкой вина, утром он вставал очень рано и часто готовил завтрак жене и детям, а Джерри поднимался лишь после того, как дети были накормлены и выпровожены из дома, а до его поезда в 8.17 оставались считанные минуты. И хотя Джерри высмеивал Ричарда за то, что у него нет призвания, однако кое-что Ричард умел делать: мастерила книжные полки, полировал мебель, выращивал помидоры, салат и тыкву, собирал мидии. Он помог Салли сделать из их старого фермерского дома в колониальном стиле — полированный модерн: десятки усовершенствований в доме были произведены им. Он часто — к вящей зависти Руфи — по целым дням сидел дома, что давало возможность Салли заниматься домашней работой, имея под рукой интересного собеседника. Хотя здоровый глаз у него быстро уставал, читал он много, причем читал книги, какие читают женщины: романы, биографии, труды по психологии. Он относился к воспитанию детей как к серьезной проблеме, а Джерри никакой проблемы тут не видел: он-де — изначальный оригинал, Господь Бог снял с него копии в виде детей, которые со временем, в свою очередь, будут размножены. Джерри любил процесс воспроизводства и его орудия — фотоаппараты, печатные станки, — но ведь Руфь же все-таки не машина! А одноглазый Ричард умудрился увидеть ее насквозь, разглядеть в ней тайну, которую не видел никто после Марты, толстой негрятки, готовившей и прибиравшей у них в доме в ту пору, когда они жили у отца Руфи — приходского священника в Буффало. Во времена царствования Марты кухня стала для Руфи прибежищем, хранилищем всего того, в чем она беззвучным шепотом признавалась лишь самой себе. “Руфи, — со вздохом говорила Марта, — ты девочка-кудесница, но жизнь тебя проведет. Не боишься ты того, чего надо”. И чем жестче был приговор Марты, тем сильнее чувствовала Руфь ее любовь. Вот и Ричард тоже увидел ее насквозь и понял ее обреченность. И она увидела его насквозь, увидела правду: как тяжело ему с Салли, как она заставляет его платить за то, что так хороша; бесстрастным взглядом художника Руфь наблюдала, как он строит из себя клоуна, и пьет, и дурачится, и видела, что могла бы сделать его жизнь более легкой, а сейчас ее легкой назвать было нельзя, хотя Матиасы одинаково любили вечеринки и все, что могут дать деньги, и оба отличались известной незрелостью, заметной и в детях, когда те. обращали к родителям свои чистые, похожие на пустые блюдца личики. И однако же, Ричард болтал с Руфью о Пьяже note 10, и о Споке note 11, и об Анне Фрейд note 12, и об Айрис Мердок note 13, и о Джулии Чайлд note 14, и о мебели, и о кулинарных рецептах, и моде. Он всегда замечал, как она одета; иногда отпускал комплимент, иногда — оскорблял. Он осудил ее, когда она обрезала волосы, а Джерри настаивал на этом; он даже хотел, чтоб она подстриглась совсем коротко: “красиво, когда череп обрисован”.

Зачем ему понадобилось обрисовывать ее череп? Танцуя с нею как-то на вечеринке, Ричард погладил ее — именно погладил, а не пошлепал — сзади и сказал, что, по его мнению, у нее самый сексуальный в городке зад. “Он разговаривает со мной, как женщина с женщиной”, — пояснила Руфь, когда Джерри посетовал, что на вечеринках она слишком много времени проводит с Ричардом; произнося эти слова, она сознавала, что за все свое замужество впервые намеренно лжет. На другой вечеринке Ричард предложил ей позавтракать вместе и даже назвал ресторан — китайский ресторан по дороге на Кэннонпорт. Она поблагодарила и отказалась. Потом она долго раздумывала, правильно ли поступила, поблагодарив его. Ведь если ты за что-то признательна, значит, уже наполовину согласна принять. А когда она сказала ему (зачем?), что в отчаянии от “религиозного кризиса”, переживаемого Джерри, Ричард снова предложил встретиться, чтобы как следует это обсудить. “Он чертовски нервный, а я читал кое-какие книги на этот счет”. Она сожалеет, но лучше не надо. Он не стал настаивать, и ей это понравилось. Его

предложения были как плоская шутка: чем чаще ее повторять, тем смешнее она становится; теперь на вечеринках Руфь уже ждала той минуты, когда Ричард, поджав от волнения тонкие, почти не существующие губы и чуть склонив набок голову, точно окривевший бог, подойдет и задаст ей свой избитый вопрос.

Но дома, в часы, когда она оказывалась наедине с собой, она вдруг просыпалась среди ночи с сознанием жуткого одиночества, и словно в ответ на крик о помощи злым духом на нее наваливался Ричард. Она чувствовала, как он неловко, на ощупь ищет дорогу к тайне, которая жаждет быть открытой. Неприятный иней, застилавший его глаз там, где у других людей черная точка вбирает в себя свет, вызывал у нее оцепенение, и, как защитная реакция, вспыхивала дикая, неистовая любовь к Джерри. Она обхватывала его недвижимое тело, а он — шевельнется, перекатится на другой бок и снова заснет. Сон у них был разный: Джерри страдал бессонницей, засыпал поздно и спал глубоко и долго; Руфь засыпала без труда и просыпалась очень рано.

Если в унитарной церкви и есть высшая заповедь, то она гласит: “Смотри на вещи реально”. “Выясняли всякие вещи”, — любил говорить ее отец, возвращаясь глубоко за полночь домой после очередной вселенской межрасовой схватки в Поукипси. Однажды пустым зимним днем, когда двое старших детей были в школе, а Джоффри спал и жизнь в доме шла, как часы, своим заведенным порядком: горела плита, высыхал дощатый пол, а улица сверкала от снега, — на крыльце возник Ричард. Увидев из окон гостиной его старый рыжевато-коричневый “мерседес”, Руфь пошла открывать, уже зная, кто это. Дверь заело, и Руфи пришлось подергать ее, чтобы открыть, — оба немного растерялись, когда она, наконец, распахнулась. Он стоял в проеме двери, точно в раме, — дождевик и клетчатая рубашка, раскрытая у ворота, — этакий огромный скорбный призрак. В качестве предлога он принес книгу, о которой они говорили, — новый роман Мердок. Он и использовал ее лишь как предлог, вручив мимоходом: инстинкт подсказывал, что предлоги едва ли понадобятся в дальнейшем.

Зима уступила место весне, и Руфь привыкла к нему. Ничего не видя поверх его тяжелых, поросших мягкими черными волосками плеч, Руфь деловито отвечала на осторожные, настойчивые ласки Ричарда. Все у них происходило по-деловому, под контролем разума, к взаимному удовлетворению; с этим чужим человеком у нее всегда хватало времени — времени пройти весь путь до конца и упасть вниз с обрыва, упасть и снова прийти к изначальной точке, прочно чувствуя спиной землю. Землей была их постель — ее и Джерри. Яркий свет дня разливался вокруг нее. Джоффри спал на другом конце второго этажа. Не без любопытства Руфь дотронулась до маленькой дуги малиновых пятнышек на плече Ричарда — следы зубов, оставленные словно бы кем-то другим.

— Извини, — сказала она.

— Столь сладостная боль, как принято говорить.

У него был на все ответ. Не желая подвергать себя испытанию, она, чтобы не смотреть ему в глаза, стала изучать его губы. Нижняя губа как-то жалобно, по стариковски отвисла, и сейчас, после любви, обе губы были смочены слюной.

— Это так на меня непохоже, — сказала она. Почти не разжимая губ, он произнес:

— Это — часть игры. Любовницы кусаются. Жены — никогда.

— Не смей. — Она чуть сдвинулась, чтобы не так чувствовать тяжесть его тела. — Не зубоскаль

Его дыхание, отдававшее перегаром виски, — хотя он вошел через кухонную дверь в полдень и они сразу легли в постель, — было все еще неровным, прерывистым.

— Ни черта я не зубоскалю, — сказал он. — Я просто пьян. И выжат как лимон.

Опустив глаза, она увидела линию слияния их тел, свои груди, прижатые к его волосатой груди, отчего он всегда казался ей неуклюжим мохнатым медведем. По сравнению с ним Джерри был гладкий, как змея.

Словно провидя ее мысли, Ричард спросил:

— Я тебе кажусь чокнутым?

— Я и сама себе кажусь такой.

— Почему ты меня впустила, Руфи-детка?

— Потому что ты попросил.

— А никто раньше не просил?

— Во всяком случае, я этого не замечала.

Ричард глубоко вобрал в себя воздух, рывком оторвался от ее груди; она с грустью почувствовала, как он уходит из ее жизни, отступает в перспективу.

— Просто не понимаю, — сказал он, — почему вы с Джерри не работаете в постели. Очень ты лихо все умеешь.

Она сжала его коленями и принялась качать — туда, сюда, чуть нетерпеливо, точно ребенка, который не желает засыпать. Зря он упомянул про Джерри: это грозит все испортить. Дом затрясся, и через мгновение, взрывая звуковой барьер, над ними, в безграничной синеве за окном, пронесся реактивный самолет. На другом конце дома захныкал в своей кровати Джоффри. Ричарду пора уходить, но пока он здесь, надо его использовать. Надо учиться.

— Так принято говорить? — спросила она. — “Лихо умеешь”? — В ее устах это прозвучало до того странно, что Руфь покраснела, хотя и лежала совсем голая.

Ричард посмотрел на нее сверху вниз; своей пухлой, казалось, бескостной рукой он провел по ее волосам, зрячий глаз его словно впивал ее лицо, на котором читался испуг. Она заставила себя посмотреть ему в глаза — уж это-то она может для него сделать.

— Никто, значит, никогда не говорил тебе, — сказал он, поглаживая ее, — какая ты пикантная штучка.

Таким уж он сам себе виделся: учитель, учитель житейской мудрости, В ту весну и лето 1961 года они встречались в основном чтоб поболтать, а не затем, чтобы лечь в постель. Зная, с каким презрением Джерри относится к Ричарду и как гордится самим собой, Руфь понимала, что изменяет мужу не тогда, когда отдается другому, ибо ей решать, кому дарить свое тело, а когда рассказывает о тайном страхе, который снедает Джерри и которым он делится только с ней.

— Он говорит, что видит всюду смерть — в газетах, в траве. Он смотрит на детей и говорит, что они высасывают из него жизнь. Говорит, что их слишком много.

— А он когда-нибудь ходил к психиатру? — Ричард зацепил палочками кусочек водяного ореха и отправил в рот. Они сидели в китайском ресторане ярким июльским днем. Занавески на окнах были задернуты, отчего казалось, что за окном не полдень, а янтарный вечер.

— Он презирает психиатрию. Из себя выходит, стоит мне намекнуть, что у него со здоровьем не все в порядке. Когда я говорю, что не боюсь смерти, он называет меня духовно неполноценной. Говорит, я не боюсь, потому что лишена воображения. Под этим он, видимо, подразумевает, что у меня нет души.

Ричард, потягивая martini — третий по счету, — почесал костяшкой пальца нос.

— Вот уж никогда не думал, что этот малый до такой степени псих. Я бы попросту списал его как депрессивного маньяка, если бы не эти мысли о смерти, — тут уж пахнет психопатией. А на его работе это не отражается?

— Он говорит, что по-прежнему в состоянии работать, хотя у него уходит на это в два раза больше времени, чем раньше. Он ведь сейчас, главным образом, ходит по совещаниям даставляет идеи, а осуществляют их другие. Он уже не рисует дома, а мне жаль. Даже в ту пору, когда все его работы возвращали нам по почте, приятно было видеть его за делом. Он всегда рисовал под радио — говорил, это помогает ему наносить краску.

— Но Эла Каппа note 15 из него все-таки не вышло.

— Он никогда к этому и не стремился.

— Мне нравится твоя лояльность, — сказал Ричард: в тоне его звучала непоколебимая самовлюбленность — черта, характерная для обоих Матиасов.

У Руфи перехватило дыхание, и она уставилась в тарелку: она ведь была так далека от мысли, что совершает страшную ошибку.

— Лояльности тут маловато, — сказала она. — У меня сейчас такое чувство, будто мы с тобой проникли в его мозг и сделали его еще хуже. Он говорит — я отсутствую.

— Где отсутствуешь?

— Меня нет. Нигде. Нет с ним. Ну, ты понимаешь.

— То есть ты чувствуешь себя теперь моей, а не его?

Ей не хотелось показывать Ричарду, сколь неприятна ей эта мысль, да и сама терминология. Она сказала:

— Я не уверена, что я вообще чья-либо. Возможно, в этом моя беда.

Крупинка риса прилипла к его нижней губе, точно окуроч.

— Попытайся объяснить, — сказал он, — что это за ерунда насчет твоего отсутствия. Ты хочешь сказать — в постели?

— Я стала лучше в постели. Благодаря тебе. Но, похоже, это не имеет для него значения. Прошлой ночью, после всего, он разбудил меня около трех и спросил, почему я его не люблю. Оказалось, он бродил по дому, читал Библию и смотрел всякие страсти по телевидению. У него бывают такие приступы, когда ему трудно дышать лежа. У тебя рисинка на губе.

Он смахнул ее нарочито подчеркнутым жестом, показавшимся Руфи комичным.

— И давно у него эти неприятности с дыханием? — спросил он.

— Это появилось еще до того, как у нас с тобой началось. Но лучше ему не стало. Я почему-то думала, что станет. Не спрашивай — почему.

— Так. Значит, я спал с тобой, чтобы избавить Джерри от астмы. — Саркастический смех у Ричарда звучал не очень убедительно.

— Не передергивай, пожалуйста.

— Я и не передергиваю. Ведь совершенно ясно, на что ты намекаешь. Ты намекаешь, что я для тебя — эдакий козел отпущения. Не извиняйся. Все эти годы я был козлом отпущения для Салли. Что ж, теперь могу сыграть эту роль и для тебя.

Он молил ее сказать, что она его любит. А она не могла заставить себя произнести эти слова. Она всегда знала, что у них с Ричардом нет будущего, но только сейчас поняла, сколь кратковременно их настоящее. Его голова в янтарном свете казалась огромной — неестественная, непропорциональная голова, надетая поверх настоящей, из которой глухо, словно из бочки, вылетали слова.

— Надоело мне все, — сказала вдруг она. — Не создана я для романов. Все лето у меня были нелады с желудком, и я чувствую себя ужасно подавленной после наших встреч. А он мою ложь даже и не слушает. Я все думаю: если бы он знал, развелся бы он со мной? Ричард резко, со стуком опустил палочки на пустую тарелку.

— Никогда, — сказал он. — Он никогда не разведется с тобой — ты ведь для него как мать. А человек, черт возьми, не разводится со своей матерью. — В его словах была такая безнадежность, что ей захотелось плакать; должно быть, он почувствовал это, ибо голос его зазвучал мягче.

— Как жратва — понравилась? Похоже, чоу-мейн был консервированный.

— Мне все показалось вкусным, — решительно заявила Руфь.

Он накрыл ее руку ладонью. Ее поразила схожесть их рук: его рука была слишком для него маленькая, а у нее — слишком для нее большая.

— Ты очень выносливая, — сказал он. Это прозвучало и как комплимент, и как прощание. Окончательно она порвала с ним в сентябре, Джерри напугал ее, услышав часть их телефонного разговора. Она думала, что он подметает задний двор. А он неожиданно появился из кухни и спросил:

— Это кто, звонил? Ее охватила паника.

— Да так, ерунда. Одна женщина из воскресной школы спрашивала, собираемся ли мы записывать Джоанну и Чарли.

— Слишком они там стали деятельны и назойливы. Что ты сказала?

— Я сказала — конечно, собираемся.

— Но я слышал, ты сказала — нет.

А Ричард спрашивал, не согласится ли она пообедать с ним на будущей неделе.

— Она спросила, собираемся ли мы водить и Джоффри.

— Конечно, нет, — сказал Джерри, — ему ведь еще нет и трех. — И, сев за стол, принялся листать субботнюю газету. Он всегда открывал ее на странице с комиксами, словно

надеясь найти там себя. — Почему-то, — сказал он, не глядя на нее, — я тебе не верю.

— Но почему же? Что ты такое услышал?

— Ничего. Все дело в твоей интонации.

— Вот как? А какая же у меня была интонация? — Ей хотелось хихикнуть.

Он смотрел куда-то в пространство, словно решал некую эстетическую проблему. Он выглядел усталым, юным и тощим. Волосы у него были слишком коротко пострижены.

— Не такая, как всегда, — сказал он. — Более теплая. Это был голос женщины.

— Но ведь я и есть женщина.

— Когда ты говоришь со мной, — сказал он, — голос у тебя совсем девчоночий.

Она хмыкнула и стала ждать следующего, более сильного удара. А он снова углубился в изучение страницы с комиксами. Ей захотелось обнять этого слепца.

— Такой ясный, холодный, девственный, — добавил он. У нее исчезло желание его обнимать.

Как-то на следующей неделе она поехала за покупками в маленький торговый центр Гринвуда. Во всех витринах была выставлена одежда для школьников, а у Грестеда пахло яблоками. Воздух над телефонными проводами, казалось, выстирала и заново повесили. Полисмены снова надели форму с длинными рукавами. Над входом в магазин мелочей сняли полотняный навес. Направляясь к своему “фолкону” с двумя бумажными пакетами, полными продуктов, она увидела возле парикмахерской “мерседес” Ричарда. Она замедлила шаг, проходя мимо открытой двери, из которой запах бриллиантина выплескивался на панель, и увидела его — широкий, грузный, в своей обычной клетчатой рубашке, он сидел, ожидая очереди. Сердце ее устремилось к нему — ей не хотелось, чтобы он стригся. Ричард увидел ее, выбросил сигарету и, поднявшись с кресла, вышел на улицу.

— Не хочешь чуть-чуть прокатиться?

Это “чуть-чуть” прозвучало для нее укором. Она ведь избегала его. Он стоял, моргая на ярком солнце, незащищенный, неуверенный в следующем шаге, — неприкаянный призрак, оставшийся от развеявшегося сна. Как странно, подумала Руфь, что можно спать с человеком и видеть в нем лишь постороннего человека — не больше. Она пожалела Ричарда и, согласившись прокатиться, поставила на переднее сиденье пакеты с покупками — громоздкие и шуршащие, словно старухи-компаньонки. В его машине знакомо пахло немецкой кожей, американскими конфетами, пролитым вином... Ричард выбрался из центра и повел машину мимо типичных коннектикутских домиков, глубоко и плотно упрятанных в одеяла зелени, — к городской окраине, где вдали от воды еще сохранился заповедный редкий лес.

— Я скучаю по тебе, — сказал он. Руфь почувствовала, что не может не сказать: “Я тоже по тебе скучаю”.

— Тогда что же происходит? Вернее, почему ничего не происходит? Разве я сделал что-то не так?

Руфи бросилось в глаза, пока они, подпрыгивая на выбоинах давно не отремонтированной дороги, ехали к пруду, где зимой детишки катаются на коньках, — что иные деревья, высохшие, умирающие, уже начали терять листву.

— Ничего, — ответила она. — Ничего преднамеренного в моем поведении нет — просто дел прибавилось, кончилось лето. Все зверье возвращается в свои берлоги.

Желтые пятна мелькали за косматым черным облаком его волос.

— Знаешь, — сказал Ричард, — я ведь могу осложнить тебе жизнь.

— Каким образом?

— Сказать все Джерри.

— Зачем тебе это?

— Я хочу тебя.

— Не думаю, чтобы таким путем ты меня получил.

— Я ведь знаю тебя, Руфи-детка. Я так хорошо тебя знаю, что могу сделать тебе больно.

— Но не сделаешь. И вообще не пора ли тебе подыскать другую даму сердца?

Он рассказывал ей о романе, ускорившем его охлаждение к Салли; да и о других романах

тоже. Руфь чувствовала себя тогда оскорбленной, хоть и промолчала: эти женщины показались ей такими вульгарными, да и Ричард говорил о них с нескрываемым презрением.

Он свернул на проселочную дорогу — две колеи в траве, — что вела к пруду. Дальше путь преграждала цепь; Ричард остановил машину. Между ними на переднем сиденье стояли пакеты с продуктами. На той стороне пруда одинокий рыбак общался со своим отражением. Было утро; дети, собиравшиеся здесь в течение всего лета, сейчас сидели в школе; она оставила Джоффри на попечении маляра, сдиравшего обои в гостиной, и обещала вернуться через полчаса. Все это промелькнуло в ее мозгу, пока она ждала, что предпримет Ричард. Он спросил ее:

— У тебя кто-то есть?

— Кроме Джерри? Другой роман? Не будь мерзким. Если бы ты хоть немного знал меня, ты бы даже не спрашивал.

— Возможно, я тебя и не знаю. Борись за то, чтобы узнал.

Раз он считает ее борцом, что ж, она будет бороться.

— Ричард, — сказала она, — я должна просить тебя не звонить мне больше домой. Джерри слышал часть нашего последнего разговора и потом такое нес, что мне стало страшно. На его лице, повернутом к ней зрячим глазом, отразилось смятение: Руфь сама удивилась, какое это ей доставило удовольствие.

— Что именно?

— Ничего определенного. О тебе — ничего. Но, мне кажется, он знает.

— Повтори в точности, что он сказал.

— Нет. Это не имеет значения. Тебя, в общем-то, не касается, что он сказал. — Это перестало его касаться всего лишь секунду назад, когда он пришел в такое волнение при одной мысли, что Джерри знает. Если бы он любил ее, он бы только обрадовался, ему бы не терпелось в открытую вступить за нее в борьбу.

Ричард на ощупь вытянул сигарету из пачки в нагрудном кармашке.

— Ну что ж. — Он сунул слегка помятую сигарету в рот, поднес к ней спичку и выдохнул вверх, к крыше машины, широкую струю дыма. Нижняя губа его вытянулась, точно сток трубы. Он был пуст. Она поняла, что он мучительно ищет слова, которые не поставили бы его в ложное положение.

— Хочешь поблагодарить меня, — спросил он, наконец, — за очень приятную поездку?

— Ты не думаешь, что так будет лучше?

Далекий рыбак взмахнул удочкой, и птицы на деревьях обрушили на них град комментариев. Пакеты с продуктами у ее локтя зашуршали — там таяло мороженое и отпотевали банки с охлажденным апельсиновым соком. Романы, поняла Руфь, как и все вообще, слишком много требуют. Всем нам приходится платить фантастическую цену за то лишь, что мы существуем. Она задумалась — внезапно в уголке ее глаза возник Ричард, и она вся сжалась, боясь, что он сейчас ударит ее. Он зло, с наигранной решительностью, потушил сигарету, ткнув ею в пепельницу на приборном щитке.

— Пошли, Руфь-детка, — со вздохом сказал он. — Мы же с тобой на себя не похожи. Давай погуляем. И не смотри на меня так — я тебя не удавлю. — А он наделен способностью ясновидящего: эта мысль у нее мелькнула.

Потом она будет вспоминать, как они шли вниз по затененной дорожке, над которой в пятнах солнечного света тучами толкалась мошара. Укрытые ветвями болотных кленов от глаз рыболова, они поцеловались. Ногам ее стало холодно: теннисные туфли ее отсырели, набравшись влаги из травы. Он возвышался над нею, словно диковинное теплое дерево, которое она обхватила руками, играя в прятки. Здесь, на природе, под прохладным небом, уже не казалось странным, что ее целуют, — это было так же естественно, как то, что мать мыла ей голову над кухонной раковиной с длинным медным краном или что продавец у Гристеда, где она была полчаса тому назад, дал ей сдачу. Руки Ричарда, вопреки обыкновению, как-то уныло лежали в изгибе ее спины, а не ниже.

— Пожалуйста, прости меня, — сказала она.

— И мы никогда больше не будем спать вместе? Завязано?

Она не выдержала и рассмеялась — уж очень смешно он это сказал, — потом взмолилась:

— Отпусти меня. Я даже похудела.

Словно для проверки он сжал ее талию.

— Кое-что еще осталось.

Они, наверное, еще о чем-то говорили, но в памяти Руфи все заслонили вибрирующие волны мошкары, ощущение мокроты и холода в ногах, образ рыболова, как бы осуществлявшего контроль над их расставанием с дальнего берега, где удочка и ее отражение в воде образовали своеобразную арку. Хотя порой по утрам, когда особых дел не было, ей и хотелось, чтобы зазвонил телефон, она все же была благодарна Ричарду за то, что он внял ей и в то же время по-прежнему подходил к ней на вечеринках, словно ожидая, что она, по старой памяти, поделится с ним некоей тайной. В общем-то, она не жалела, что в ее жизни был этот роман, и, застегивая молнии на зимних комбинезонах детей или ставя жаркое в духовку, не без удовольствия думала об этом приключении, сокрытом в прошлом. Ей казалось, что во всех отношениях она стала лучше и значительнее — почти такой, как надо: она не побоялась опасности и вынесла из пережитого умудренность опыта, сделалась женщиной более совершенной, терпимой. Было у нее все — и приятели в юности, и муж, и любовник; теперь вроде бы можно и успокоиться.

Она не намеревалась вечно скрывать это от Джерри. Оглядываясь назад, она все больше убеждалась в том, что пошла на этот шаг не столько ради себя, сколько ради него, и то, что она отдалась другому мужчине, стало казаться ей своеобразной жертвой — жертвой, никем не замеченной. Пока роман был в разгаре, она не раз представляла себе, что будет, когда Джерри узнает: удар грома, оглушительный грохот, изобличающий яркий свет, всеочищающее разрушение. Но брак их выстоял, тупо и прочно, словно заброшенный храм, в который никто не ходит, и когда она вернулась в его лоно, — сознание вины давило на нее, и она принялась надраивать полы, перебила диван синей парусиной, накупила специй для кухни, изучала тетрадки детей, словно каждая была частью Священного писания, — Джерри, по всей видимости, даже и не заметил, что она какое-то время отсутствовала. Мысли о Ричарде, воспоминание о физической близости с ним, физически острое предвкушение встречи какое-то время наполняли все ее существо; трепещущая, переполненная чувствами, открытая, стояла она перед зеркалом их брака — и не видела ничего, кроме пустоты. Знакомое ощущение. Ее отец был всецело занят любовью к ближнему, а мать — любовью к отцу, и Руфь выросла, считая, что ею пренебрегают. Она принадлежала к унитариям, и означало это лишь то, что душа у нее хоть и в крошечной степени, но все же существовала.

Незаметное возвращение Руфи к статусу верной жены произошло в мире, где все меняется. Чарли поступил в первый класс Гринвудской начальной школы; Джоанна, уверенная в себе девчушка с высоким лбом, пошла в третий класс. Эту юную особу превращение в женщину наверняка не смутит: вся страсть ее родителей той поры, когда оба учились в художественной школе, материализовалась в ней, их первом творении во плоти и крови. Постепенно Руфь набрала прежний вес, потерянный летом из-за неприятностей на нервной почве с желудком. Зима словно бинтом стянула пламенеющую осень. В тот год — первый год президентства Кеннеди — реки и озера замерзли рано и превратились в чудесные черные зеркала катков. Катаясь на коньках, Руфь летела и в полете обретала свободу. Она водила машину слишком быстро, пила слишком много и убегала на коньках вверх по реке, оставляя далеко позади Джерри и детей, — скользила стремительными, широкими рывками меж застывших стеною по берегам стройных серебряных деревьев. Желание летать появилось у нее после фиаско, которое она потерпела с Ричардом, — а это было фиаско, ибо если роман не закончился браком, то это фиаско.

И у Джерри вспышка религиозности постепенно сошла на нет. К весне полка с богословскими книгами уже утратила для него интерес — только листочки бумаги в каждом томике отмечали, сколько он прочел. Страх оставил после себя след —

разухабистость. Джерри безудержно увлекся твистом, и на вечеринках, глядя, как он извивается в экстазе, взмокший от пота, Руфь словно видела перед собой таинственно возникшего сына, которым она могла лишь с опаской гордиться, — такой в нем чувствовался переизбыток энергии. Джерри бросил курить и принялся скупать модные пластинки, которые крутил до тех пор, пока не начинал подпевать в унисон: “Рожденный для утрат, я прожил жизнь напрасно...” Это выглядело бы нелепо и жалко — как-никак мужику тридцать лет, — если бы он не казался таким одурело счастливым. К нему вернулась легкая, беззаботная импульсивность — качество, запомнившееся Руфи со времени его ухаживания; зато Руфь вспомнить не могла, когда в последний раз считала его красивым, а теперь, стоило ему повернуться к ней лицом, ее пронзала мысль, что он — интересный мужчина. На щеках у него появился румянец, зеленые глаза смотрели лукаво. Его апатия и страх вызывали в ней чувство беспомощности и вины, и сейчас она радовалась его возрождению к жизни, хотя оно и несло с собой что-то для нее враждебное, непредсказуемое. Как-то вечером, вешая его брюки в шкаф, пока он играл во дворе с детьми в пятнашки, она с удивлением услышала легкое, чуть ли не музыкальное шуршание песка на полу. Он высыпался из-под манжет на брюках. О, да, пояснил Джерри после ужина, он останавливался на пляже — нет, не на гринвудском, а на другом, с индейским названием, тут как-то на днях, когда было тепло — заехал по пути со станции: так получилось, что он попал на более ранний поезд. Почему? Да потому, что был чудесный майский день — разве нужна другая причина? Она что — жена или тюремный надзиратель? Ему захотелось подышать соленым воздухом — вот он и погулял у воды, посидел немного среди дюн, там почти никого не было, лишь маленькая яхточка плавала в Саунде. Очень было красиво.

— Дети наверняка с удовольствием поехали бы с тобой.

— Ты свободна весь день — взяла бы да и свозила их.

Он смотрел на нее очень смело, и глаза у него были зеленые-зеленые, а вид задиристый из-за крошечной ссадины на переносице, и она вдруг поняла, почему он так нагло держится: он знает. Он узнал. Откуда? Должно быть, Ричард проболтался. Неужели все уже знают? Ну и пусть. Главное для нее — Джерри, и если он знает и при этом не мечет громы и молнии, — уже слава Богу. Весь вечер, глядя на детей, на посуду, на лицо Джерри, поочередно возникавшие перед ней, она мысленно обдумывала слова признания, объяснения. Как это объяснить? Самое лучшее сказать, что она пошла на это, чтобы стать совершеннее — как женщина и как жена. Она внимательно следила за тем, чтобы ситуация не вышла из-под ее контроля. И роман почти не оставил на ней следа. Эти признания, как и необходимость их сделать, пугали ее, и она уснула, чтобы избавиться от страха, в то время как Джерри молча листал страницы “Арт ньюс”. Она вновь ничего не увидела в зеркале, кроме пустоты.

За окнами их спальни, у дороги, стоял гигант вяз — один из немногих, оставшихся в Гринвуде. Молодые листики, только что вылезшие из почек, курчавились на нем, еще не успев набрать красок, — этакая пыль, дымка, недостаточно плотная, чтобы укрыть куст ветвей. А ветви были корявые, могучие, вечные — неисчерпаемый источник поддержки и радости для глаз Руфи. Из всего, что находилось в поле ее зрения, этот вяз больше всего убеждал ее в наличии космической благодати. Если бы Руфь попросили описать Бога, она описала бы это дерево. По раскидистым нижним ветвям разгуливали голуби, точно прихожане по собору; в вольном воздухе над дорогой свисали усиками лозы веточки — они сладострастно и жадно пили свет, лениво прочесывая воздух, словно пальцы, опущенные в воду с каноэ. Руфь подумала, что не так уж и страшно умереть. Она лежала под стеганым одеялом и пыталась заснуть.

Энергичные шаги раздались внизу, покружили и направились вверх. Без приглашения Джерри залез к ней под одеяло. Она надеялась — хотя тут же решила, что, наверное, слишком многого хочет, — что он не станет приставать к ней со своей любовью. А он обхватил рукой ее талию и спросил:

— Ты счастлива?

— Не знаю.

— Ты устала?

— Да.

— Давай спать.

— А ты пришел не для того, чтоб приставать ко мне?

— Ни в коем случае. Я пришел, потому что ты последнее время такая грустная.

Колышущиеся очертания дерева, твердые, как камень, и прихотливые, как ветер, казались далекими, словно шепотом произнесенное слово.

— Я не грустная, — сказала она.

Джерри глубже зарылся под одеяло и уткнулся открытым ртом в ее обнаженное плечо. Когда он заговорил, язык его щекотнул ей кожу.

— Скажи, кого ты любишь, — пробормотал он.

— Я люблю тебя, — сказала она, — и всех голубей на этом дереве, и всех собак в городе, кроме тех, что роются в наших мусорных бачках, и всех котов, кроме того, от которого забеременела наша Лулу. И еще люблю спасателей на пляже, и полисменов в городе, кроме того, который отругал меня за то, что я не там развернула машину, и я люблю некоторых из наших ужасных друзей, особенно когда выпью...

— А как ты относишься к Дику Матиасу?

— Мне он безразличен.

— Я знаю. Вот это-то и поражает меня в тебе. Он такой болван. В самом прямом смысле.

Да еще одноглазый. У тебя от этого мурашки не бегут по коже?

Руфь считала, что чувство собственного достоинства — достоинства, обязывающего хранить тайну, — требует, чтобы она ничего не говорила, пусть Джерри скажет сам.

Замкнувшись в отчаянии, она ждала. Он приподнялся на локте — она закрыла глаза и представила себе в его руке нож. От жаркой погоды снова заныли ноги, болевшие с тех пор, как она носила Джоффри. Присутствие Джерри усиливало боль. Она глубоко вздохнула.

Он сказал совсем не то, чего она ждала, хотя, видимо, это и было главным пунктом разговора:

— Ну, а как ты относишься к Салли? Расскажи мне про Салли.

Руфь рассмеялась, словно он неожиданно щекотнул ее.

— Салли?

— Ты ее любишь?

Она снова рассмеялась.

— Конечно, нет.

— Она тебе нравится?

— Не очень.

— Детка, уж что-что, а нравится она тебе должна. Ты же ей нравишься.

— Не думаю, чтобы я так уж ей нравилась. То есть, я хочу сказать, может, я и нравлюсь ей, но только как еще одна местная жительница, которую она может затмить...

— Нисколько она тебя не затмевает. Она не считает этого. Она считает тебя прехорошенькой.

— Не говори глупостей. Я выгляжу ничего только при правильном освещении и когда у меня настроение не слишком поганое. А она, можно сказать, — грандиозная.

— Почему "можно сказать"? Я согласен. Она — экстра-класс, но чего-то в ней не хватает. Чего?

Руфь никак не могла заставить себя сосредоточиться на Салли — образ ее все время расплывался, сливаясь с образом Ричарда. Она вдруг поняла, что за время их романа научилась не думать о его жене, хотя поначалу, когда они только приехали в Гринвуд, ее поразила Салли — эти светлые волосы, свисающие вдоль широкой спины, мужская походка и испуганный взгляд, напряженная улыбка, кривившая уголок рта.

— Мне кажется, — сказала Руфь, — Салли никогда не была очень счастлива. Они с Диком не подходят друг другу — во всех отношениях. Оба любят бывать на людях, но, пожалуй, не дополняют друг друга... — Ей хотелось добавить: "как мы с тобой", но она не решилась и умолкла.

А Джерри уже сел на своего любимого конька.

— Господи Боже мой, да кто же может быть под пару Ричарду? Ведь он чудовище.

— Ничего подобного. И ты это знаешь. Сколько угодно женщин были бы под пару ему. Да любая ленивая, плотоядная бабенка, не слишком алчная...

— Разве Салли — алчная?

— Очень.

— До чего же она алчная?

— До всего. До жизни. Совсем как ты.

— И однако же — не плотоядная?

Руфь вспомнила, что говорил Ричард насчет Салли. Только бы не повторить его слов, отвечая сейчас Джерри.

— У меня такое впечатление, — сказала она, — что ей не хватает тепла, сострадания. Она не подпускает к себе ничего, что могло бы ее расстроить. Ну, а насчет ее плотоядности — откуда мне знать. Во всяком случае, с чего это вдруг такой прилив интереса?

— Ни с чего, — сказал он. — Любовь к своему соседу — и только. — Он притулился к ней, глубже уйдя под одеяло, так что видна была только макушка: Руфь вдруг заметила в его волосах седину. Внезапно, следуя своей излюбленной манере, он замурлыкал: звук, рождавшийся где-то глубоко у него в горле, достиг ее ушей. Это было сигналом — повернуться к нему, если она хочет; она продолжала лежать на спине, хотя он прогнал с нее сон и всю священную магию — с вяза. — А мне кажется, — донесся его голос из-под одеяла, — что у вас с Салли куда больше общего, чем ты думаешь. Ты вот была когда-нибудь очень счастлива?

— Конечно, была. Я почти всегда счастлива — в этом моя беда. Все хотят видеть меня спокойной, довольной, и вот, черт подери, такая я и есть. Даже не знаю, в чем сегодня моя беда.

— Может, решила, что забеременела? — И он тут же вынес обвинительное заключение; — Тогда, значит, встречалась с тем же котом, что и Лулу.

— Я знаю, что нет.

— Тогда что-то другое. Подцепила какую-нибудь гадость.

— Иной раз, — попыталась она направить разговор в другое русло, — мне действительно хочется защитить Салли, у меня даже появляется к ней теплое чувство. Она, конечно, пустенькая и эгоистка, и я знаю, окажись я когда-нибудь на ее пути, она, не задумываясь, переступит через меня, но в то же время во всей этой ее показухе есть какая-то щедрость, она старается что-то дать миру. В горах, на лыжах, когда она надевает эту свою дурацкую шапочку с кисточкой и начинает флиртовать с лыжным инструктором, мне так и хочется обнять ее, прижать к себе — такая она милая дурочка. А когда мы ездили ловить мидий, она была просто прелесть. Но все теплые чувства к ней у меня исчезают, когда вы твистуете. Ты об этом спрашивал?

Он поглаживал ее грудь поверх комбинации, и теперь, после его кошачьего мурлыканья, у нее возникло неприятное чувство, будто он вот-вот ее съест. Она оттолкнула его и, сбросив покрывало с его лица, спросила:

— Так ты об этом спрашивал?

Он уткнулся лицом ей в плечо — большой нос его был таким холодным — и закрыл глаза. Теперь, украв у нее сон, он, видимо, сам решил соснуть. Кожей плеча она почувствовала, как его губы расползаются в улыбке.

— Я люблю тебя, — вздохнул он. — Ты так хорошо все видишь.

Потом она удивлялась, как могла она быть до такой степени слепа — и слепа так долго. Улик было сколько угодно: песок; его необъяснимые появления и исчезновения; то, что он бросил курить; его победоносная, безудержная веселость на вечеринках в присутствии Салли; та свойственная только жене мягкость (в тот момент Руфь словно ужалило, и картина эта надолго осталась в ее памяти), с какою Салли как-то раз взяла Джерри за руку, приглашая танцевать. Одержимость идеей смерти, владевшая Джерри прошлой весной, казалась Руфи настолько неподвластной доводам разума, настолько

непробиваемой, что новые черточки в его поведении она отнесла к той же области таинственного: новая манера говорить и вышагивать; приступы раздражительности с детьми; приступы нежности к ней; бесконечный самоанализ, без которого не обходилась ни одна их беседа; бессонница; ослабление его физических притязаний и какая-то новая холодная властность в постели, так что порой ей казалось, что она снова с Ричардом. Как могла она быть настолько слепой? Сначала она подумала, что от долгого созерцания собственной вины приняла появление нового за следствие прошлого. Она призналась себе тогда, — хотя ни за что не призналась бы в этом Джерри, — что не считала его способным на такое.

Джерри попросил ее о разводе в воскресенье — в воскресенье той недели, когда он после двух дней, проведенных в Вашингтоне, прилетел в каком-то смятенном состоянии одним из последних самолетов. Расписание тогда сбилось, все рейсы были переполнены, и она сидела на аэродроме Ла-Гардиа, встречая самолет за самолетом. Когда, наконец, знакомый силуэт — узкие плечи, коротко остриженная голова — вырисовался на фоне мутных огней летного поля и зашпешил к ней, она немало удивилась той униженной радости, с какой забилось у нее сердце. Будь она собакой, она, наверное, подпрыгнула бы и лизнула его в лицо; будучи же всего лишь женой, она позволила ему поцеловать себя и повела к машине, по дороге слушая рассказ о поездке: Госдепартамент; несколько минут с Вермеером в Национальной галерее; относительно крепкий сон в гостинице; жалкие подарки детям, которые он купил в магазине мелочей; одуряющее ожидание в аэропорту. По мере того как городская сумятица оставалась позади, его говорящий профиль в теплом склепе машины утрачивал в ее глазах ореол чуда, и к тому времени, когда они со скрежетом остановились на дорожке у дома, оба не чувствовали ничего, кроме усталости; они поели куриного супа, выпили немного бурбона и юркнули в холодную постель. Однако потом это его возвращение домой казалось ей сказкой — последним оазисом, когда еще была твердая почва под ногами, перед этим дождливым воскресным днем, с которого началось плавание по морю кошмара, ставшее с тех пор ее естественным состоянием.

В то утро она с детьми отправилась на пляж. Джерри захотел пойти в церковь. Летом служба начиналась в девять тридцать и кончалась в десять тридцать. Руфь считала несправедливым заставлять детей так долго ждать, особенно учитывая капризы того лета: ясная погода по утрам, тучи — уже к полудню. Поэтому они высадили его, принаряженного, возле церкви и поехали дальше.

Тучи появились раньше обычного: сначала — пуховочки, словно струйки дыма из локомотива, отправляющегося в путь вдоль горизонта, а потом настоящие тучи, все более затейливые и темные — замки, континенты, по мере продвижения разраставшиеся ввысь, застилавшие солнце. У мамаш на пляже была игра — подстерегать очередной просвет солнца. Облака плыли на восток, поэтому глаза мамаш были обращены на запад, где разматывался золотой бинт — сначала зажжет крыши коттеджей в Джейкобе-Пойнте, затем в полосу света попадает большая зеленая водонапорная башня, снабжающая коттеджи водой, и загорится, словно спустившийся с Марса космический корабль, металлическое яйцо на ее крыше; потом яркий свет покатится равномерными толчками по прибрежному песку, от чего он станет похож на поле нездешней, клонимой ветром пшеницы, и, наконец, солнце прорежется над головой, жаркое, вырвавшееся на свободу из цепляющихся за него рваных краев облаков, а глубины неба закружатся радугой между прищуренными ресницами мамаш. В это воскресенье просветы в облаках исчезали быстрее обычного, и к половине двенадцатого стало ясно, что вот-вот пойдет дождь. Руфь с детьми отправилась домой. Они обнаружили Джерри в гостиной: он сидел и читал воскресную газету. Он снял пиджак и распустил узел галстука, но из-за того, что волосы его были все еще влажные и прилизанные водой, показался Руфи каким-то странным. Он был рассеян, резок, враждебен; он вел себя так, точно они забрали себе все пляжное время и оставили его ни с чем. Но он часто бывал раздражен после церкви. Руфь вынула из духовки жаркое, и все, кроме Джерри, сели за воскресный обед в купальных костюмах. Это был тот единственный день в неделю, когда Джерри перед

обедом читал молитву. Не успел он начать: “Отче наш”, как Джоффри, которого научили молитвам на сон грядущий, громко произнес: “Милый Боженька...” Джоанна с Чарли захихикали. Джерри, не обращая на них внимания, продолжал быстро читать молитву, а Джоффри, закрыв глазенки, сжав пухлые ручки над тарелкой, тщетно пытался поспеть за ним, но, не выдержав темпа, жалобно прохныкал:

— Не могу я так говорить!

— Аминь, — произнес Джерри и наотмашь ударил Джоффри по макушке. — Заткнись. В начале недели мальчик сломал себе ключицу. Плечики его были оттянуты назад специальным бинтом, и он был особенно чувствителен к боли.

Проглотив слезы, Джоффри возмущился:

— Ты же читал так быстро!

— Глупыш, тебе вовсе не надо было повторять молитву за папой, — пояснила Джоанна.

А Чарли повернулся и, приложив язык к нёбу, весело, с издевкой защелкал:

— Ки-ки-ки.

Вынести сразу столько оскорблений Джоффри был уже не в состоянии: он чуть не задохнулся. Личико его покраснело и сморщилось в плаксивой гримасе.

— Джерри, ты меня удивляешь, — сказала Руфь. — Нехорошо это.

Джерри схватил вилку и швырнул в нее — собственно, не в нее, а поверх ее головы: вилка через дверь вылетела на кухню, Джоанна и Чарли украдкой переглянулись, и оба чуть не фыркнули.

— Черт бы вас всех подрал, — сказал Джерри, — в свинарнике и то, наверно, приятнее читать молитву. Вы же сидите все, как один, голые.

— Ребенок хотел сделать как лучше, — сказала Руфь. — Он же не понимает разницы между благодарственной молитвой и обычной.

— Тогда какого хрена ты его не выучишь? Будь у него приличная мать, хоть наполовину, черт возьми, христианка, он бы знал, что молитву нельзя прерывать. Джоффри, — повернулся к сыну Джерри, — перестань плакать, если хочешь, чтоб ключица перестала болеть.

Потрясенный тем, что отец говорит с ним таким злым тоном, мальчик попытался что-то произнести:

— Я... я... я...

— Я... я... я... — передразнила его Джоанна.

Джоффри завопил точно резаный. Джерри вскочил и кинулся к Джоанне, намереваясь ударить ее. Она метнулась в сторону, перевернув при этом стул. Лицо у нее было такое испуганное, что Джерри рассмеялся. Этот бессердечный смех словно высвободил всех злых духов за столом: Чарли повернулся к Джоффри и, сказав: “Плакса”, ущипнул его за плечо и тем сдвинул ключицу. Руфь обрушилась на сына еще прежде, чем заревел малыш; Чарли закричал: “Я забыл, я забыл!” Потеряв голову от этой неожиданной вспышки злобы, стремясь обезвредить ее в зародыше, Руфь, все еще держа разливательную ложку, сорвалась с места и обежала вокруг стола с такой стремительностью, что ей казалось, она скользит на коньках. Свободной рукой она замахнулась на Джерри. Увидев ее занесенную руку, он спрятал голову в плечи и закрыл лицо ладонями — взгляду ее предстал затылок с гладко прилизанными волосами и пробивающейся кое-где сединой. Затылок у него оказался тверже ее руки; она подвернула большой палец — боль застлала ей глаза. Ничего не видя, она молотила и молотила эту упрямо склоненную башку, не в состоянии одной рукой — потому что другой продолжала сжимать разливательную ложку — добраться до глаз, до его полного яда рта. Когда она замахнулась на него в четвертый раз, он встал и, схватив ее запястье, так сжал, что тонкие косточки хрустнули.

— Ты, истеричная холодная стерва, — ровным тоном произнес он. — Никогда больше не смей ко мне прикасаться. — Он произнес это, отчеканивая каждое слово, и лицо, которое, наконец, смотрело на нее, было хоть и красное, но смертельно-спокойное, — лицо подрумяненного трупа. Кошмар начался.

Двое старших детей умолкли. А Джоффри плакал и плакал, терзая всем нервы.

Эластичный бинт двойной петлей туго обвивал его голые плечики, так что пухлые ручки беспомощно висели, как у обезьянки. Джерри сел и взял Джоффри за руку.

— Ты умница, что хотел прочесть со мной молитву, — сказал он. — Но благодарственную молитву читает всегда только один человек. Может быть, на этой неделе я научу тебя этой молитве, и тогда в будущее воскресенье ты скажешь ее вместо папы. О'кей?

— О-о-о... — продолжая всхлипывать, малыш попытался выразить свое согласие.

— О-о-о... — шепнула Джоанна на ухо Чарли; тот фыркнул, бросил искоса взгляд на Руфь и снова фыркнул.

А Джерри продолжал уговаривать Джоффри:

— Ты умница. Ну, перестань же плакать и ешь горошек. Дети, верно, наша мама молодчина, что приготовила нам такой вкусный горошек? А папа сейчас нарежет вкусное жаркое. Где эта чертова вилка для жаркого? Извините, все извините. Джоффри, прекрати. Но Джоффри никак не мог остановиться: все тельце его сотрясалось, события последних минут снова и снова возникали в памяти. Руфь обнаружила, что тоже дрожит и не может произнести ни слова. Она не могла подладиться к Джерри, старавшемуся шутками и прибаутками вернуть детям хорошее настроение, заставить их снова полюбить его, и чувствовала себя лишней. На кухне, принявшись мыть посуду, Руфь разрыдалась. Сквозь оконные стекла, на которых появились первые ломаные штрихи дождевых струек, она видела, как Джоанна, Чарли и двое соседских детишек играют в большой зеленый мяч под темным, фиолетовым небом. Джоффри она уложила наверху спать. В кухню вошел Джерри, поднял вилку с пола и, став рядом с женой, молча взял полотенце и принялся вытирать посуду. Она уже забыла, сколько месяцев тому назад он последний раз помогал ей с посудой. И сейчас в этой его молчаливой помощи она почувствовала что-то угрожающее и заплакала сильнее.

— В чем все-таки дело? — спросил он.

От слез у нее драло горло и трудно было говорить.

— Извини меня за эту вспышку, — сказал он. — Я не в себе эти дни.

— Из-за чего?

— О... из-за всякого разного. Близость смерти? Я перестал об этом думать и просто начал умирать. Посмотри на мои волосы.

— Это тебе идет. Ты стал красивее.

— Наконец-то, да? То же и с работой. Чем меньше я рисую, тем больше меня любят. Им нравится, когда я говорю. Я стал чем-то вроде подставного лица вместо Эла.

— Ты мог бы уйти.

— Когда у меня столько детей?

— Эти вытирать не надо. Поставим остальные на сушилку.

— А ничего, что дети бегают по дождю?

— Пока он еще не такой сильный.

— Может, взять их с собой в кегельбан поиграть в шары, когда дождь разойдется?

— Они были бы счастливы.

— Значит, стал красивее. Что же побудило тебя выйти замуж за такого гадкого утенка?

— Тебя действительно мучает твоя работа?

— Нет.

— А что же?

— Нам обязательно об этом говорить?

— А почему бы и нет? — спросила она.

— Я боюсь. Если мы начнем говорить, то можем уже не остановиться.

— Давай. Пасуй на меня.

Услышав команду, он будто расцвел; ей почудилось — хотя от слез все расплывалось перед глазами, — что плечи его распрямились, словно с них упали оковы, и он вдруг стал шириться, разбухать, как разбухают облака над пляжем.

— Пошли, — сказал он и повел ее из кухни в гостиную, затем мимо большого старого камина — к фасадным окнам, смотревшим на вяз. На подоконнике, у самого переплета, лежала маленькая бурая кучка монеток, оранжевая бусинка из индейского ожерелья,

которое Джоанна мастерила в школе, тусклый медный ключ от чего-то, чего ему уже никогда не открыть, — от чемоданов, сундука, детской копилки. Во время их разговора Джерри не переставая играл этими предметами, словно пытался выжать из них непреложный приказ, конечный приговор.

— Тебе никогда не казалось, — спросил он, намеренно четко произнося слова, как если бы читал вслух детям, — что мы совершили ошибку?

— Когда?

— Когда поженились.

— Разве мы не любили друг друга?

— А это была любовь?

— Я считала, что да.

— Я тоже так считал. — Он ждал.

И она откликнулась:

— Да, тогда мне казалось именно так.

— Но теперь не кажется.

— Нет, кажется. По-моему, мы стали лучше ладить.

— В постели?

— А разве мы не об этом говорим?

— Не только. Руфь, а тебя никогда не тянет выйти из игры до наступления конца?

— О чем ты, Джерри?

— Детка, я просто спрашиваю тебя, не совершаем ли мы страшной ошибки, намереваясь остаться в браке до конца жизни.

У нее перехватило дыхание, почудилось, что кожа на лице застыла, как одна из стен этой замкнутой комнаты, ограниченной коричневым подоконником с кучкой монеток, низкими фиолетовыми облаками, на фоне которых бледными тенями вырисовывались веточки вяза, квадратом стекла, исполосованным каплями дождя. Голос Джерри окликнул ее:

— Эй?

— Что?

— Не расстраивайся, — сказал он. — Это всего лишь предположение. Идея.

— Что ты оставишь меня?

— Что мы оставим друг друга. Ты сможешь вернуться в Нью-Йорк и снова стать художницей. Ведь ты же столько лет не писала. А жаль.

— Ну, а как будет с детьми?

— Я об этом думал — нельзя ли нам как-нибудь их поделить? Они могли бы видаться друг с другом и с нами, сколько захотят, и право же, все было бы не так уж плохо, лишь бы это соответствовало нашим обоюдным желаниям.

— А какие же, собственно, должны быть наши желания?

— Те самые, о которых мы сейчас говорим. Ты могла бы писать, и ходить босиком, и снова приблизиться к богеме.

— Перезрелая представительница богемы — вся в морщинах, с варикозными венами на ногах и выпирающим животом.

— Не говори глупостей. Ты же молодая. Ты сейчас куда лучше выглядишь, чем когда я впервые тебя встретил.

— Как это мило с твоей стороны!

— Ты могла бы взять Чарли. Мальчиков лучше разделить, а Джоанна нужна мне, чтобы помочь вести дом.

— Они нужны друг другу и нужны мне. Все нужны. И всем нам нужен ты.

— Не говори так. Я тебе не нужен. Тебе — нет. Я не создал тебе подобающей жизни, я не тот мужчина, который тебе нужен. И никогда им не был. Просто развлекал тебя, как коллега-студент. Тебе нужен другой мужчина. Тебе нужно выбраться из Гринвуда.

Она терпеть не могла, когда в голосе его начинали звучать визгливые нотки.

— Значит, ты и городок наш забираешь себе. Меня заткнешь куда-нибудь на чердак, а дом себе оставишь. Нет, благодарю. Если ты работаешь в большом городе, там и живи.

— Не надо ожесточаться. Ты ведь не жестокая. И ты даже не слушаешь меня. Неужели тебе не хочется стать свободной? Спроси себя по-честному. Я смотрю, как ты изнываешь до отупения, занимаясь этим домом, и у меня возникает чувство, что я в художественной школе поймал птицу и посадил ее в клетку. Вот я и хочу тебе сказать: дверца открыта.

— Ты мне не это говоришь. Ты говоришь, что хочешь, чтобы я убралась отсюда.

— Ничего подобного. Я говорю, что хочу, чтобы ты жила, как человек. А то слишком мы всё друг другу облегчаем. Защищаем один другого от настоящей жизни.

— Чушь какая-то. В чем все-таки дело, Джерри? В чем подлинная причина всего этого? Неужели я стала вдруг такой плохой?

— Ты вовсе не плохая. Ты хорошая. — Он дотронулся до ее плеча. — Ты грандиозная. Она вздрогнула от его прикосновения — ей снова захотелось его ударить. На этот раз он не пытался ей помешать. Ее рука, неудачно занесенная, лишь скользнула по его голове. В голосе ее снова зазвучали слезы:

— Да как ты смеешь так обо мне говорить! Пошел вон! Пошел вон сейчас же! Дождь усилился, и дети — их собственные и двое детишек Кантинелли — ввалились с улицы.

— Я возьму их с собой в кегельбан, — предложил Джерри. Казалось, он был даже рад, что она ударила его; он вдруг стал очень деловитым, торопливо заговорил:

— Послушай. Больше мы говорить не будем. И не думай о том, что я тебе сказал. Вызови на сегодняшней вечер кого-нибудь посидеть с детьми, и я повезу тебя ужинать в морской ресторан. Пожалуйста, не плачь и не волнуйся. — Он повернулся к детям и крикнул:

— Кто-о-о-о едет со мной играть в шары?

Хор “я” орудийным залпом ударил в нее. За ее спиной дождь резко барабанил по холодным стеклам. Джерри, казалось, наслаждался ее беспомощностью.

— Джоанна и Чарли, Роза и Фрэнк, — крикнул он, — живо в машину! — Он помог маленькому Фрэнку, по годам среднему между Чарли и Джоффри, снова надеть туфли. Все происходило так, точно ее уже здесь и не было, а Джерри владел и домом и детьми. Руфь почувствовала, как голову ее пронзила острая боль — она не сразу поняла, что звук возник не в мозгу, а где-то извне, — это Джоффри спустился вниз, прижимая к себе одеяльце, и ревел во весь голос. Он тоже хотел ехать в кегельбан.

— Солнышко мое, — сказала Руфь, с усилием выталкивая из горла слова. — Тебе нельзя. У тебя же сломана ключица, ты не сможешь бросать шары.

Он так взвыл, что она даже зажмурилась; остальные дети один за другим выбегали из дома, хлопая дверью: один, два, три, четыре. “Нельзя тебе ехать, нельзя”, — звучал в ее голове голос Джерри. Это акустическое чудо заставило ее открыть глаза. Он стоял на коленях, на полу, крепко прижав к себе сына.

— Ангел мой, бедный мой ангелочек, — говорил он. Лицо его над плечиком Джоффри было искажено, как показалось Руфи, чрезмерным горем. Он попытался подняться с колен, держа на руках сынишку, как младенца. Взвыв от боли, глубоко оскорбленный, Джоффри вырвался и уткнулся Руфи в колени — слезы закапали на ее голую ногу. На ней был старый черный купальный костюм от Блюмингдейла — она давно вынула проволоку из лифчика, считая, что у нее слишком торчат в нем груди.

Джерри с улыбкой вытер рукой глаза.

— Бог ты мой, какой ужас, — весело сказал он, клюнул Руфь в щеку и оставил одну в доме, где единственным звуком был шум льющегося дождя.

То, среди чего очутилась Руфь, было, казалось, чем угодно, только не пространством, ибо мебель продолжала плавать по широким сосновым доскам пола, растекшееся пятно на столике у стены безмолвно поддерживало пустую вазу для цветов, а книги на книжных полках — в противоположность ее собственному шаткому существованию — сохраняли в неприкосновенности свою крепость, свою компактную незыблемость, более тошнотворную, чем компактная незыблемость города, хотя каждая книга, если ее открыть, и есть город. Джоффри, которого уложили на обтянутый парусиной диван, рядом с грудой скользких детских книжек, сердился, сыпал вопросами и, наконец, весь извертевшись, заснул. Он лежал обмякнув, свернувшись клубком, в этой своей жалостной

повязке; пухлая, почти квадратная ручонка его перевернулась ладонью вверх — казалось, она состояла из одних больших пальцев, как руки на картинах Пикассо. Руфь положила его ровнее. — он поморщился, но не проснулся. А потом с ней заговорил дождь — голосом металлическим, барабнящим, когда она стояла у окон; голосом более тихим, когда она передвинулась на середину комнаты, и почти беззвучным, когда она закрыла лицо руками. Мимо по дороге проносились машины с шипением и свистом кометы. Окна в ванной наверху запотели, и водосточные трубы, забитые у карниза кленовыми листьями и семенами, издевались над ней — вода булькала в них, передразнивая звук, с каким моча падала в овал воды в унитазе. Руфь двигалась по комнатам, заправляя постели, а дождь шуршал, раскрывая чердачные тайны, — так шуршат мыши, черепица, сухая оберточная бумага, стружка для упаковки елочных игрушек. Руфь вспомнила родительский дом в Вермонте, сосновый бор, рыхлую дорогу, а вернее — две грязные колеи между кустами черной смородины, сами эти царапающие кусты, невидимые острые камешки, которые, бывало, вдруг кольнут голую ногу, мешковатые штаны, которые отец носил изо дня в день все лето напролет, кладовку, где мать хранила продукты, столь экономно и продуманно заготовленные, что они с сестрой никогда не голодали, но и не переедали тоже никогда. Руфь подумала было о том, чтобы обратиться к родителям, и тотчас вычеркнула их из мыслей. Смотри на вещи реально. Когда она жила с родителями, они пренебрегали ею — сейчас пришлось бы слишком многое объяснять, чтобы они ее поняли. Она спустилась вниз, налила себе рюмочку вермута и пошла с нею к пианино. Не имея времени рисовать, она снова стала искать удовлетворения в неуклюжих попытках совладать с Бахом. Легкое вино и ее побежавшие по клавишам пальцы как бы развернули зеленый ковер, с которого ввысь поплыли аккорды; сердце ее взмывало в арабесках, лодыжки болели от усиленной работы педалями. К тому времени, когда Джерри и дети шумной ватагой вернулись из кегельбана, она, пропустив все пьесы, где было больше четырех диэзов или бемолей, уже добралась до середины “Хорошо темперированного клавира”. Она поднялась было навстречу детям и тотчас почувствовала, как ее качнуло назад, к табурету, словно музыка еще звучала и комната, подчиняясь мелодии, толкнула ее замершее тело. Бутылка вермута была наполовину пуста. Джерри подошел с самодовольным и одновременно удивленным видом и коснулся ее щек — они были влажные.

— Ты все еще в купальном костюме, — сказал он.

Стоило ему вернуться, открыть дверь, и из дома исчезли текущие звуки, которые она вызвала к жизни, чтобы не чувствовать одиночества. Джоффри проснулся от боли; старшие дети толкались вокруг нее. Руфь приготовила им ужин и вызвала на вечер их любимую приходящую няню — миссис О., что означало О'Брайен, дородную вдову с бюстом, как диванный валик, и безмятежным треугольным личиком послушного ребенка. Она жила через несколько домов от них со своей древней, не желавшей умирать матерью. Руфь приняла ванну и оделась для выхода. Забраковала платья спокойных тонов, висевшие в ее шкафу, и выбрала желтое, которое купила летом после рождения Джоффри, чтобы отметить возврат к нормальному состоянию. Потом это платье стало казаться ей слишком юным, слишком декольтированным. Но не сейчас — сейчас ей нечего было терять. Она даже надушилась. Отвернувшись от туалетного столика, она увидела Джерри, застывшего в одних трусах перед своим гардеробом — одна рука на бедре, другая почесывает голову: должно быть, он тоже раздумывал, что бы надеть по столь непонятному поводу. Он показался ей в эту редкую минуту красивым, как недосыгаемая статуя — не разгневанно-прекрасным ренессансным Давидом, а средневековым Адамом, который стоит обнаженный в тимпаде, склонив голову, дабы она вписалась в пресловутый треугольник, всем костяком своего тела выражая невинность и тревогу. Неуклюжее и чистое — таким, наверно, и должно быть тело христианина, подумала она.

Ресторан с морской едой, который нравился Джерри, находился в старом центре города, близ замшелых доков, — это был перестроенный капитанский дом, где в каждой из маленьких зал имелся камин; в это время года пепел из каминов был удален, и между

железными решетками стояли пионы. На столиках лежали красные клетчатые скатерти, и низкие лампы-подсвечники освещали лица обедающих, совсем как у де Ла Тура note 16 . Потягивая джин с тоником, Джерри уходил от прямого разговора и злословил, — ну и пусть. Им подали суп из моллюсков — тембр голоса у Джерри изменился, стал ниже, мягче.

— Приятное платье, — сказал он. — Почему ты его так редко носишь?

— Я купила его почти сразу после рождения Джоффри. Теперь оно мне широковато в талии.

— Бедный Джоффри.

— Он никак не может понять, что у него сломана ключица.

— Из нашей троицы он меньше всего похож на нас с тобой. Почему бы это?

— Он самый младший. Ты был единственным ребенком в семье, а я — старшей сестрой.

Ну как, собрался с духом все мне рассказать?

— А ты собралась с духом меня выслушать?

— Да, конечно.

— Так вот, мне кажется, что я влюбился.

— Кто же эта счастливица?

— Ты должна знать. Должна была догадаться.

— Возможно, но все-таки скажи.

Джерри хотелось сказать, но он не мог; он опустил глаза и съел несколько ложек супа из моллюсков. Конечно же, это просто так, не серьезно.

Руфь игриво сказала:

— Если я неверно отгадаю, ты ведь оскорбишься.

Он сказал:

— Это Салли.

И, не встретив никакого отклика, запальчиво добавил:

— А кто же еще?

Муха села на губы Руфи, и от ее щекощущего прикосновения она очнулась, представила себе, какой видит ее муха: живая гора, вулкан, изрыгающий запах моллюсков.

— Значит, вот кому суждено стать твоей избранницей, да? — наконец откликнулась она, стремясь проявить деликатность, разделить с Джерри все оправдывающую убежденность в том, что этой женщиной могла быть только и именно Салли.

— Мне всегда нравилась Салли, — в свою защиту сказал он.

— А как она к тебе относится?

— Любит меня.

— Ты в этом уверен?

— Боюсь, Руфь, что да.

— Ты с ней спал?

— Ну, конечно.

— Извини. Часто?

— Раз двадцать.

— Раз двадцать! Где же это?

Наконец она хоть чему-то удивилась — это вернуло ему уверенность. Он настолько осмелел, что даже улыбнулся ей.

— Разве это имеет значение?

— Конечно, имеет. Мне все это еще кажется нереальным.

— Руфь, я влюблен в нее. Это не предмет для обсуждения. Мы встречаемся то здесь, то там. На пляжах. У нее дома. Время от времени в Нью-Йорке. А весной она ездила со мною в Вашингтон.

Теперь это уже становилось реальностью.

— О Господи, Джерри. В Вашингтон?

— Не надо. Не заставляй меня думать, что я зря тебе все рассказал. Не мог я дольше от тебя таиться.

— А на прошлой неделе? Когда ты вернулся так поздно, а я ждала тебя на аэродроме Ла-Гардиа, она тоже была с тобой? Летела тем же самолетом? Значит, летела.

— Нет. Хватит. Я влюблен в Салли. А больше тебе ничего не надо знать. В Салли Матиас. Вот я произношу ее имя и уже чувствую себя счастливым.

— Она была с тобой в том самолете, который я встречала?

— Руфь, не в этом дело.

— Скажи мне.

— О'кей. Да. Была. Была...

Теперь она улыбнулась.

— Хорошо, ладно. Не делай из мухи слона. Значит, когда ты подошел ко мне, и поцеловал, и, казалось, был так рад меня видеть, ты только это расстался с ней. Только что поцеловал ее на прощание в самолете.

— По-моему, даже не поцеловал — такая мной владела паника. И я был рад видеть тебя — как ни странно.

— Как ни странно.

— На этот раз я не хотел, чтобы она приезжала, — она приехала сама по себе. Мне пришлось звонить в отель и врать, пришлось спешно удрать из Госдепартамента — словом, все было крайне неудобно. А потом в Нью-Йорк перестали лететь самолеты, вернее — они летели, только без нас. Ричард считал, что она застряла в Нью-Йорке на ночь. Она позвонила ему и сказала, что сломалась ее машина — “сааб”. Просто поразительно: этот идиот проглатывает любую ее ложь.

— Ричард не знает?

— Думаю, что нет. — Джерри в изумлении уставился на Руфь, увидя вдруг в ней союзницу, советчицу. — Уверен, что не знает. Стал бы он терпеть, если б знал?

Официантка убрала чашечки из-под супа и подала Руфи тушеные гребешки, а Джерри — жареную камбалу. Руфь с удивлением обнаружила, что не только способна, но даже хочет есть. Возможно, она думала, что если может есть, словно ничего не произошло, — значит, ничего и не произошло. Новость, которую сообщил ей Джерри, была как враг, прорвавшийся сквозь линию обороны, но успевший занять лишь незначительную территорию ее души.

— Может, стоит мне поговорить с Ричардом, — предложила она, — и выяснить его реакцию?

— Может, не стоит. Если ты ему скажешь и он разведется с нею из-за меня, я ведь вынужден буду на ней жениться, так?

Она посмотрела на него — лицо с запавшими щеками сияло в свете свечей — и поняла, что ему все это нравится. Они давно никуда не выходили, чтобы вот так поужинать вдвоем, и сейчас эта атмосфера опасности, прощупывания друг друга возбуждала, словно любовное свидание. Руфь была довольна, что в силах играть отведенную ей в этой аванюре роли утрата частицы себя как бы высвободила в ней все остальное и придала этому остальному новую подвижность.

— Не так, — сказала она. — Может, он с ней вовсе и не разведется. У него были романы, и, скорей всего, у нее — тоже. Может, они решили, что их браку это ничуть не мешает.

Джерри не обратил внимания на то, с какой убежденностью она сказала, что у Ричарда были романы. Он мог говорить только о Салли.

— Она действительно спала раньше с другими мужчинами, но никогда прежде не была влюблена.

— С кем же она спала?

— С разными малыми. Когда Ричард ушел от нее. Я ни разу не спрашивал, спала ли она с кем-нибудь из знакомых. Странно, верно? Должно быть, я боюсь узнать — с кем.

— Ты должен спросить ее.

— Благодарю, но я уж сам как-нибудь разберусь, о чем мне говорить с Салли. Руфь спросила:

— Хочешь, я тебе в чем-то признаюсь?

— Признаешься — в чем?

— Не смотри на меня так свысока. Мне, конечно, далеко до твоей роскошной романтической истории. Но и у меня был роман.

— У тебя? Руфь, это же чудесно! С кем?

Раньше она собиралась ему сказать, но теперь поняла, что он будет над ней смеяться. Его презрение к Ричарду захлестнуло ее, и она покраснела.

— Не скажу. Это случилось некоторое время тому назад, и я порвала с тем человеком, решив, что люблю тебя, а не его. Он же никогда меня не любил.

— Ты уверена?

— Совершенно.

— Этот человек не придет к тебе, если я с тобой разведусь?

— Безусловно, нет. — Скорее всего, так и было бы, но кровь быстрее побежала у нее по жилам, словно она солгала.

— Почему ты не хочешь сказать мне, как его зовут?

— Ты можешь использовать это против меня.

— А если я обещаю, что не стану?

— Какой вес имеет слово, данное мне, когда ты любишь другую?

Он молчал с полным ртом, не в состоянии ничего вымолвить, пока не проглотит пищу.

— Вы, женщины, в общем-то, смотрите на это как на войну, верно?

— А вы как на это смотрите?

— Я смотрю как на мороку. Я люблю детей и любил тебя. И, пожалуй, в определенном смысле все еще люблю. Этот мужчина... тебе с ним было хорошо?

— Неплохо.

Джерри театрально заскрежетал зубами.

— Это удар ниже пояса. Лучше, чем со мной?

— Иначе. Он ведь был моим любовником, Джерри. А мужем быть труднее, чем любовником.

— Значит, он все-таки был лучше. Вот дерьмо! Люди устраивают иной раз сюрпризы, верно? Ты вот тоже устроила мне сюрприз. А лучше бы не устраивала. Меня это сбilo с толку.

Она взглядом измерила пространство между ними, решая, не пора ли притронуться к его руке. И решила, что нет.

— Пусть это не сбивает тебя с толку, — сказала она. — То была глупая маленькая интрижка, и я рада, что все позади. Я тогда чувствовала себя такой несчастной и до сих пор благодарна тому человеку, поэтому не требуй, чтобы я выдала его. Ни тебя, ни Салли это никак не касается.

— Очень даже касается. Я ревную. Почему ты не хочешь мне его назвать?

— Если я назову, может, ты перестанешь ревновать.

Он восхищенно рассмеялся.

— Это был Попрыгунчик, да?

— Нет.

— Тогда, значит, Дэвид.

— Я не намерена играть в отгадки.

— Значит — Дэвид. Вот почему ты так враждебно относишься к Хэрриет. Значит, это он.

— Сейчас я тебе ничего не скажу. Возможно, потом. Мне необходимо подумать. Я рассказала тебе про свой роман, потому что он уже изжил себя. Романы действительно изживают себя, Джерри. Все потрясающе, чудесно, лучше быть не может, но — мимолетно, и ради Салли (забудь обо мне, если тебе так легче)... ради Салли, и твоих детей, и ее детей, и даже Ричарда — дай времени пройти, не спеши.

— А я и не спешил. Это началось ранней весной, а любил я ее уже годы. Мне не нужна была постель, чтобы полюбить ее. Хотя это тоже способствовало. Послушай, Руфь. Не пытайся сбросить эту женщину со счетов. Она не дура, и она не гадючка. Она не сказала ни одной гадости про тебя — она очень о тебе тревожится. Когда стало ясно, что мы зашли слишком далеко, она попыталась порвать, но я удержал ее. Не она, а я настаивал на продолжении отношений. Она — моя. Она всецело принадлежит мне — у нас с тобой

никогда так не было. Мне трудно это объяснить, но когда я с ней, я главенствую. А когда я с тобой, мы на равных. — И он проиллюстрировал это, вытянув два длинных пальца. Почему он устраивает ей такую пытку? Почему просто не уйдет? Почему пытается заставить ее сказать “уйди”? А она ему в этом отказывает. Отказывает своим молчанием. Если поступаешь, как мужчина, так и будь женщиной. Смотри на вещи реально.

— Желаете кофе и десерт?

Интересно, подумала Руфь, давно ли стоит возле них официантка. Сухопарая женщина всем своим весом опиралась на спинку стула, словно хотела облегчить боль в ногах, и с выражением уставшей матери смотрела на них сверху вниз. Ее поза как бы говорила о том, что в этом их разговоре нет для нее ничего необычного.

— Только кофе, пожалуйста, — сказал Джерри, взял салфетку с колен и, сложив ее, каким-то удивительно мягким, легким жестом опустил на стол возле своего бокала: он уже облегчил душу, избавился от бремени. Но в этом бремени, которое он переложил на нее, Руфь тотчас почувствовала непонятные острые углы.

— Она прилетела в Вашингтон второй раз без твоего приглашения?

— Так точно. — По лицу его видно было, как он этим польщен. — Я умолял ее не приезжать. Ради ее же безопасности.

— Ну и сука.

Он взглянул на жену настороженно, с надеждой.

— Зачем ты так?

— Она — сука. Я всегда это считала. Какая женщина стала бы тебя так преследовать, когда у тебя трое детей.

— Да, в общем-то, она меня не преследовала. Скорее, сбежала ко мне. И вообще она, золотко, не сука, она хорошая женщина, которая не может понять, почему она должна быть несчастной. Она совсем, как ты. Во многих отношениях совсем-совсем, как ты.

— Благодарю. По-видимому, ты считаешь это комплиментом.

— Если это комплимент, то прими его — вот мой совет.

— Я буду с ней говорить.

— Господи, зачем? — Джерри переложил салфетку по другую сторону тарелки. — Что ты ей скажешь?

— Понятия не имею. Что-нибудь придумаю.

— Все, что ты способна сказать Салли, она себе уже сказала.

— Тогда, возможно, ей интересно будет услышать это от кого-то еще.

— Слушай, ты. Я не дам эту женщину в обиду. И если мне придется жениться на ней, я женюсь. Ты этого хочешь?

— Я не хочу, чтоб ты на ней женился, нет. Этого ты хочешь. Верно?

Он медленно произнес:

— Верно.

Это минутное колебание позволило ей дотронуться до его руки. Он руки не убрал. На двух пальцах, которыми он обычно держал перо, были чернильные мозоли.

— Разрешите мне поговорить с ней, — сказала Руфь. — Я ничего не скажу Ричарду. Я не буду ни кричать, ни вопить. Но это важно. Женщины могут сказать друг другу такое, чего мужчины за них никогда не скажут. Я знаю, что она не сука. Она мне нравится. Я уважаю твою любовь к ней. И понимаю: тебя потянуло к ней, потому что... я не во всем устраиваю тебя.

Хотя он и отнял у нее руку, она почувствовала, что он смягчился; она увидела, как он откинулся на стуле, явно довольный тем, что Руфь с Салли утрясут все между собой и тем самым избавят его от необходимости принимать решение. Подали кофе. Вокруг них — теперь они это заметили — шло непрерывное коловращение разговоров, а благодаря этим разговорам вращался и мир. И они с Джерри, прожив многие годы вместе, словно дети под надзором невидимых родителей, сейчас заговорили друг с другом, как взрослые. Прежде чем встать из-за стола, Джерри спросил ее мягко, но официально:

— Ты хочешь, чтобы я убрался сегодня же? Ответ слетел с ее губ так быстро, так

инстинктивно, что это не могло быть решением:

— Конечно, нет.

— Ты уверена? Так было бы порядочнее. Я ведь ничего не могу тебе обещать.

— А куда ты переедешь?

— В этом-то вся и заковыка. В Нью-Йорк?

— Ты же знаешь, что не можешь спать в отелях. Не дури. Ты что, хочешь непременно уйти от меня сегодня?

Он подумал.

— Нет. Вроде бы нет.

— Она сейчас, скорей всего, где-нибудь на вечеринке с Ричардом и все равно не может быть с тобой.

— Я бы ее и не стал звать. Мне надо сначала порвать с тобой.

— Что ж, детям все объяснить должен ты. И туг я тебе не завидую.

Он внимательно изучал клетки на скатерти, словно ткань могла подсказать ему ответ. И все водил и водил безымянным пальцем левой руки вокруг одной из клеток. Когда они поженились, Джерри отказался носить обручальное кольцо из опасения, сказал он, что будет все время вертеть его.

— Давай пройдемся по пляжу.

Конанты расплатились, улыбнулись усталой официантке, вышли и сели в его машину — “меркурий” со складным верхом. Небо над пляжем после дождя было желтое. Звезды еле мерцали, но почти полная луна так ярко освещала песок, что за ними тянулись длинные тени. Саунд был словно кнопками прикреплен к горизонту огнями Грейс-Айленда, а с другой стороны — огнями коттеджей Джейкобе-Пойнта. Руфь с трудом могла поверить, что не прошло и двенадцати часов, как она лежала здесь, наблюдая за подкрадывавшимся солнцем, — прилив слизал все дневные отпечатки. Сейчас в темноте ее голые ноги оставляли четкие холодные следы, а волны, фосфоресцируя, накатывались и отступали. Джерри задержал ее и, обняв, поцеловал в шею, в щеки, в глаза

— Просто не знаю, что и делать, — сказал он. — Я не могу отказаться ни от тебя, ни от нее.

— Ничего сейчас не решай, — сказала она. — Я еще не готова.

— Ты никогда не будешь готова!

— Откуда тебе знать? Я могу подготовиться. Но обещай ничего не предпринимать до конца лета.

— Хорошо, — сказал он.

Ей стало неловко от того, что она так легко добилась столь многого.

— А ты выдержишь?

Салли и Джерри; им кажется, что они влюблены — до чего умилительно. Руфь представила себе их — насколько же она выше, у нее даже голова закружилась.

Лакированная ночь завихрилась вокруг нее, как воздух на полотнах Шагала; она крепко прижалась к Джерри из жалости.

— Выдержу — что? — спросил он.

— Разлуку с Салли, — сказала она.

— Это тоже входит в уговор?

— Ты должен попытаться прожить со мной до конца лета, — сказала ему Руфь. — А иначе — к чему все это?

— К чему — что?

— Пытаться.

— А потом — что?

— Потом решим.

— Господи, — сказал Джерри, выпуская ее из объятий. — Ты была такой прелестной женой.

На другой день, в понедельник, Руфь позвонила сначала миссис О., потом Салли.

— Салли, это Руфь.

— Привет. Как поживаешь? — Салли когда-то работала секретаршей, и голос у нее по телефону был поставленный, бархатный — профессиональное качество, о котором все

забывали, видя, как она флиртует и взвизгивает на вечеринках.

— Не слишком хорошо.

— О. Жаль.

— Я звоню, чтобы спросить, можно заехать на чашечку кофе?

Салли старательно сохраняла дистанцию между словами.

— Ко-не-е-чно. А может, заглянешь попозже выпить чего-нибудь? Разве ты не едешь на пляж? Вчера была такая жуткая погода.

— Да, была. Я долго тебя не задержу.

— Может, приедешь с детьми?

— Понимаешь, я... — Руфь вздрогнула от собственного извиняющегося смеха, — я... договорилась с одной женщиной, чтоб она с ними посидела.

— Ричард забрал Бобби, и они поехали смотреть какой-то участок или что-то там еще, но Питер и малышка со мной. А ты хотела бы... Они тебе не помешают?

— Конечно, нет. Я, наверное, зря вызвала ту женщину.

— Как знать, — осмелела Салли. — Возьми Джоффри — он составит компанию моему шалопаю.

Руфь почувствовала, что ею начинают командовать, хотя собеседница по-прежнему не обнаруживала себя.

— Пожалуй, возьму. — Джоффри терпеть не мог Питера, который, по его словам, вечно толкается. — Я посмотрю.

— Вот и прекрасно, — сказала Салли и, пропев:

— Так мы вас ждем, — повесила трубку.

Руфь в ярости принялась засовывать ноги Джоффри в туфли на резиновом ходу. Когда прибыла миссис О., он ревел из-за того, что его увозят, а Джоанна с Чарли ныли, что их не берут с собой.

Зимой, когда выпадал снег, родители с детьми ездили в конце недели кататься на санках с холма, где стоял дом Матиасов; Ричард и Салли угощали детей печеньем и горячим шоколадом, а взрослых — чаем с ромом. Дорога к их дому вилась вверх по холму, и Руфь, когда ее “фолкон” стало, по обыкновению, заносить то вправо, то влево, тотчас вспомнила, несмотря на все свое возмущение, раздражение и страх, как гостеприимно — сообразно времени года — встречали ее там, наверху: зимой — катание на санках, летом — чай на лужайке, вечеринки с ужином, игра в слова, рисование плакатов, уроки вязанья, собрания разных комитетов по превращению Гринвуда в еще больший рай.

Салли ждала ее у бокового входа. Солнце светило с востока, и мягкая узорная тень деревьев лежала на красном дощатом доме, а заодно и на Салли, подчеркивая ее животную немоту, превращая в пятнистую олениху. На ней были белые брюки в обтяжку, низко спущенные на бедрах в стиле “Сен-Тропез”, и летняя трикотажная кофточка с широкими янтарными полосами. Ее длинные ноги были босы, и лак на ногтях требовал обновления; пепельно-светлые волосы висели прядями, придавая ее облику суровость колдуньи. Заостренное книзу лицо было бледно, точно она потеряла пинту крови или недавно произвела на свет младенца.

— Джерри только что звонил, — объявила она.

— Вот как? — Руфь придерживала дверцу, пока Джоффри, пыхтя, неуклюже вылезал из машины.

— Он хотел меня предупредить. — Салли усмехнулась, и Руфь, как всегда, не устояла и тоже улыбнулась. Питер Матиас и малышка — крошечная девочка с нелепым именем — появились у ног матери. Как же ее зовут, этакое дикарское имя — императрица, но не Клеопатра: ага, Теодора. — Пойдите покажите Джоффри качели! — воскликнула Салли своим пронзительно-мелодичным голосом, и хотя дети продолжали застенчиво стоять, Цезарь, большеголовый пес Матиасов, одним прыжком проскочил между их ног и помчался на задний двор, где в тени деревьев висели качели.

Салли повернулась и вошла в дверь; Руфь последовала за ней, по-новому, глазами Джерри, глядя на знакомые предметы обстановки: диваны с квадратными подлокотниками; ворсистые, с абстрактным рисунком ковры; стеклянные столики;

изогнутые в духе Арпа note 17 лампы; гравюры таких посредственностей, как Бюффе note 18 и Уайес note 19, в рамках. Джерри все это, конечно же, нравилось — он прежде всего видел во всем этом деньги и много света. А Салли, надо сказать, обладала даром аранжировать освещение, втягивала в окна — с помощью белой краски и горшков с цветами — солнечный свет и уже не выпускала его. Самой веселой из комнат была кухня: разбившись о подоконники, свет здесь лежал длинными черепками на всех деревянных поверхностях, которые Салли с присущей ей энергией надраивала до блеска. Прошлой ночью, когда Руфь и Джерри затеяли тот разговор, ворочаясь без сна в постели, точно дети перед надвигающимся Рождеством, а под конец стали уже полными дураками, он посетовал, что Салли и хозяйка-то куда лучше — не в пример ей. Руфь возразила, что у Салли есть Джози, хотя сама понимала, что это слабое оправдание: ведь и она могла бы иметь Джози, если б захотела. Но она не хотела — ей было все равно: она считала домоводство второсортной страстью.

— Я поставила кофе, но не уверена, что он уже готов, — сказала Салли.

Руфь села за стол, где обычно завтракали. Это был тяжелый ореховый стол старинной работы, который Ричард недавно купил в Торонто: она вспомнила, как он гордился своим приобретением.

— А где Джози? — спросила она.

— Наверху. Не нервничай. Она нам не помещает.

— Я и не нервничаю. Просто не хотела ставить тебя в неловкое положение.

— Как это мило с твоей стороны. — Салли, подошедшая к плите, тряхнула головой, отбрасывая волосы с лица; голова у нее была маленькая, совсем как головка тропического воробья. — Жаль, что Джерри рассказал тебе. По-моему, слишком рано.

— Слишком рано для чего? — И видя, что Салли молчит, Руфь сказала:

— Не жалею. Мне так лучше — знать, на каком я свете. Я все лето чувствовала себя несчастной, а почему — не понимала.

— Я, собственно, думала, — нарочито размеренно произнесла Салли, ставя перед Руфью чашку кофе, — главным образом не о тебе.

Руфь пожала плечами.

— Все равно рано или поздно это бы всплыло. Джерри прямо лопается от гордости.

— Он говорит, ты обещала не рассказывать Ричарду.

— Он сказал, что, если я это сделаю, он сбежит с тобой.

— Он еще сказал мне, Руфь, что у тебя был роман.

Салли повернулась спиной, наливая себе кофе, и Руфь внимательно оглядела ее/ища следы прикосновений Джерри: неужели ему действительно нравятся эти широкие крутые бедра, эта полная, с выемкой спина.

— Он не должен был тебе это говорить.

Салли повернулась. Как она посмотрела — чудо: разрез глаз, изогнутая линия слегка нахмуренных бровей.

— Он все мне говорит. Руфь опустила взгляд.

— Я убеждена. — Она почувствовала, что падает навзничь; сумела удержаться. — Нет, вовсе я не убеждена. Не убеждена в том, что он до конца честен с нами обеими.

— Ты его не знаешь. Он болезненно честен.

— Я не знаю собственного мужа?

— В известном смысле, да. — Салли произнесла это беспечным тоном, но потом, с преувеличенной осторожностью поставив на стол чашку с кофе, тяжело опустилась на стул и уже хриплым голосом добавила:

— Не надо такого холода. Он сказал мне, чтобы я не чувствовала себя проституткой в сравнении с тобой. А кто тот человек, не захотел сказать.

— Он не знает.

— Дэвид Коллинз?

— Нет. Произошло это уже давно, и у меня никогда в мыслях не было расставаться с Джерри. Я сама положила всему конец, и тот человек держался очень хорошо.

Удивительно хорошо. Не думаю, чтобы его, как и меня, эта история глубоко задела.

— Какая ты счастливица, — сказала Салли.

— Почему?

— Да потому, что не влюбилась в своего любовника.

— Нет, немного влюбилась. Даже живот болел. Я за те месяцы десять фунтов потеряла. — Она поднесла чашку к губам, выяснила, что кофе слишком горячий, снова поставила ее на блюдце, и увиденная сверху, с размытыми от яркого света контурами, чашка сразу точно сошла с картины Боннара. Салли провела дрожащими руками по голому столу, словно разглаживая скатерть. Руфь протянула руку к своей чашке; потом, вспоминая этот разговор, она всякий раз прежде всего видела четыре белые дрожащие руки, суетливо двигавшиеся по залитой солнцем доске полированного ореха.

— Ведь ты же, — сказала Салли, — сама отвернулась от Джерри.

— У меня и в мыслях такого не было. И не собиралась. Пожалуй, это он отвернулся от меня.

— Вы не можете жить друг с другом.

— Вот как?

— Не надо, Руфь. Кончай с этим тоном. Многие годы мы с Ричардом восхищались вами, считая идеальной супружеской парой; у нас отношения никогда не складывались легко, и мы, пожалуй, завидовали вам: вы оба, казалось, были так уверены друг в друге, так близки. А потом, в прошлом году, между тобой и Джерри что-то произошло, я почувствовала, как он поглядывает по сторонам — на меня, на других женщин. Я поняла, что кто-то у него появится — так почему бы не я. — Подбородок у Салли при этих словах покраснел, и она улыбнулась, чтобы не заметно было, как дрожат губы.

До чего все было бы просто, подумала Руфь: лечь и умереть, пожертвовав собою ради этой жизнелюбивой женщины. У Салли, конечно, нет ни малейших сомнений насчет своего права на жизнь. Руфь спросила ее:

— У тебя давно возникло чувство к Джерри?

Салли кивнула: да, да, да, хотела отхлебнуть кофе, обнаружила, что он слишком горячий, вытащила изо рта прядку волос, отбросила ее с мокрых щек. Сказала:

— Оно было всегда.

— В самом деле? — Руфь почувствовала себя оскорбленной: ведь это, конечно же, не так.

— А будь ты счастлива с Ричардом, оно возникло бы?

Это вышло неуклюже: Салли оцетинилась, усмотрев тут попытку влезть к ней в душу.

— Я была вовсе не так уж несчастлива с Ричардом до появления Джерри. Но сейчас стало просто ужасно, Я сама слышу, как придираюсь, придираюсь к нему и не могу остановиться. Я хочу уничтожить его. — Слезы снова потекли. — Я этого человека в грош не ставлю.

Руфь рассмеялась: те же слова она слышала от Ричарда.

Но если Руфь постепенно отходила, то Салли, наоборот, становилась все жестче и злее.

— Нечего сидеть и веселиться. Надо отвечать за свои действия, Руфь. Нельзя отказывать человеку в сердечном тепле, а как только он обратился за этим теплом к другому, натянуть веревочку и вернуть его назад. Джерри нужна любовь; я могу ему дать ее. И даю. Он сам мне говорил, что я завоевала его. Да, завоевала. Я завоевала его, а он завоевал меня.

Руфь заметила в речи Салли отсутствие связи, словно она нанизывала друг на друга заранее подготовленные фразы, позволявшие ей считать себя лишь частично ответственной за случившееся. Она сказала:

— Послушай, Салли. Не думай, что мне так уж нравится моя роль во всем этом. Если бы не трое детей, меня бы здесь не было. Слишком это унижительно.

— Нельзя же строить брак на детях.

— А я и не считала, что наш брак строится на них. Послушать тебя, — продолжала Руфь, — послушать тебя, так выходит, что Джерри нужна только ты. Ты в этом уверена? Вчера ночью он сказал мне, что мы нужны ему обе. Я не сомневаюсь, он думает, что любит только тебя. Но он и меня любит.

Салли, не поднимая глаз, изобразила на лице грустную кривую усмешку бесконечного

превосходства. А Руфь упорно продолжала:

— Он обманул меня, не все сказав про тебя, возможно, он обманул и тебя, не все сказав про меня. Вчера ночью мы занимались любовью.

Салли подняла на нее глаза.

— После всего случившегося?

— После долгого разговора. Да. Это казалось вполне естественным и правильным.

— Ты убиваешь его, Руфь. Ты удушишь его — насмерть.

— Нет. Только не я. С весны у него усугубилась астма — он просыпается каждую ночь. Я считала, что это из-за цветочной пыльцы, но это из-за тебя. Ты убиваешь его, когда просишь, чтобы он избавил тебя и троих детей, которым он не отец, от неблагополучного брака. Это ему не по силам. Найди себе кого-нибудь другого. Найди человека покрепче.

— Что ты все нудишь о моем браке?

— Но ты ведь замужем, верно? И вышла довольно удачно, с моей точки зрения. Так почему же ты ни в грош не ставишь Ричарда? Если бы ты была больше им занята, ты не устроила бы такой пакости нам.

— Никакой пакости я вам не устраиваю. Я просила Джерри только об одном: чтобы он пришел к какому-то решению.

— В твою пользу. А ему нужна я. И ему нужны его родные дети. Дети играют очень важную роль в жизни Джерри. Он был единственным и притом несчастным ребенком в семье, и сейчас ему приятно, что у него трое детей и что он может содержать их и дать им воспитание, которого сам не получил.

— Дети так и останутся его детьми.

— Ничего подобного, не останутся, — сказала Руфь. Ее смущала собственная запальчивость. Она сказала:

— Будем рассуждать здраво. Ты готова жить с ним в бедности? А я жила с ним в бедности и снова готова. Я ненавижу наш достаток, ненавижу то, как ему приходится зарабатывать деньги. И не боюсь остаться без них. А ты боишься.

— Не думаю, чтобы ты могла судить, чего я боюсь и чего нет.

Чем суше держалась Салли, тем больше распалась Руфь. Щеки у нее горели.

— Ты всего боишься, — сказала она, — боишься, как бы не упустить чего-нибудь. И в этой алчности — твое обаяние. Потому-то мы все и любим тебя.

— Как вы можете меня любить? — сказала Салли. И, точно собираясь отразить нападение, поднялась; Руфь бессознательно тоже встала и, словно обездоленный ребенок, словно мать, которая во сне видит себя одновременно и ребенком, вдруг обняла эту женщину, стоявшую у края стола, испещренного кругами от кофейных чашек. Тело Салли было чужое, крепкое, широкое. Обе тотчас отстранились друг от друга; объятие лишь утвердило взаимную убежденность, что они — враги.

Лак, и белая краска, и металл, и солнце на кухне Салли вздыбились вокруг Руфи занесенными кинжалами, когда она попыталась объяснить:

— Тебе нужно больше, чем всем нам. Тебе нужна твоя новая мебель, твои наряды, твои поездки на Карибское море и в Мон-Тремблан. Мне кажется, ты не отдаешь себе отчета в том, сколь неустойчиво положение Джерри, Он ненавидит то, чем занимается. Я давно уговариваю его уйти с работы. Он ведь не Ричард. Ричард может наделать кучу ошибок — деньги все равно останутся при нем.

Продолжая стоять у стола, Салли водила пальцем по завитку в ореховом дереве — туда-сюда, туда-сюда. Ровным голосом она сказала:

— По-моему, ты не очень хорошо нар знаешь.

— Я знаю вас лучше, чем ты думаешь. Я знаю, что Ричард не расщедритя.

Веки у Салли были все еще красные: она казалась крупной, хорошо сложенной девочкой, которая вот-вот расплачется.

— Я говорила Джерри, — сказала Салли, — что он себя доконает, если попробует содержать двух женщин.

— Тем самым ты только подстегнула его. После таких слов он станет из кожи вон лезть, лишь бы доказать, что все может.

— По-моему, ты очень снисходительна к Джерри.

— Я ведь знаю его чуть дольше, чем два-три месяца.

— Послушай, Руфь, нам не к чему ссориться. Что мы думаем друг о друге — не имеет значения. Решать должен Джерри.

— А он ничего не решит. Пока мы обе при нем, ничего он не решит. Это мы должны решать.

— Да как же мы можем?

Вопрос Салли прозвучал так искренне, так беспомощно и с такой надеждой, что Руфь ответила ей само собою напрашивавшимся выводом, как это делает пастор, закругляя проповедь:

— Откажись от него на время. Не встречайся с ним и ради Бога перестань ему звонить. Оставь его в покое до конца лета. А в сентябре, если он по-прежнему захочет быть с тобой, — забирай его. И черт с ним совсем.

— Ты это серьезно?

— А почему бы и нет? Никто из нас не будет жить вечно, и я вовсе не такая сентиментальная дура, какой вы с Джерри, видимо, меня считаете. Я даже думаю, что сумею неплохо провести развод, если уж на это пойду.

И обе женщины рассмеялись, словно раскрыли заговор.

Однако руки Салли на солнечном свету снова дрожали. Она провела по волосам, откидывая их назад.

— Почему я должна тебе что-то уступать? Кроме этого лета, у нас с Джерри, возможно, ничего больше и не будет, так почему же я должна от него отказываться?

— Я прошу тебя не ради себя. Ради моих детей. Да и твоих, если угодно, тоже. Ричард ведь отец им.

— Ему на них наплевать.

— Нет такого мужчины, которому было бы наплевать.

— Ты знаешь одного только Джерри.

— Прошу прощения.

— Извини, я забыла. У тебя ведь был этот твой любовничек. Это кажется настолько не правдоподобным.

— Знаешь, Салли, — сказала Руфь, — ты, конечно, женщина роскошная, но у тебя есть один недостаток.

— Всего один? — небрежно переспросила Салли.

— Ты не умеешь слушать. Встаешь в позу и стоишь, не обращая внимания на то, что говорят другие. А я стараюсь быть великодушной. Стараюсь отдать тебе Джерри, если этого не миновать, но так, чтоб мы обе сохранили хоть немного достоинства. У тебя же потом будет лучше на душе, если ты уступишь сейчас. Я ехала сюда с намерением не злиться, не плакать, не умолять, а ты не отступила ни на дюйм. Ты просто не слушаешь меня.

Салли передернула плечами.

— Ну, что я могу сказать? Что я откажусь от него? Я старалась. Он не допустил. Я люблю его. Лучше бы не любила. Мне совсем не хочется причинять боль тебе и твоим детям. Да и Ричарду и моим детям тоже.

— Не очень-то ты старалась, когда летела в Вашингтон.

— Джерри просил меня. Он взял меня с собой.

— Я про второй раз. Тот раз, когда ты сама навязалась ему.

Глаза Салли разъехались в разные стороны — она погрузилась в воспоминания.

— Никак не думала, что это такое большое зло. Мне, конечно, перед тобой не оправдаться. Да и не в нас дело, Руфь. Джерри — мужчина. И я буду принадлежать ему, если он захочет. Но он должен проявить себя мужчиной: прийти и забрать меня.

— Таково твое представление о мужчине, да? Значит, мужчина — это тот, кто бросает своих детей.

Салли взяла чашку, поднесла к губам и тут же поставила на место, так и не отхлебнув. Кофе был холодный.

— Я очень рано, — сказала она, — научилась скрывать определенные вещи. Возможно, это не было заметно, но я жила в аду.

— Не сомневаюсь, — сказала Руфь. — Только этот ад ты сама же и создала.

— Без чьей-либо помощи? Ты тут разглагольствовала о недостатках, точно у тебя их нет. Вы с Джерри слишком долго жили на этом вашем островке, в мире искусства. И ты настолько влюблена в себя, хоть и скрываешь это за изящными манерами воспитанной дамы, что даже не пыталась научиться заботиться о мужчине. Мне, к примеру, пришлось немало потрудиться ради сохранения своего брака, ты же палец о палец не ударила. Ты предоставила Джерри полную свободу и теперь из-за своей самовлюбленности не желаешь примириться с последствиями.

— Я примирюсь с ними, когда надо будет. Но...

— Вот уж не думаю, чтобы это когда-либо произошло. Я чертовски хорошо понимаю, что ты удержишь Джерри, если нажмешь на все тормоза ипустишь в ход детей. Но неужели он тебе нужен такой ценой? Я знаю, что мне в подобном случае Ричард не был бы нужен.

— Я тебе делать внушение не собиралась и сама выслушивать не хочу. Я прошу тебя, по моему, достаточно вежливо: оставь в покое моего мужа на несколько недель.

Бледное лицо Салли вспыхнуло.

— Вы с Джерри поступаете как черт на душу положит. Оба вы, на мой взгляд, предельно незрелые.

— Я передам ему твои слова. Благодарю за кофе.

Проходя через гостиную, Руфь заметила, что квадратные подлокотники белого дивана протерты, а гравюра Уайеса висит криво. Во дворе на лужайке, нуждавшейся в стрижке, Цезарь опрокинул Джоффри. Мальчик закричал — наверно, не столько от боли, решила Руфь, сколько из страха, что у него снова треснет ключица.

— Цезарь! — рявкнула Салли, а Руфь сказала:

— Ничего страшного. Просто у Джоффри выдалась трудная неделя.

— Я слышала, — сказала Салли.

Руфь посмотрела на Салли, ища в ее лице подтверждения, что разговора на кухне не было; та улыбнулась в ответ. Но когда Руфь уже сидела в машине, а Джоффри хныкал позади, она увидела, как Салли в своих белых брюках опустилась на траву — длинные волосы растеклись по спине — и классическим жестом обняла двух своих детей; рядом с Теодорой дополнительным стражем стоял пес. “Враг отброшен” — так назвала бы Руфь эту картину, но тут включилось зажигание, и смесь бензина и земного притяжения повлекла ее вниз по дороге.

Дома она расплатилась с миссис О., которая, накормив Джоанну с Чарли и отправив их на улицу, уселась в качалке подремать. Руфь налила в стакан апельсинового сока, добавила немного вермута и позвонила на работу Джерри. Телефон был занят. Она звонила ему четыре раза на протяжении двадцати минут, прежде чем телефон освободился и она услышала его голос.

— С кем ты так долго говорил? — спросила она.

— С Салли. Она сама мне позвонила.

— Вот это уже подло.

— Почему? Она была расстроена. Кому же ей еще звонить?

— Но ведь я только что просила ее этого не делать.

— И она обещала?

— Не совсем. Она сказала, что считает нас обоих очень незрелыми.

— Ага, она так и знала, что ты передашь мне ее слова.

— А еще что она сказала?

— Сказала, что ты говорила ей, что я по-прежнему тебя люблю.

— А ты что на это сказал?

— Забыл. Я сказал, что, наверное, так оно и есть — в каком-то смысле. Не знаю, почему это должно было ее расстроить — она ведь и сама так считала. Это же ясно.

— А почему это должно быть так уж ей ясно? Ты ведь говорил ей, что любишь ее, ты спал с ней, ты всем своим поведением давал ей понять, что я для тебя ничего не значу.

— Ты думаешь?

— Конечно, детка. Не будь таким тупицей, или садистом, или кто ты там еще есть. Ты же дал ей понять, что любишь ее.

— Ну, конечно, но только мои чувства к ней вовсе не исключают того, что я могу питать чувства и к кому-то еще.

— О, безусловно.

— Ну вот, теперь ты разозлилась. Это безнадежно. Почему бы вам не пристрелить меня и не жениться друг на дружке?

— А мы друг дружке не нужны. Мы попытались было обняться, как сестры, и отскочили друг от друга, как две мокрые кошки.

— Она сказала, ты просила ее какое-то время держаться от меня подальше.

— До конца лета. Мы же об этом с тобой условились.

— Вот как?

— А разве нет?

— Но я не думал, что ты отправишься туда и все ей выложишь.

— Ничего я ей не выкладывала. Я была с ней предельно любезна — до тошноты.

— Она сказала, ты была очень холодная и наглая.

— Не правда. Нет. Если кто и был наглый, так это она. Да и вообще, на мой взгляд, она та еще штучка.

— Она считает, что ее предали, — попытался оправдать ее Джерри. — Говорит, что влюблена в меня, а я просто играю ею.

— Что ж. В общем-то ты ведь и сам признался мне, что для тебя это лишь эксперимент. Тебе интересно посмотреть, что будет. Если я взорвусь, это избавит тебя от необходимости принимать решение.

— Не совсем так. Во-первых, еще немного, и ты бы догадалась. Во-вторых, она торопила меня, чтобы я что-то предпринял.

— И все же, по-моему, говорить, что ее “предали” — это уж слишком. Если кого и предали, так меня. Но никто из вас, видно, не намерен принимать во внимание, что и я имею право на чувства. Во время разговора с ней мне то и дело приходилось напоминать себе, что виновата-то не я. Вы оба, видно, считаете меня удивительно черствой — давно бы, мол, пора взять и сдохнуть.

— Ни Салли, ни я этого не считаем. Только, пожалуйста, не плачь. Ты же героическая женщина. Салли так и сказала.

— А что она еще обо мне сказала?

— Сказала, что ты очень складно говоришь.

— В самом деле? Это смешно. Я же говорила совсем не складно. Точно стреляла короткими очередями в разных направлениях.

— Она что-нибудь говорила о Ричарде?

— Почти ничего.

— А что она сказала про детей?

— Она, видимо, считает, что дети не играют во всей этой истории существенной роли. Она считает, что они — лишь предлог, которым мы пользуемся.

— Так она и сказала?

— Намекнула.

— А еще что было? — Эта его жажда слышать слова Салли казалась неуголимой — бездонный колодец, который ей придется без усталости наполнять.

— Дай подумать, — сказала Руфь. — Да. Ей очень хотелось знать, кто был моим любовником, и она спросила, не Дэвид ли.

— Прости меня, солнышко, за то, что я проболтался. Но я подумал: пусть узнает, это хоть как-то уравнивает вас.

Руфь невольно рассмеялась, несмотря на слезы и вермут, представив себе Джерри в роли рассудительного устроителя этого небольшого состязания двух кобылиц.

— Что тут смешного?

— Ты смешной.

— Вовсе нет, — сказал он. — Я вполне разумный, приличный человек, стремящийся никого не обидеть и одновременно принимающий участие в бесконечных идиотских совещаниях, на которых пытаются установить, какого оттенка серого цвета должен быть средний представитель третьего мира в этих идиотских тридцатисекундных вонючих сериях! — Поскольку она никак не реагировала на этот вопль души, он вдруг спросил:

— А это все-таки был Дэвид?

— Нет, это был не Дэвид Коллинз. Меня никогда не влекло к Дэвиду Коллинзу. Я даже танцевать с ним не могу. И мне не нравится, что мой роман превращают в забавную историю для всеобщего увеселения.

— Вовсе нет, солнышко. Все относятся к этому очень серьезно. Собственно, я считаю твой роман тем катализатором, который всем нам необходим.

— А я считаю, что этот катализатор необходим прежде всего твоей подружке для вполне дружеского шантажа.

— И откуда только у тебя такой макиавеллиевский ум? Что еще сказала Салли? Она подписала этот контракт “руки прочь”, который ты ей предложила?

— Ничего подобного. Она все твердила, что решать должна не она.

— А кто же — ты или я?

— Ты. Мужчина. Господи, эта женщина произносит слово “мужчина”, точно святее его в языке нет, меня чуть не стошнило.

— Да как же я могу решить? Я же далеко не все знаю. Не знаю, любишь ты меня или нет; ты говоришь, что любишь, но я этого не чувствую. Возможно, на самом деле ты как раз хочешь, чтобы я развелся с тобой, но молчишь из вежливости. Может, это будет самым счастливым событием в твоей жизни.

— Сомневаюсь, — медленно проговорила Руфь, пытаюсь представить себя разведенной — одинокая, босая, сидящая.

А Джерри торопливо продолжал:

— Я не знаю — а вдруг у детей случится нервное расстройство. Я не знаю — а вдруг Салли, заполучив меня, обнаружит, что я зануда. Иной раз я думаю, что ее и тянет-то ко мне только потому, что она еще не заполучила меня. Возможно, ей нравится лишь то, что недоступно. Возможно, все мы такие.

— Может быть, — сказала Руфь, не очень следившая за ходом его речи.

— Ну, а раз так, — заключил Джерри, как если бы она возражала, доказывая обратное, — нелепо разбивать две семьи, которые еще более или менее держатся, и портить жизнь полудюжине детей. С другой стороны, есть что-то, связывающее меня с Салли. И что-то в известном смысле очень прочное.

— Я не желаю об этом слушать.

— Не желаешь? О'кей. Тогда скажи про себя. Как ты ко всему этому относишься?

Радуешься? Огорчаешься? Хочешь развода?

— Не радуюсь и не хочу развода.

— Ты огорчена.

— Подавлена. Тянет на вермут. Разговор, который у нас с ней был, только сейчас начинает на меня действовать.

— Неужели это было так неприятно? А тебя не потрясла чистота у нее в доме? И так всегда, когда бы ни пришел — днем или ночью. Кстати, она не показалась тебе более умной, чем ты ожидала?

— Менее.

— Менее?

— Гораздо. Когда ты вернешься домой?

— Не знаю. В обычное время. Возможно, немного позже.

— Значит, поедешь к ней.

— О'кей? Ты не возражаешь?

— Возражаю.

Джерри явно удивился.

— Я думаю, так оно лучше будет. Судя по голосу, она в полном отчаянии.

- Если она тебя увидит, ей станет только тяжелее.
- Почему? Я же ей нравлюсь. При мне у нее всегда поднимается настроение.
- Ричард может оказаться дома.
- Тогда мы встретимся где-нибудь на пляже.
- Тучи собираются.
- Так всегда бывает около полудня, — сказал ей Джерри.
- Вы, конечно, переспите, — вырвалось у нее. Голос Джерри куда-то ушел, стал одним из компонентов телефонной трубки, как металл и кристаллы.
- Не фиглярствуй, — сказал он. — Это уже в прошлом. Благодаря тебе. Поздравляю. — И повесил трубку.

Она почувствовала себя отстраненной: она преступила границу дозволенного. У этого таинства были свои законы — не менее запутанные, чем лестницы в замке; она по ошибке постучалась в дверь комнаты, где лорд и леди возлежали и предавались любви. И, стоя перед этой дверью, она чувствовала себя маленькой, испуганной и пристыженной, отринутой и замороженной, как дитя. Руфь только сейчас заметила, что пока левая рука ее держала трубку, правой она вычерчивала на обороте конверта со счетом цепочку из квадратных звеньев. Места пересечения квадратиков она заштриховала сообразно законам светотени, хоть и была в смятении чувств. Она внимательно изучила абстрактный рисунок и подумала: если Джерри ее бросит, она, быть может, в конце концов действительно станет художницей.

День был жаркий, и дети шумно требовали, чтобы их везли на пляж. Они не понимали, почему мать портит им этот день. В их воплях, казалось, слышался затаенный страх. Но Руфь считала, что надо сидеть дома, надо быть на месте: а вдруг что-то произойдет. Она не знала, что именно, но вбила себе в голову, что может понадобится Джерри. От этой его воображаемой нужды в ней у Руфи буквально сосало под ложечкой. В положенное время Джоффри был уложен спать, а двое старших убежали к соседям. Рады уйти от матери. Она села за пианино, но музыка не завладела ею: барочные завитки Баха не сплетались в единую мелодию. Руфь подошла к телефону и позвонила на работу Джерри: ей сказали, что он уехал на весь день. Домой он вернулся только после пяти; она в это время была наверху — зашла посмотреть на Джоффри. Ей показалось, что мальчик неестественно долго спит; может, думала она, из-за того, что его опрокинула эта ужасная собака Матиасов — как же ее зовут?..

Входная дверь хлопнула. Раздался голос Джерри, вот уже его шаги зазвучали на нижних ступеньках лестницы. Руфь крикнула:

— Не поднимайся! — Когда она вошла в гостиную, он кружил среди мебели, точно искал что-то, и курил. Дымящаяся сигарета в его руке показалась ей чем-то непристойным, хотя прошло всего три месяца с тех пор, как он бросил курить. — Зачем ты куришь? — спросила она.

— Я купил пачку по дороге домой, — сказал он. — Я ведь и курить-то бросил, чтобы лучше чувствовать ее вкус. А теперь хочу подцепить рак.

— Что случилось?

Он расправил ковер ногой, выровнял несколько книг на полке.

— Ничего, — сказал он. — Ничего особенного. Она плакала. Я сказал, что больше не приеду к ней, пока не буду свободен, а она сказала — да, этого она и ждала. Я сказал, что иначе — нечестно. Она согласилась и поблагодарила меня за то, что чувствует себя любимой. А я поблагодарил ее за то, что чувствую себя любимым. Все бы ничего, но потом она начала плакать. — Он глубоко, с надрывной драматичностью затянулся сигаретой и так впился в нее губами, словно не собирался больше выпускать. — Господи, — произнес он. — Не привык я к этому. Просто голова идет кругом. — Он остановился у столика и поправил абажур на лампе. — Она сказала — она не ожидала, что я так быстро сдамся тебе.

— А потом, я полагаю, ты заключил ее в объятия и попросил потерпеть всего несколько дней, пока ты уговоришь эту старую калошу дать тебе развод.

— Нет, вовсе не так. Я этого не говорил. Жаль, что тебя там не было: ты бы мне

подсказала. Я вообще мало говорил. Одурел совсем. — Он снова глубоко затаился, сделал несколько неверных шагов и с такою силой плюхнулся в датское кресло, что хрупкое дерево затрещало, а потом его словно ударило сзади накатившей волной, голова его пригнулась — Руфь подумала, что он сейчас закашляется, — но он заплакал. Рыдания его перемежались громкими вздохами — так скрежещут, включаясь, тормоза грузовика, — обрывками фраз: он пытался выговориться.

— Она сказала мне... это почти последнее, что она мне сказала... чтобы я был добр с тобой... чтобы не мучил тебя ею.

— Но как раз этим ты сейчас и занимаешься.

— Я не нарочно. Послушай. Я не хочу, чтобы наш никудышный брак наладился из-за того только, что она научила меня любить, а тебя научила... ценить меня...

— Я никогда не говорила, что не ценю тебя.

— А тебе и не надо было это говорить — я всегда это чувствовал. Ты вышла за меня замуж, потому что... я умею рисовать. Чтобы я рисовал... а ты... раскрашивала.

— Какая нелепица. Послушай, Джерри, ты мне не нужен, если ты намерен продолжать и дальше в таком же духе. И все из-за этой бабы. Извини, но я так не могу. Я не могу относиться к этому серьезно.

— Тогда скажи мне — уходи. Скажи сейчас же.

Когда у Джерри возникали приступы астмы, он просыпался ночью с ощущением, что ему нечем дышать. Он шел в ванную — выпить воды или просто размяться — и, ссутулившись, возвращался в постель, где Руфь обычно уже лежала без сна. Он говорил, что у него в легких словно встает стена или поднимается пол, и он не может набрать достаточно воздуха, и чем больше он старается, тем плотнее становится стена; внезапно он весь покрывался потом, и кричал, что умирает, и спрашивал ее, зачем она его душит, зачем нарожала ему столько детей, почему не может поддерживать чистоту в доме, почему отказывается верить в Иисуса Христа, в воскрешение Лазаря, в бессмертие души, — не было границ его обвинениям, а она молча все сносила, так как знала: пока у него хватает дыхания все это изрыгать, он не задохнется. Проходил час, а то и больше; наконец, ему надоедало оскорблять ее и через нее — Бога, наступало расслабление, и он засыпал, доверчиво похрапывая, а она лежала рядом и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. Она не могла понять, как он, зная, что всего лишь страх спазмой сжимает ему легкие, лишая их нормального питания кислородом, не в силах мобилизовать волю и избавиться от своих приступов; но сейчас, заглядывая в себя, Руфь обнаруживала, что и у нее внутри появилась такая же странная стена: мозг ее не в состоянии был представить себе, что надо отпустить Джерри. Она понимала, что он решил заставить ее страдать, если она его не отпустит, и что чувство собственного достоинства повелевает ей немедленно пожертвовать их браком. Эта жертва была бы таким простым шагом, смелым, чистым, прекрасным. Она вознесла бы ее над всеми мелкими людишками, этими гринвудскими прелюбодеями. Руфь даже чувствовала, как за этой стеной в ней рождаются мечты и жажда свободы. Но она не могла к ним прорваться. При всем своем старании — не могла. Наивный мужчина переспал с алчной до всего женщиной, зачем же делать вид, что тут что-то большее, — ничего за этим нет. Они преувеличивают — оба, и хотя Руфь понимала, что красота связана с преувеличением, кто-то должен же стоять за правду. А правда в том, что Салли, пожалуй, лучше держаться Ричарда, а Джерри — ее, чем объединяться.

— Я бы так и поступила, — сказала она Джерри, — я бы завтра же пошла к адвокату, если бы речь шла о женщине, которую я уважаю.

— А ты уважала бы, — быстро парировал Джерри, — лишь женщину, которая была бы точной копией тебя. — Он перестал плакать.

— Не правда. Я совсем не в таком уж восторге от самой себя. Но Салли... она же дура, Джерри.

— Значит, и я дурак.

— Не настолько. Ты возненавидишь ее через год.

— Ты так думаешь? — Это его заинтересовало.

- Уверена. Я видела вас вдвоем на вечеринках: вы психуете, когда вместе.
- Ничего подобного.
- Вы оба ведете себя, точно с цепи сорвались.
- Я не могу сказать тебе, что именно я в ней люблю...
- Отчего же. Вы оба одинаковые в любви.
- Откуда ты знаешь?
- Догадалась.
- Это правда. Она не превращает секс в обряд, как ты. Просто ей это нравится.
- А чем же я превращаю секс в обряд?
- У тебя все должно быть безупречно. Раз в месяц ты бываешь потрясенная, но у меня нет терпения столько ждать. Времени, отпущенного для жизни, остается в обрез. Я умираю, Руфь.
- Прекрати. Неужели ты не понимаешь, что перед каждой женщиной стоит эта проблема: жена доступна — никаких препятствий для обладания. Значит, она должна их создать. Мне знакомо это чувство служения мужчине: ты существуешь, чтоб утолять его голод, это чудесно. Но лишь тогда, когда ты — любовница. Салли — твоя любовница...
- Нет. Впрочем, да, конечно, но я уверен, что она и с Ричардом в постели такая же, как со мной. Только нас связывает нечто большее, чем постель. Когда я с ней — неважно где, просто стою на углу улицы и жду, когда изменится свет светофора, — я знаю, что не умру. Или даже если знаю, что умру, то мне это почему-то безразлично.
- А когда ты со мной?
- С тобой? — Он говорил с ней так, точно перед ним сидели слушатели, которых он перестал видеть. — Ты — смерть. Очень спокойная, очень чистая, очень далекая. Что бы я ни учудил, ты не изменишься. Это даже не позабавит тебя. Я женат на собственной смерти.
- Дерьмо. — Да как он может сидеть с этим самодовольным, даже выжидающим видом и говорить, что она — смерть? Он обвиняет ее в унитарной самовлюбленности, а самовлюбленностью-то страдает он, это проявляется в его горе, и в его безнадежной любви, и в этих его взятых с потолка истинах. — Ты обязан как следует все продумать, а ты только болтаешь языком. Ну, предположим, ты женишься на Салли. Будешь ты ей верен?
- А тебе какое дело!
- Ну как же: ты ведь просишь, чтоб я уступила мое место этой твоей распрекрасной любви. Но только так ли уж она прекрасна? Ты обнаружил в себе некое удивительное качество: оказывается, женщины любят тебя.
- Вот как?
- Прекрати. Хватит паясничать. Подумай. Ты уходишь к Салли или же расстаешься со мной — что перевешивает? И в какой мере ты используешь ее, чтобы избавиться от брака? От детей? От работы?
- Разве я хочу от всего этого избавиться?
- Не знаю. Просто нет у меня такого чувства, что Салли серьезная мне соперница. По моему, моей соперницей является возникшая у тебя мысль о свободе. Так вот что я тебе скажу: став женой, Салли возьмет тебя в шоры.
- Я это знаю. И она это знает. — Джерри поднял руку: Руфь подумала, что он хочет вытереть глаза, но он вместо этого почесал затылок. Разговор иссушал его. — В общем-то, — сказал он, — наверное, действительно безрассудно одну моногамию менять на другую.
- Безрассудно и дорого.
- По-видимому.
- А если ты поскользнешься, думаешь, она станет долго ждать и не оплатит тебе тем же?
- Недолго.
- Правильно. Поэтому оставь-ка ты ее в покое на какое-то время и подумай о том, чего ты на самом деле хочешь — эту толстозадую блондинку или...

— Или?

— Или женщин многих и разных. Джерри улыбнулся.

— Ты предлагаешь мне многих женщин?

— Не совсем. Даже вовсе нет. Я просто обрисовываю тебе реальное положение вещей.

— Одно в вас, унитариях, хорошо: вы не слишком обременены мещанской моралью.

— Лютеране, вроде бы, тоже.

— А нам она и не нужна. Нам хватает веры.

— Так или иначе, я рассчитываю, что мне зато разрешено будет завести двух-трех мужичков. Это удивило его.

— Кого же?

— Я тебе сообщу. — Она прошлась по комнате, невольно пародируя танцевальные па, и зеркало в золоченой раме, висевшее между двух окон, выдало ей неожиданное отражение: лихо выдвинутое бедро, задорно приподнятый локоть, плотно сжатые губы, будто она откусила от слишком сочного плода. Она замерла, потрясенная увиденным, а Джерри подошел к ней сзади и взял в ладони ее груди.

— Ты, видно, считаешь, — сказал он, — что тебе идет быть развратной.

Ей было неприятно его объятие: жалость к брошенной женщине отравила всю радость одержанного успеха. Она высвободилась и сказала:

— Мне надо на пляж. Я весь день обещаю детям поехать. Ты едешь с нами или бросаешь нас?

— Нет. Еду. Все равно мне некуда деваться.

— Твои плавки висят на веревке во дворе.

У молодых супружеских пар Гринвуда — после того как женщины перестали одаривать свои семьи новыми детьми — возникла поистине ритуальная потребность поддерживать отношения, и они изыскивали бесконечные поводы для встреч. Пляж, танцы, теннис, различные комиссии, да еще волейбол по воскресеньям: во второй половине дня.

Естественно, что Конанты и Матиасы при таком положении вещей не могли не встречаться. Салли, ходившая все лето в пастельных тонах — белые брюки, трикотажные кофточки-безрукавки цвета слоновой кости, желтый, выцветший от солнца купальный костюм, — казалась Руфи застывшей, до ломкости хрупкой, она смотрела на Джерри как замороженная, с неизменным страхом. Любопытно, думала Руфь, неужели ее муж способен как мужчина производить столь сильное впечатление. Вихрь, сломавший эту женщину, словно дерево в ледяную бурю, время от времени налетал и на нее, но в ней не шевелилось ни листочка, и Руфь, естественно, спрашивала себя, да жива ли она вообще. Из смятенных глубин ее души снова поднялось подозрение, что окружающие — и мать, и отец, и сестра — как бы участвуют в некоем заговоре, заговоре, именуемом жизнью, а она из него исключена. Ночью, лежа рядом с Джерри, она перебирала разные возможности: сбежать, завести нового любовника, пойти на работу, вернуть Ричарда, покончить с собой, — словом, так или иначе ринуться на невидимое препятствие и доказать легкой вспышкой, распустившимся цветком боли, что она существует. Она очутилась в какой-то невыносимой ситуации, когда надо заставить себя поверить, так как она почему-то не может поверить Джерри до конца; он же, чувствуя эту ее неспособность, всячески оберегал, расширял брешь, ибо то был выход, через который он мог бежать. Он укреплял Руфь в убеждении, что окружающий мир — не тот, в котором она родилась.

Вечером, по воскресеньям, после волейбола, Конанты возвращались домой, где царил полный ералаш, все было вверх дном — незастланные кровати, сломанные игрушки, грязные подушки, сваленные горой. Джерри садился в кресло и источал горе. Он играл в волейбол азартно — кидался на мяч, приседал, падал, а лужайка у Коллинзов, когда ноги игроков вытоптали на ней траву, обнаружила множество всякой дряни — бутылочные пробки, осколки разбитого стекла, так что Джерри часто резался; он сидел сейчас в своих укороченных шортах цвета хаки, колено у него кровоточило, как у мальчишки, упавшего с велосипеда, и пока Руфь глядела на опущенное лицо мужа, на кончике его носа появилась капля, упала, и на ее месте тотчас возникла другая. Нет, не могла Руфь воспринимать его серьезно.

— Ради всего святого, Джерри. Возьми себя в руки.

— Я стараюсь, стараюсь. Мне действительно не надо с ней видаться. А то у меня потом наступает похмелье.

— Что ж, давай не будем больше ходить на волейбол.

— Придется — из-за детей.

Дети уже спали или дремали, замороженные бормотаньем телевизора.

— Из-за детей — еще чего скажешь! Господи, как же ты их используешь! Мы ходим на волейбол только для того, чтобы вы с ней могли обменяться под сеткой нежными тоскующими взглядами.

— Вот уж никак не нежными и не тоскующими. У нее глаза стали холодные.

— Они у нее всегда такие были.

— Она меня теперь ненавидит. Я потерял ее любовь — ну и прекрасно. Именно этого мы и хотели. Теперь мне ничего не надо решать, сам не понимаю, почему меня это задевает. Извини.

— Не будь идиотом. Никакой ее любви ты не потерял. Просто она ведет себя так, как ты просил, и, по-моему, у нее это отлично получается.

— Она ведет себя так, как ты просила.

— Еще чего! Да она... — следующие слова удивили ее самое — это было старое, излюбленное выражение ее отца, — ...гроша ломаного не даст за меня — как и ты, впрочем. Я тут — ноль, борьба идет между ней и детьми, так что не пытайся взвалить всю вину на меня. Я не собираюсь тебя удерживать — вставай и поезжай к ней. Поезжай.

— Извини, — сказал Джерри, и это было искренне. — Просто я увидел ее лицо в определенном ракурсе, посылая ей мяч, и оно застряло у меня в башке: я ведь поставил ее в такое унижительное положение.

— Но она сама на это напросилась, дружок. Женщины, ведя игру, знают, что далеко не всегда могут выиграть. Я считаю, что она действует очень даже смело и прямолинейно, так что перестань быть младенцем! Ей вовсе не нужны эти спектакли, которые ты устраиваешь каждое воскресенье.

Он поднял на нее глаза — щеки у него были мокрые, колено рассечено, на лице — жалкая улыбка, исполненная надежды.

— Ты, правда, считаешь, что она все еще любит меня?

— Не такая она идиотка, — сказала ему Руфь. Обычно ночью по воскресеньям, взбудораженный игрою, он приставал к ней с ласками, и она уступала ему, но не получала удовольствия, потому что она была тут ни при чем: он обнимал Салли. Его пальцы скользили по ее телу, словно пытались заколдовать его, превратить в другое тело, и все ее женское естество, которое принадлежало мужу, стремилось покориться. В темных извилинах этого стремления покориться Руфь теряла всякое представление о происходящем. Наконец он взламывал ее, как взламывают неподатливый замок, и с глубоким вздохом облегчения отваливался, довольный собою. Ее неспособность до конца ответить ему вполне его устраивала, он и хотел, чтобы было так, — это оправдывало его будущее бегство.

— Ты слишком много куришь, — сказал он ей. — Это не возбуждает.

— Это ты не возбуждаешь.

— Неужели я так плох? Заведи себе любовника. Или вернись к тому, который у тебя был. Я уверен, что с другим ты можешь быть на уровне.

— Благодарю.

— Я серьезно. Ты красивая женщина. Хотя изо рта у тебя и пахнет, как из сарая, где сушится табак.

— Чего ты напустился на меня! Чего напустился! — Эти выкрики только еще больше распалили ее, но выхода ярости не дали; она ударила его, принялась молотить коленями; он схватил ее за запястье, навалился, прижал к кровати. Лицо его было совсем близко, оно казалось в темноте преувеличенно раздувшимся, точно сошедшим с картины Гойи.

— Безмозглая сука, — сказал он, снова и снова вжимая ее в матрац, — нечего сказать, умеешь держать себя в руках. Получила, что хотела, да? Получай же. Супружеское

счастье.

Она плюнула ему в лицо — тьфу! — как кошка: сначала прыгнет, а потом подумает; слюна мелким дождем обрызгала ей же лицо и словно отрезвила. Она вдруг ощутила его тело, которое железной тяжестью давило на нее; при слабом свете увидела, как он заморгал и усмехнулся. Пальцы его разжались, и он соскользнул с нее. Соскользнул, а ее бедра уже снова жаждали его исчезнувшей тяжести. Он повернулся к ней спиной и сжался в плотный клубок, словно стремясь защитить себя от нового каскада ударов.

— М-да, это нечто новое, — сказал он про ее плевков.

— Я это не подумав. Должно быть, вырвалось откуда-то из нутра.

— Я и почувствовал, что из нутра.

— Ты же держал меня за плечи. Я должна была как-то реагировать.

— Не извиняйся. Реагируй, пожалуйста, сколько влезет.

— Тебя это оскорбило?

— Нет. Даже понравилось. Это показывает, что я тебе не безразличен.

— Мой плевков мне же на лицо и упал.

— Это называется: пи'сать против ветра.

— Джерри? — Она протянула руку, обняла его обволакивающим жестом, размягченная его мужской лаской

— Угу?

— Как ты думаешь, мы с тобой — развратные?

— В пределах нормы. Я бы сказал: как положено людям.

— Хороший ты. — Она прижала его к себе, подавив желание признаться ему в любви.

А ему все это уже надоело, хотелось спать.

— Спокойной ночи, солнышко.

— Спокойной ночи.

Спали они вместе как-то очень нормально, здорово, а когда вместе бодрствовали, это было похоже на налетающий во сне бред.

Все узнали. На протяжении июля все друзья их узнали. Руфь чувствовала это на волейболе, чувствовала, что эта осведомленность задевает ее: всякий раз, подпрыгнув, рассмеявшись или упав, она чувствовала, как ее накрывает тонкая сеть их осведомленности. Мужчины начали ласково обнимать ее на вечеринках. За все годы жизни в Гринвуде только Ричард отважился пригласить ее на ленч; теперь же за одну неделю она получила два приглашения: одно — на вечеринке, другое — по телефону. Она от обоих отказалась, но обнаружила, что отказ дается ей нелегко. Зачем, собственно, отказываться? Ведь Джерри умолял ее помочь, предать его, бросить. Но она не желала в панике кидаться на шею первому встречному. Впервые она поняла, что без мужчины не останется. Своей опустошенностью, своей невозмутимостью она как раз и привлекала их. Ничего, подождут.

Женщины тоже начали ласково ее обнимать, особенно когда после одного на редкость скверного воскресенья она призналась Линде Коллинз в понедельник за кофе, что они с Джерри переживают очень "тяжелую полосу"; с тех пор мамы на пляже подчеркнута оживленно всем табором приветствовали ее, а потом подходили поодиночке, завязывали беседу, намеренно перемежая фразы долгими паузами в надежде, что она разговорится. Словом, ее приняли в тайное сообщество страдалец. Интересно, думала Руфь, давно ли существует это сообщество и почему до сих пор ее туда не принимали — чего-то, видно, ей не доставало или что-то проявлялось не столь ярко. Она теперь поняла, что Салли всегда была членом этого сообщества. Но Салли нынче редко появлялась на пляже, а когда появлялась, то вокруг каждой из трагических королев этого лета незаметно собирались группки мамаш. Пооткровенничав немного с Линдой, Руфь последовала примеру Салли в этой новой для нее роли и плотно завернулась в мантию скрытности: говорила мало, ничего не отрицала.

Не сказала она ничего и родителям, когда они приехали погостить из Поукипси. При виде отца, благостного, в очках, исполненного сознания своего священнического сана, она вспомнила, как возмущалась когда-то его неизменной показной благостью и той

легкостью, — а с годами это стало проявляться все чаще, — с какою он вносил свою показную благость и в личные дела. Не желает она выслушивать советы, точно какая-нибудь прихожанка, не желает, чтобы на нее смотрели, как на карту “Обманутая Жена”, извлеченную из колоды людских невзгод. Она знала, что он по-своему, не принимая этого близко к сердцу, откликнется на ее зов и даст ей совет не хуже кого другого (не паникуй, предоставь событиям идти своим чередом, держись с достоинством, думай о детях); она чувствовала себя виноватой, так как, отказывая ему в возможности поразглагольствовать (вне семьи его считали умным советчиком, и когда Руфь объявила ему о своей помолвке, он мягко предостерег ее насчет Джерри: “Он кажется мне даже моложе, чем есть”), — она отказывала ему в том единственном, что еще способна была дарить, — в доверии взрослой дочери. Но в свое время он предал ее, причинил ей боль в сумрачных коридорах их приходских домов, подчеркнуто предпочитая мать, опираясь на нее и оставаясь глухим к собственным дочерям. Из странного уважения к их женскому достоинству он переодевался в чуланах, таился от них, придавая своему появлению характер священнодействия. Он наградил ее рефлексом неудачницы, инстинктивным ожиданием беды, и потому, когда Джерри оседлал ее, как мальчишка оседлывает шаткий велосипед, это лишь усилило укоренившуюся в ней замкнутость. И она отослала своего старого папку в Поукипси, не растревожив его чувств.

Руфи ни разу не пришлось в голову рассказать все матери. Ее мать была прирожденная жена. Она пришла бы в ужас.

А вот о том, чтобы обратиться к Ричарду, Руфь подумывала. Этот одноглазый трепач, как ни странно, в общем-то, не подводил ее. Или, вернее, недостатки его проявлялись в тех областях — по части мужества и ясности видения, — где она способна была их восполнить. Но ведь та, другая женщина — ему жена. Руфь видела — по тому, как он моргал, и склабился, и обильно потел на вечеринках, даже когда Джерри и Салли совсем уж нахально себя вели, — что в море жизни Ричард так же потерян, как островок среди водных просторов. Поэтому трудно было предсказать, какая ее ждет реакция, куда кинет этого неустойчивого человека. Последствия могут оказаться опасными и для нее, и это удерживало Руфь от нередко возникавшего импульсивного желания взять знакомую руку и под прикрытием обычно царящей на вечеринках сумятицы увести Ричарда в укромный уголок. Интуитивно она боялась, что он может свалить дурака или хуже того — выставить дураком Джерри, и оберегала себя еще и от этого.

Итак, за неимением иной возможности, она говорила только с Джерри — ее убийца был и единственным ее духовником. Изучая его, привыкая к мысли, что он — любовник другой женщины, она стала уже хладнокровно думать о том, что в первые минуты шока начисто отметала. Да, вполне возможно, что она не любит его, вполне возможно, что она скоро его потеряет. Их сексуальная жизнь заметно улучшилась.

— Я в раю, — сказал ей однажды ночью Джерри. — Я люблю тебя.

Ее реакцией был страх. Последнее время Джерри ведь тщательно избегал говорить ей это.

— В самом деле?

— Мне так кажется. Я же сказал.

— Значит, ты не собираешься уходить от меня?

— Нет, собираюсь, собираюсь. Утром я буду страшно зол на то, что ты такая сладко развратная и заставляешь меня предавать Салли.

— Неужели я развратнее Салли? — спросила она.

— О, значительно. Она очень выдержанная. А с тобой — окунаешься в грязь. В Матушку Грязь. С ней же, — она почувствовала, как он уходит в себя, задумывается, — я как бабочка, опустившаяся на цветок.

— Я этому просто не могу поверить.

— Стебель сгибается, единственная капля росы падает на землю. Плюх.

— Я тебе ни чуточки не верю. По-моему, ты говоришь сейчас обратное тому, что думаешь. Ну почему ты меня оскорбляешь — ведь тебе было так со мной хорошо?

— Да потому, что это сбивает меня с толку. А вообще, Руфь, почему было хорошо? Что с

тобой в последнее время творится?

— Не знаю; наверно, возникает мысль: а почему бы нет? Терять мне нечего. И потом я каждый раз думаю, что это, может быть, в последний раз, и мой эстетический долг — получить подлинное наслаждение.

— Мне грустно это слушать. Неужели ты так убеждена, что я уйду?

Она почувствовала, что он хочет сам себя в этом убедить и тем укрепить свое решение, сделать его неизбежным.

— Нет, не убеждена. Мне кажется, глупо бросать меня теперь, когда я стала куда интереснее в постели.

— Может, я жду, пока ты станешь настолько в себе уверена, что сможешь мигом подцепить другого мужчину.

— Не волнуйся, подцеплю.

— Но каким образом? Просто не могу, себе представить. За кого ты можешь выйти замуж — после меня?

— О... за какого-нибудь идиота.

— Вот именно. За идиота. Совсем тебе не подходящего.

— Тогда не бросай меня.

— Но Ричард не подходит Салли.

— Он — идеальный муж. Они созданы друг для друга. Оставь их в покое.

— Не могу.

— А мне казалось, что можешь.

— Я все думаю. Это такая страшная ответственность, когда ты — единственный мужчина, который подходит всем.

— Наверно.

— Эй! Устрой для меня еще раз рай.

— Нет.

Август. Дни убывали минута за минутой, и сумерки наступали все раньше; растущая свежесть ночей умеряла дневную жару, делала ее более мягкой, менее жалиющей. Глядя из окон кухни на лужайку, где ноги детей до пыльных проплешин вытоптали траву, Руфь думала о том, что этот период ее жизни со временем, когда разрыв с Джерри уже отойдет в далекое прошлое, покажется ей одной короткой минутой. Земля для мертвеца вся ровная, и события ее жизни, даже еще не отошедшие в прошлое, уже казались Руфи погребенными в ретроспективе. Она попала в зыбучие пески. Она упорно доказывала свое — что в повседневной жизни она больше ему подходит как жена, чем та, другая, а сердце Джерри неудержимо ускользало из ее рук, тянулось к этой немыслимой женщине. Часто, звоня ему на работу, Руфь слышала сигнал “занято”. Блеющие гудки были словно стена, которая все придвигалась к ней. Как-то раз она набрала номер Салли и услышала в ответ “занято” — та же стена.

В тот вечер она сказала ему:

— Я набрала ее номер, и тоже было занято.

Он, пританцовывая, сделал шагок вбок.

— А почему бы и нет? У нее есть приятели. И не один. Может, она завела себе еще любовника.

— Скажи мне правду. Это слишком серьезно.

И, к ее ужасу, пожав плечами, он тут же сдался.

— Изволь. Я разговариваю с ней.

— Не правда.

— Ты хочешь знать правду или нет?

— Кто кому звонит?

— Всяко бывает.

— И давно это возобновилось?

Он сделал шагок назад, словно слил обратно в бутылку выплеснувшуюся жидкость.

— Не очень давно. Она выглядела такой несчастной в позапрошлом воскресенье, что я позвонил, чтобы узнать, как там она.

— Ты нарушил наш уговор.

— Твой уговор. Да, в общем-то, и не нарушил. Я не даю ей никаких надежд. Послушай, ведь мы с ней были близки, она была мне другом, я чувствую себя в какой-то мере ответственным за нее. Если бы все было наоборот, интересно, как бы ты вела себя на моем месте.

— Значит, я делаю вывод, что ты все еще интересуешься ею. Ну, и как же она там? Ему, казалось, приятно было рассказать ей, нагромоздить побольше зыбучих песков.

— Не ахти как. Поговаривает о том, чтобы удрать от всех нас.

— С какой стати ей бросать Ричарда?

— Он то и дело бьет ее. Злится, что она мало с ним спит. А она, говорит, не может, потому что все еще любит меня. Она чувствует себя очень виноватой из-за того, что так себя с ним ведет, и не хочет больше причинять тебе боль, вот и решила, что самое лучшее — избавить нас от себя. Не путем самоубийства, конечно. У нее нет этой жажды смерти, как у тебя.

— Хватит, не хочу больше слушать. Да неужели ты не понимаешь, что она берет тебя на испуг? Она отлично могла бы спать с Ричардом, если бы хотела, — занималась же она этим все десять лет.

— О, конечно, ты — такая тонкая и деликатная, а у нее никаких проблем быть не может.

— Ах, отправляйся к ней, отправляйся и увези ее с собой в Аризону или куда там еще ты намерен уехать — в Вайоминг. Да? Если бы ты видел свое лицо, когда ты говоришь о ней, Джерри, ты бы себя возненавидел. Ты бы так хохотал.

— Ты что-то сказала?

— Я сказала: отправляйся к ней, потому что не могу я мириться с этими телефонными звонками. Извини — не могу. Когда я слышу сигнал “занято”, мне кажется, будто перед моим носом захлопнули дверь, у меня так портится настроение, я просто описать не могу. Сегодня утром я пошла на кухню и стала вслух называть по имени детей: Джоанна Чарли Джоффри, Джоанна Чарли Джоффри — снова и снова, не для кого-нибудь — для себя. Только это и удерживает меня от самоубийства.

Он нерешительно шагнул к ней и обнял за плечи.

— Не говори так. Ты должна жить ради себя.

— У меня нет себя. Я отдала все свое “я” восемь лет назад.

— Никто тебя не просил.

— Все просили.

— В таком случае, не слишком-то, видно, сильное было это твое “я”.

Он произнес это ровным, мстительным тоном — да как он смеет злорадствовать! Глубоко оскорбленная, она поклялась:

— В следующий раз, как только застигну вас за разговором, тут же сажусь в машину, еду к Матиасам и уж не посмотрю, дома Ричард или нет. Я серьезно.

Джерри отступил от нее, пожал плечами и сказал:

— Конечно, серьезно, — улыбкой давая понять, что, конечно же, не серьезно. — Но если по твоей милости Салли придется спасать, я вынужден буду это сделать.

— Мне кажется, ты слишком часто машешь перед моим носом этой палкой — уже не действует. Мне нечего терять, а так я чувствую, что теряю рассудок.

— Не говори глупостей. Мы все рассчитываем на твое здравомыслие. — Джерри вечно говорит подобные вещи — комплименты, ранящие, как оскорбление; он ловит в сети ее разум, и она всякий раз ломает голову над тем, что он хотел сказать. А он далеко не всегда имеет в виду противоположное тому, что сказал. В данном случае она подозревала, что он сказал правду: все они в своем безумии, увлечении и самообмане рассчитывали на то, что ее вялое, посрамленное здравомыслие удержит их от катастрофы. Ну, а ей это надоело.

В следующий раз, когда она позвонила Джерри и услышала “занято”, а потом набрала номер Салли и услышала то же самое, был обычный рабочий день, часы показывали четверть одиннадцатого, и дети играли где-то неподалеку. Руфь позвонила одной молоденькой девушке, чтобы попросить ее посидеть с детьми, но та оказалась на пляже.

Тогда она позвонила миссис О. — та сидела с детьми Линды Коллинз, которая уехала в город за покупками. А мисс Мэрдок, хоть и сущее страшилище, отправилась в парикмахерскую. Тут пошел дождь, и Руфь, глядя, как сочатся капли сквозь листву вяза, немного поостыла. Не надо обращать внимания, решила она. Ни на что не надо обращать внимания.

Но внезапно разразившаяся летняя гроза вернула девушку с пляжа, и та, узнав, что Руфь разыскивала ее, позвонила. Руфь попросила девушку прийти после ленча. Зачем? Ярость ее уже поостыла. Ехать в таком настроении — значит, предстать перед Салли в смятенном, глупом виде. Может быть, лучше сначала поговорить с Ричардом. Туманно, никого не выдавая, и, однако же, получить совет, зарядиться мудростью. У него в Кэннонпорте была контора — над первым отцовским винным магазином; Руфь бывала там, они даже занимались любовью на скользком диване, обитом искусственной кожей, под гравюрой, изображавшей диких уток в полете, в то время как секретарша агента по недвижимости стучала за стеной на машинке, а где-то неподалеку шипели и постукивали машины химической чистки. Руфи нравились эти посторонние шумы; ей нравилось лежать нагой за дверью из матового стекла, запертой изнутри. До Кэннонпорта ехать минут двадцать — пятнадцать, если гнать машину. Она надела юбку из легкой полосатой ткани и скромную блузку, чтобы прилично выглядеть в Кэннонпорте и в то же время не показаться разряженной, если она все же решит потом поехать к Салли.

“Фолкон” в ее руках вел себя легкомысленно, разрезая носом сырой после грозы, но уже пронизанный тусклым солнцем воздух. Вдоль дороги стояли интенсивно зеленые деревья — она уже видела такие на картине Моне или, может быть, Писсаро? А желтовато-розовые пятна на стволах берез были совсем как у Сезанна. В том месте, где ей следовало бы замедлить ход и свернуть на дорогу, ведущую вверх, к дому Салли, Руфь, наоборот, нажала на акселератор. Шоссе на Кэннонпорт с алчным шуршанием стачивало ее шины. Перед ней — одна за другой — возникали картины, побуждавшие ее повернуть назад, в Гринвуд. Запыленный, цвета хаки, стол Ричарда — он ведь такой ленивый, этот Ричард, едва ли она застанет его в конторе. А вдруг... она представила себе их обнаженные тела на диване — нет, невозможно, и все же какая другая мысль может прийти ему в голову? Круглые, хрупкие головки ее детей — они, наверно, недоумевают, почему она уехала, оставив их одних в доме, запертом дождем. Ее отец, устало втискивающий плечи в пальто, уткнувшись подбородком в шарф, и отправляющийся на один из своих межрасовых митингов: “Смотри на вещи реально”. Она свернула влево на проселок, который выведет ее на Садовую дорогу, чтобы кружным путем вернуться в Гринвуд — к детям, к Джерри и к Салли. Руфь решила осуществить свой первоначальный замысел и снова встретиться с Салли — в это время дня они вместо кофе будут пить вермут, и это, пожалуй, поможет. Несколько миль, которые она проехала было к Ричарду, — позорная трата времени, ошибка, которую следует побыстрее исправить; она мчалась так, точно Салли ждала ее. Правда, потом оказалось, что она вряд ли делала больше сорока миль в час.

На “восьмерке”, сразу за рекламным щитом “Ротари-Лайонс-Киваниз”, приветствовавшим всех въезжавших в Гринвуд, Руфь занесло: чуть не каждый месяц здесь случалась авария. И дело не только в том, что городская дорожная команда использовала для ремонта масло, от которого покрытие становилось скользким после дождя, но и само покрытие было сделано со скатом не в ту сторону. Можно было бы спрямить дорогу, что неоднократно предлагалось, но тогда пришлось бы отрезать небольшой угол от имения Ван-Хьютенов, которое вот уже полтора века не меняло границ, и нынешний мистер Ван-Хьютен, любезный, весьма патриотичный, давно разведенный семидесятилетний джентльмен с черными как смоль волосами и при всех передних зубах, решительно противился какому-либо посягательству на его собственность. Поскольку Руфь принимала активное участие в деятельности группы горожан, которая два года тому назад помогла мистеру Ван-Хьютену отразить попытки установить на его территории столбы электропередачи, она не могла порицать его теперь, даже когда смерть возникла перед нею.

“Фолкон”, точно яхта, у которой подняли опускной киль, слегка подпрыгнул и заскользил влево. Руфь резко вывернула руль вправо и с удивлением обнаружила, что машина ее не слушается, — вот такое же было бы, наверно, у нее ощущение, если б она смотрелась в зеркало, а оно вдруг стало прозрачным. Затем где-то в конце этой бесконечно долгой минуты машина все-таки повиновалась ее попытке справиться с ситуацией, но невероятно исказив приказ: тяжело крутанулась на пол-оборота вправо, и Руфь, не успев затормозить, увидела, что сейчас перелетит через низкую каменную стену. Стена эта отделяла дорогу от лощины, поросшей деревьями: буками, красными кленами, лировидными дубами. Автомобиль мягко подпрыгнул, перемахнул через стену и покатился под откос, врезаясь в гибкую колючую зелень, среди которой торчали прямые стволы деревьев. Сначала Руфь пыталась вести машину между стволами; когда же их стало безнадежно много, она рухнула лицом вниз на сиденье и закрыла глаза. Машина ткнулась во что-то и встала. Руфь поискала на полу сигарету, которую курила до того, как все началось. Сигарета исчезла. Где-то совсем рядом чирикала птичка — необычно громко. Руфь открыла сопротивляющуюся дверцу машины и вышла, тщательно закрыв ее за собой. Дождь перестал, оставив после себя лишь колеблемую ветром сырость. Из хвоста машины валил сине-бурый дым; переднее колесо со стороны водителя было вывернуто под немыслимым углом — Руфь вспомнила о ключице Джоффри. В зеленой влажной тишине оскорбленно тикал мотор; автомобиль ведь может вот-вот взорваться, подумала Руфь, не мешало бы вытащить из него сумочку. Там у нее водительские права. Открыв снова дверцу и потянувшись через переднее сиденье за сумочкой, Руфь только тут заметила — по ласковому прикосновению воздуха к руке и удивительной четкости, с какою она увидела листья, — что переднее стекло разбито. Вдребезги. Оставшиеся в раме острые куски были покрыты кружевом трещинок, а все переднее сиденье усыпано осколками, точно светлыми шершавыми конфетти. Дотронувшись до волос, Руфь обнаружила, что и там застряли осколки. В сумочке, которая, разинув пасть, лежала на сиденье, тоже оказалось полно битого стекла. Руфь сначала хотела вытряхнуть его, но потом решила, что не стоит — все-таки своего рода доказательство. Она вынула из сумочки кошелек, смахнула стекло с кожи и проверила, прямо ли стоит ключ зажигания. Хваля себя за присутствие духа, она пошла прочь от машины. Мокрые ветки задевали ее. Каждый листик со своими прожилками, каждый сучочек, казалось, застыл в ярко освещенной, несколько искусственной атмосфере, словно в глубине стереоскопа, — необычно свежий и чистый; однако по стремительному свисту шин, с каким по мокрой дороге за стеной промчалась машина, невидимая и невидящая, Руфь поняла, что она еще не умерла и не находится в раю.

Она подозревала, что нарушила границу чужой собственности: надо побыстрее выбираться из драгоценных владений Ван-Хьютена. Она повредила его стену и его деревья. Лес кружился вокруг нее, не двигаясь с места, как кружится нарисованный на крыше карусели пейзаж. Она сделала еще несколько шагов в своих промокших туфлях на высоком каблуке, не привыкших шагать по земле, поросшей папоротником. Раз она может идти, значит, решила Руфь, кости у нее целы. Она посмотрела вниз, разгладила перед легкой полосатой юбки и увидела, что оба колена у нее разодраны: она понятия не имела, как это случилось. Крови было немного, но Руфь обрадовалась не это, а то, что она без чулок, иначе они бы порвались. У нее онемело правое запястье. Она стала осматривать руки, и чем дольше держала их перед глазами, тем сильнее они дрожали. Позади стук мотора смешивался со стуком падавших с деревьев капель и с вопросительным, бесконечно повторяющимся криком птицы. Руфь распрямилась и глубоко вдохнула воздух — тонкий волосок измороси щекотнул ей лицо. Хотела было помолиться, но от волнения перезабыла все слова. Ухватившись за низкую ветку, она стала карабкаться вверх по склону. Спрессованная палая листва превратилась в скользкую мульчу — ее тонкие высокие каблуки уходили в мох, как в мокрую губку. Поравнявшись с дорогой, она обнаружила место, где в стене была выбоина, и с помощью замшелого сука сумела перелезть через нее. Наконец она очутилась в целостности и сохранности на твердой земле, оглянулась и пришла в восторг, — пришла в восторг и

одновременно огорчилась при виде машины — ее свободы, ее стосильного “фолкона”, нелепо и покорно стоявшего в глухой лесистой лощине. Совсем как у Анри Руссо: педантично выписанная листва, застывший в благодати воздух, чудище, мирно и самозабвенно пасущееся среди папоротников и высоких трав. Руфь буквально услышала хохот Джерри, и в голове ее возникла робкая мысль, что он, возможно, будет даже гордиться ею, гордиться тем, что у нее хватило духу пройти через эдакое испытание и выжить, а значит, она столь же безрассудна, такое же чудо, как Салли.

Пока Руфь стояла у края дороги, три машины проехали мимо. Пассажиры одной из них — “универсала” — возмущенно посмотрели на нее, когда она замахала рукой. Должно быть, приняли за искательницу приключений. Зато грузовик, ехавший в Гринвуд, остановился, и, увидев ее разодранные колени и растрепанные волосы, а также поврежденную стену, те двое сразу все поняли. Они повезли ее в полицейский участок. Она сидела в кабине высоко над землей между двумя мужчинами, а они, нимало не стесняясь ее, продолжали обсуждать скандал с городским управляющим, который во что бы то ни стало, вопреки проекту, хотел провести канализацию сначала на своей улице. Грузовик пыхтел и погромыхивал, будя воспоминания: много лет тому назад летом, перед тем как поступить в художественную школу, Руфь встречалась с юношей, который водил в деревне грузовичок. У Билли были торчащие уши, красивый торс — он часто работал без рубашки — и весьма скромное честолюбие, что раздражало ее отца. Билли по-своему любил ее — спокойно, славно. Все у них было славно — и ласки и молчание, — и он с добродушной безнадежностью смотрел на возможность совместного будущего: она далеко “обскачет” его. Ей хотелось ему возражать, но, пожалуй, не стоило слишком навязываться, да и вообще было уже поздно: лето подходило к концу. Сейчас, раскачиваясь в кабине грузовика так, что тело ее касалось то одного, то другого из этих двух уже немолодых, крепких людей, не слишком затруднявших себя размышлениями, приемлющих все, как есть, — Руфь почувствовала такой душевный подъем, какого не испытывала на протяжении многих недель. Надо обо всем рассказать Джерри.

В полицейском участке высокий блондин выслушал ее заявление. Руфь немного знала его — у него была польская фамилия, и зимой, стоя на перекрестке у школы в высокой меховой шапке, с черными нахлобучками на ушах, он выглядел, как принц в изгнании. До сих пор она еще никогда не общалась с ним. Она принялась объяснять:

— Я ехала вроде бы очень спокойно, как вдруг машине пришло в голову свернуть с дороги и перескочить через стену.

Окна были распахнуты навстречу солнцу, которое вернулось на небо, продлевая день, и полицейский медленно-медленно записывал ее показания, вдавливая шариковую ручку в бумагу. Руфь описала, как ее занесло сначала туда, потом сюда, как она мягко перелетела через стену и как, казалось ей, искусно вела машину между хитросплетениями деревьев, пока та сама не остановилась. Она не помнила, чтобы включала тормоза. Должно быть, она тогда подумала, что это ничего не даст: ведь правда, бесполезно тормозить, когда машину заносит? Она вылезла из автомобиля — все волосы оказались в осколках. Из-под машины шел дым, поэтому она проверила, выключено ли зажигание. Переднее колесо так вывернулось, что нечего было и думать вывести машину задним ходом, иначе она бы попыталась. Полицейский спросил, с какой скоростью она ехала. Должно быть, около сорока миль в час — едва ли быстрее.

— Поскольку на этой “восьмерке” предельная скорость — тридцать пять, — сказал он, продолжая медленно писать, — давайте скажем, что вы ехали со скоростью тридцать пять.

Изыщество этого откровенного маневра поразило ее. Все лето она сражалась с несоответствиями — например, между дозволенной скоростью и реальной, с какой она ехала, и вот этот польский принц показал ей, как уничтожить это несоответствие и приблизить реальность к идеалу. Бормоча слова благодарности, она покраснела — почувствовала, как стало жарко не только лицу, но горлу, груди, бедрам. Полицейский сказал, что вызовет аварийную бригаду, пока она будет звонить мужу.

— Но муж сейчас на работе в Нью-Йорке. А я могу и пешком дойти до дома. Тут меньше

мили.

— Нет, — сказал молодой полицейский столь же непреложно, как непреложно меняются огни светофора.

— Да я же в полном порядке, — настаивала она, хоть и понимала: а он будет уверять, что она не в порядке.

— Вы сейчас в шоковом состоянии, — сказал он ей. — А есть кто-нибудь в городе, кому вы могли бы позвонить и попросить приехать за вами? Какая-нибудь подруга?

У меня нет подруги — Руфь почувствовала, что он будет шокирован, если она произнесет это вслух. И она сказала:

— Да, есть один человек. Я только не уверена, смогу ли до него добраться.

Но она сразу дозвонилась до Ричарда по кэбпортскому номеру. Он терпеливо ждал, когда она сама положит конец молчанию.

— Дик? Привет. Это я. Руфь. Довольно неприятная получилась история: дело в том, что машина моя съехала с дороги, а Джерри — в Нью-Йорке, и меня не отпускают из полицейского участка, пока кто-нибудь не приедет за мной. Говорят, что я — в шоке.

— Небольшом шоке, — поправил полицейский.

— Руфи-детка! — сказал Ричард. — Это фантастика — слышать твой голос. Я просто потрясен.

— Не надо, — сказала она, — все весьма прозаично. Ты свободен или занят с моей приемницей?

Она понимала, что полицейский слушает, однако не думала о том, что говорит, словно, перелетев через стену Ван-Хьютена, вступила в зеленый мир свободы.

— Никаких приемниц, никаких приемниц, — тем временем говорил Ричард тоном занятого дельца, так раздражавшим ее своей нарочитостью. — Тебя гринвудские фараоны зацапали, да? Сейчас приеду.

— Это очень мило с твоей стороны. Через двадцать минут?

— Через десять.

— Не спеши. Прошу тебя. Хватит и одной аварии за день.

— Слушай. Я знаю эту дорогу не хуже твоей задницы.

Сама напросилась, подумала Руфь, вешая трубку. Зачем она решила звонить ему?

Должно быть, со злости. И она пожалела, что не Джерри и не Салли, а именно Ричард оказался ее жертвой. Но ведь мы выбираем себе жертвы, с которыми можем справиться, которые нам по плечу. И такая ли уж это большая жертва, если бывший любовник по ее просьбе проедет восемь миль, чтобы потом еще одну милю проделать вместе с ней?

Полицейский предложил ей кофе в бумажном стаканчике и сказал, что ему уже позвонили из аварийной бригады: они смогут вытащить ее машину только завтра. В углу затрещало полицейское радио, и, вооружившись листами бумаги, все повернулись к нему; она почувствовала, что исчезла из сферы их внимания. Ей приятно было погрузиться в пустоту. Слава Богу, за стенами ее дома есть мир, где людям платят за то, чтобы они заботились о ней — правда, не слишком рьяно. Не забыть бы рассказать Джерри, как ей было хорошо в полицейском участке.

Ричард вошел и объявил дежурному за столиком:

— Я явился забрать вашу арестантку.

— Мистер Конант? — без улыбки спросил полицейский.

— Матиас, — сказал Ричард. — Временный заместитель. Как она?

— Она на редкость удачливая молодая дама, — сообщил ему полицейский. А Руфи сказал:

— Аварийка осмотрела вашу машину, они говорят, что вы больше не сможете на ней ездить. Вы ее угробили.

Ричард попытался в тон полицейскому настроиться на серьезный лад и спросил:

— Не отвезти ли ее к доктору?

— Я на вашем месте так бы и сделал.

— Не говорите ерунды, — возмутилась Руфь, видимо, от того, что полицейский переметнулся на другую сторону. Его царственное спокойствие превратилось в назидательную глупость; он протянул ей протокол об аварии. "Приблизительно в 1.45

дня... темно-синий “универсал” с четырьмя дверцами марки “форд”, который вела миссис Джеральд Конант из... со скоростью 35 миль в час... на первый взгляд, получила лишь незначительные царапины... машина разбита”. Почерк был небрежный. Руфь подписала бумагу и вышла с Ричардом. Она уже забыла, что он намного крупнее Джерри. К собственному удивлению, она взяла его под руку.

— Что с тобой? — спросил он, садясь за руль своего любимого старенького “мерседеса”. Забыла Руфь и эту его жалостную голову трусливого льва, и то, как западает у него верхняя губа и как выпирает нижняя.

— А что? — С горлом у Руфи происходило что-то странное: его словно затянуло серебряной паутиной, как и глазные впадины, и виски, и все пустоты ее черепной коробки.

Рот у Ричарда нетерпеливо дернулся.

— Тебе, видно, моча в голову ударила, Руфи-детка.

— Авария могла случиться с кем угодно. Дорога...

— Плевал я на аварию. Ты все лето в сплошной истерике. Ведешь себя, как затравленная во время охоты на ведьм. Джерри, что, снова тебя донимает, потому что ты не можешь прогнать огородное чучело, которого он боится?

— Нет, Джерри теперь почти не говорит о смерти.

— Значит, в доме тишь да гладь.

— Не совсем. А в твоём?

Он не понял намека. Бельмо на его глазу казалось в профиль нашлепкой.

— О'кей, — мрачно сказал он. — Не хочешь говорить — не надо. Пошла ты...

— Я хочу говорить, Ричард. Но...

— Но вдруг до жены того, другого, дойдет, если ты проболтаешься мне, так?

— Чьей жены? Какого другого?

— Невесты, дамы сердца, временной подружки, femme note 20, или кем там она еще приходится моему преемнику. Снова решила поиграть в эту игру — кирикет? Ну, а счастливый пес — это Дэвид Коллинз? Он выглядит таким бодрячком на волли-болли. Господи, Руфи, когда же ты, наконец, отчалишь и сменишь этого своего психопата-кровососа, этого полумужика, с которым ты связалась? Ты же сжираешь себя по кусочкам. Идешь по протоптанной старым графом Ма-зохом дорожке — ать-два-три.

— Ну и занесло тебя, Ричард. Я, конечно, польщена, но все это ты напридумывал — никакого романа у меня нет. И я не считаю Джерри полумужиком. Может, я сама полубаба.

— Ты — баба на все сто пятьдесят, если память мне не изменяет. Ну, ладно, о'кей. Я — тронутый. Тупоголовый болван. Черт со мной. Но и черт с тобой. Что я тебе — таксист, которого вызывают раз в год?

— Куда ты едешь?

Он вез ее за город, в лес, к комариной дорожке, к пруду, над которым, застыв, стоял так ничего и не выловивший рыболов. Паутина в голове у Руфи прорвалась, и она заплакала — слезы потекли стремительным потоком, ее трясло, хотелось кричать. Ей все виделось те деревья, проплывавшие мимо. Слезы вперемежку со словами текли и текли.

— Нет, вези меня домой. Привези в мой дом и оставь. Я же об этом тебя просила, ты же обещал, не хочу я объятий, не хочу душещипательных разговоров, я хочу, Ричард, домой и хочу умереть. Прошу тебя. Извини. Я не могу. Ты так прав и так не прав, это меня просто убивает. В самом деле убивает. Ты — единственный, с кем я могла бы говорить, и ты самый неподходящий для этого человек. Прости меня. Мне это нравилось. Право, нравилось. Дело не в тебе. Ты мне нравишься, Ричард. Не надувай так глупо и обиженно губы. Дело не в тебе. Просто — так вышло!

— Успокойся, успокойся, — говорил он, перепугавшись, стараясь развернуться на узкой аллее, где кто-то разрисовал камни, а на лужайке посадил семейство пластмассовых уток.

— Не могу я начать все сначала, не могу я вернуться к тому, что между нами было, пойми. И прости меня за то, что я тебя вызвала: я не подумала. Надо было мне позвонить Линде.

С тобой мне было так славно. Ты почему-то черт-те какой славный. Чудесный.

— Держись фактов, — сказал он, корча гримасу от усилий, которых требовало от него управление машиной. — Я уже все понял.

— Ничего ты не понял, — сказала ему Руфь. — Это-то меня и убивает.

Он высадил ее под вязом.

— Ты уверена, что тебе не нужен врач? Ведь и до сотрясения мозга недолго.

Стоя у машины, она просунула голову внутрь и поцеловала его в губы. Он хорошо целовался — крепко, но не так жадно, как Джерри. Слезы у Руфи высохли, голова стала яснее.

— Ты действительно славный, — сказала она Ричарду и, поддавшись своей излишней любви к правде, добавила:

— Как ни странно.

— Ну и ну, — сказал он. — Спасибо. Так вот: я в твоём распоряжении. Позвони, когда у тебя в следующий раз произойдет авария.

— Ты узнаешь первым, — сказала она ему.

Номер освободился: она поймала Джерри на работе и рассказала ему об аварии, в легких тонах обрисовав случившееся. Он вернулся домой на полчаса раньше обычного: ему хотелось до ужина посмотреть на то, что осталось от автомобиля. Он повез ее по Садовой дороге; камни на обочине, навесы над дверьми, лужайки, дети, деревья мелькали и сливались от скорости, и Руфь взмолилась:

— Не надо так гнать.

— Я делаю всего тридцать миль.

— А кажется, что быстрее.

— Хочешь сама сесть за руль?

— Нет, спасибо.

— Я спросил вообще. Как ты считаешь, ты не потеряла уверенности в себе?

— Не думаю. И все же мне как-то дико снова сидеть в машине.

— Каким образом ты добралась от полицейского участка до дома?

— Полисмен подвез.

— А как насчет доктора? У тебя внутри все в порядке? Тебя сильно болтало?

— Я съехала как-то очень гладко и легко. Только от испуга не нажала на тормоз. Мне это в голову не пришло.

— А куда ты вообще ехала?

Она описала свое смятение, панику, как у него был бесконечно занят телефон, как она искала женщин, которые могли бы посидеть с детьми, как проехала мимо дороги к Салли и как в испуге повернула назад. Ричарда она опустила. Она снова принялась рассказывать — в строгой последовательности, точно просматривая кадры киноленты: автомобиль занесло в одну сторону, потом в другую, стена, застывшие деревья, райская красота и интенсивная зелень мокрого леса, когда она вылезла из остановившейся, окутанной дымом машины. Она снова и снова прокручивала эту киноленту, и с каждым разом все гуще становились краски, а сейчас они призрачно слились с реальностью, словно она прокрутила ленту назад и начало соединилось с концом, когда они с Джерри подъехали к месту происшествия с другой стороны. Он остановил машину на обочине, вышел и направился через дорогу. Она сказала, что не хочет смотреть: посидит в машине. Он поднял брови, и она тотчас изменила решение. Он ждет от нее здравых поступков. Они вместе пересекли асфальт. Это следы ее шин? Трудно сказать — их так много. А вот здесь, где две прерванные колеи врезались в мягкую землю обочины и с полдюжины камней осыпалось со стены, — здесь она скатилась вниз. Со ствола гикори, довольно высоко, была содрана кора, а чуть подальше пригнулся к земле ободранный молоденький кленок. Машина налетела на него, попыталась взобраться и прижала к земле. Воспоминания Руфи о плавном спуске вниз никак не вязались с этими жестокими ранами. В роще и другие деревья были ободраны, а колеи от колес выглядели следами гигантских пальцев, соскребших с мягкой почвы палую листву и молодой папоротник. Джерри был поражен тем, что машина проехала такой большой кусок между деревьями и

остановилась сама собой, не выдержав сражения с грязью и лесной порослью.

— Ты тут проделала добрых сто футов.

— Все мне казалось тогда каким-то абстрактным. — Быть может, подумала Руфь, он намекает на то, что она должна гордиться собой, Джерри спустился к машине, открыл дверцу, достал из отделения для перчаток карты и регистрационные документы, а с заднего сиденья — полотенца и детские игрушки. Усмехаясь, пошел вокруг машины и вдруг расхохотался, зайдя за нее, — там, где Руфи не было его видно. Потом перемахнул через стену и, вернувшись, сказал:

— Вся правая сторона вмята. Как будто жестянка.

— А можно ее выровнять?

— Машине — крышка. Если погнута рама, самое верное — идти получать страховку. Ее уже не выпрямишь.

— Бедненькая моя старушка. — Руфь нутром ощутила, как гнется металл, и что-то похожее на горе шевельнулось в ней. — Все-таки бессердечно бросать ее здесь.

— Аварийка приедет и оттащит ее. Поехали. Садись же. — Из его старенького “меркурия” со складным верхом вдруг пахло запахом Салли. Руфь встала как вкопанная. —

Поехали, — сказал он. — У нас ведь дома дети.

— Тебе давно пора бы об этом вспомнить, — сказала она, скользнув на сиденье.

— Я никогда и не забывал. А ты? Если бы ты думала о детях, ты бы не устраивала трюки на автомобилях, гоняя по округе. — Он резко включил зажигание — “запалил резину”, по выражению мальчишек. Это было уже гадко с его стороны.

Она сказала, твердо решив держаться спокойно:

— Это ведь была авария.

— Это был трюк, — сказал Джерри. — Преднамеренный трюк. Жена, обуреваемая огромной, великой жаждой смерти, бросает смерти вызов. Ты даже не затормозила.

— Я считала, что, когда машину заносит, нельзя тормозить. Мне казалось, куда важнее рулить.

— Рулить! Но руль ведь тебя не слушался — как же, черт возьми, ты могла рулить?

— Мне казалось, что я рулила. А потом вдруг почувствовала, что больше не могу, — тогда я уткнулась лицом в сиденье.

— Значит, вот так ты разрешаешь проблемы, да? Уткнуться лицом в сиденье и ждать — авось как-нибудь образуется. И самое возмутительное, что ведь так и выходит. Любого другого, врежся он в этот лес, тут же бы убило.

Она сидела, застыв от испуга, рядом с этим разозленным, стремительно гнавшим машину человеком, и ужасная правда разрасталась перед ее глазами, пока от созерцания ее Руфь не ощутила внутри пустоту. Снова раздвинулись облака зелени; она мягко скользила сквозь строй стволов. Вот машина ткнулась в один из них и встала. Она вылезла, и бодрящий воздух коснулся ее, приласкал. С ней случилась авария. А Джерри этого ждал. Он молился, чтобы это произошло. И молитва его была услышана, но какой это обернулось издевкой: пострадала-то лишь машина. Руфь вспомнила, с какой усмешкой он разглядывал покореженный автомобиль.

— Ты злишься, — сказала она, тщательно опробуя каждое слово, будто подгнившие перекладыны лестницы, — что со мной этого не произошло.

— Что тебя не убило?

— Да.

Он подумал.

— Нет, не совсем так. Я, наверное, ждал, что Бог как-то явит свою волю, вот он ее и явил. Дал понять, что ничего не случится. Если мы сами — ты и я — не сделаем так, чтобы случилось.

— Да ты понимаешь, что говоришь! Ты же говоришь, что хочешь моей смерти.

— Разве? — Он спокойно улыбнулся. — Это, конечно же, твоя фантазия. — Улыбка сошла с его лица, и он, насупясь, похлопал ее по ноге. — А ты хочешь, чтобы что-то случилось?

— Нет.

— Тогда успокойся. Ты — вечна. Ничего с тобой не случится.

На другой день после аварии Салли, с застывшей улыбкой и бегающими глазами, подошла на пляже к Руфи и сказала, как она рада, что Руфь не пострадала. Руфь поверила ей, а потом пожалела, что от неожиданности лишь кивнула в ответ. Она старалась солнцем выжечь из себя память об аварии — эту боль в коленях и плечах (от того, что она бессознательно изо всей силы вцепилась в руль?) и это мелькание, ощущение скольжения, полета, которое охватывало ее, стоило ей закрыть глаза. Лицо Салли, неестественно окрашенное в слепящих лучах солнца, как на картинах Боннара — пурпурные губы, пепельно-серые волосы, — словно бледное феерическое видение вторглось в безоблачную синеву, которой Руфь всецело отдалась. “Руфь, я слышала про твою аварию и просто хотела сказать, что я рада, что ты не пострадала. Правда”. Салли повернулась и пошла прочь — со спины она казалась такой худой: сзади на ляжках кожа набегала морщинками. Когда они только переехали в Гринвуд и были моложе, тело у Салли было гладкое, как у манекенщицы, не тело, а машина. Ее желтое бикини все удалялось и, наконец, слилось с пляжной публикой, издали похожей на прендергастовские мазки note 21 . На другой день Салли, как выяснилось, посадила своих троих детей на самолет и улетела во Флориду, где у ее брата и его второй жены был дом в краю апельсиновых садов, возле Лейк-Уэльса. Руфь узнала об этом от Джерри, который, как выяснилось, и подвигнул Салли на отъезд.

— Но почему?

— Чувствовать себя связанной по рукам и ногам становилось для нее невыносимо.

— Чем связанной? И что, собственно, имеется под этим в виду?

— Человек связан по рукам и ногам, когда у него нет выбора. Жизнь связывает нас по рукам и ногам. Человек не может жить дальше и не может умереть. Я не могу жениться на Салли, я не могу жить без нее. Ты не знаешь, что значит быть связанным по рукам и ногам, потому что невозможное тебя не интересует. Ты просто этого не видишь.

— Ну, ты, например, кажешься мне сейчас совершенно невозможным. Какое право, да, какое, собственно, право имел ты посылать ее во Флориду на деньги Ричарда?

Джерри расхохотался.

— Значит, все дело в деньгах этого мерзавца, да?

— Джерри, ты болен. Почему ты так ненавидишь Ричарда?

— Потому что он атеист, как и все вокруг, и все вы стараетесь вогнать меня в гроб. — С отъездом Салли он как-то неприятно распоясался; Руфь почувствовала, что он ожесточает себя для решительного шага.

— А что эта поездка во Флориду должна доказать? — спросила она. — Ты полетишь за ней следом?

— Смотри-ка, мне это никогда бы в голову не пришло. А ведь я никогда не был во Флориде.

— Не смеди.

— Апельсиновые деревья цветут, кажется, именно в сентябре?

— Если ты уедешь, твоей ноги в этом доме больше не будет.

— Ну как могу я уехать? Будь же разумна. Она уехала отдохнуть — от Ричарда, от меня, от тебя, от всего. Она совсем без сил. Ничего более жестокого ты придумать не могла, как просить ее переждать это лето. Мы убиваем ее — ты, и я, и этот, как-там-его. Она живет на лекарствах, она дошла до отчаяния.

— Живет на лекарствах — подумаешь! Любой женщине ничего не стоит довести себя до отчаяния, только бы этим чего-то добиться. Просто она хочет удрать с тобой.

Он задумался над такой возможностью, и черты его лица стали острее, резче — таким он нарисовал бы себя: Руфь помнила эту его манеру еще с той поры, когда, сидя за соседними мольбертами, они сосредоточенно переносили на бумагу одну и ту же модель.

— Не думаю, что это надо так делать, — сказал он сейчас. — А уж если делать, то надо сначала обсудить все с адвокатами, а потом — суд о разделе прав, и огорченные родители, и рыдающие дети, и весь фейерверк. А каково будет нашим детям, если я вдруг исчезну с миссис Матиас, Бобби, Питером и крошкой Теодорой? Ужасные дети — все трое как две капли воды похожи на Ричарда. Чудовища, а не дети.

— Прекрати, — сказала ему Руфь. — Не жалуйся мне на то, что у Салли дети — от мужа, а не от тебя.

— Ну, ты грандиозна, — сказал он, — у всех проблемы, кроме тебя. А у тебя — никаких, верно? Мы с бедняжкой Салли висим часами на телефоне, обсуждаем, каково будет бедной старушке Руфи, когда она останется одна со всеми своими детьми, а ты, оказывается, живешь себе припеваючи и никакущих у тебя проблем, так? Как это у тебя получается, детка? Разбиваешь машину, чтобы немного встряхнуться, а то уж очень выдался унылый день, и — ни единой царапины. Твой мир рушится, а ты лежишь себе на этом чертовом пляже все лето, счастливая, как моллюск. Этот твой древний, единый и неделимый Бог, должно быть, — настоящий огурчик.

— Я ведь не просто иудейка, но и христианка, как и ты, — сказала Руфь.

Дети, особенно Чарли, начали нервничать. Раньше после работы Джерри играл с мальчиками в кетч на заднем дворе или вез всех троих к Хорнунгам на вечернее купание в бассейне, а теперь он сидел дома и смотрел в пустоту, пил джин с тоником и слушал пластинки Рэя Чарльза или говорил с Руфью, пытаюсь — уже довольно вяло — так повернуть разговор и направление мыслей, чтобы найти выход из создавшейся ситуации и облегчить душу. Во время еды глаза его то и дело теряли фокус — перед ним возникала Салли. Дни шли, прошла неделя, потом десять дней, а ни Джерри, ни Ричард не знали, когда она вернется. Яркая птица с заморским оперением, она улетела в тропики; оттуда, далекая, но незабываемая, она пела им, и сигнал “занято” в служебном телефоне Джерри был ее песней. Руфь бесилась, отчаивалась, а в промежутках жалела Джерри — они совсем “разодрали” его на части. Пятнышки на его радужной оболочке казались острыми закорючками, и на улице он держал голову под каким-то странным углом, будто прислушивался к некоему сигналу, или, словно Исаак, ждал удара с небес.

— Пожалуйста, решай, — молила его Руфь. — Мы все выживем — поступай, как хочешь, и перестань думать о нас.

— Не могу, — говорил он. — То, чего я хочу, слишком многих затрагивает. Это как уравнение с одними переменными величинами. Я не могу его решить. Не могу. Она плачет по телефону. Не хочет плакать. Она такая смешная и так мужественно держится. Говорит — там сто десять градусов note 22, и ее невестка ходит совсем голая.

— Когда же Салли возвращается?

— Боится, что скоро. Она со своими детьми заполонила весь дом, и гостеприимство хозяев быстро иссякает.

— Она сказала им, почему приехала?

— Не совсем. Только призналась, что несчастлива с Ричардом, а брат сказал — не говори глупостей и не разыгрывай из себя балованного ребенка. Ричард заботится о ней, и потом, у нее есть долг перед детьми. — Что правда.

— Почему, собственно, правда? Ну, как он о ней заботится? Отправил в дорогу, а денег дал — едва на самолет хватило.

— Ты посылал ей деньги? — У Руфи подкосились ноги при мысли о том, что Джерри растрачивает деньги, отложенные на образование детей, эта дорогостоящая женщина не только залезла в их постель, но теперь еще и в их банковский счет.

— Нет, наверно, мне следует послать туда себя. Но я не могу. Мне все время хочется к ней поехать, и никак не получается — то одно, то другое: то у Джоанны фортепьянный концерт, то Коллинзы позваны на ужин или надо идти к этому чертову зубному врачу. Господи, это ужасно. Ужасно говорить с ней. Поговорила бы ты, раз тебя это так трогает.

— Охотно. Соедини меня с ней. Я вдруг поняла, что у меня есть что сказать этой женщине.

— Она ведь и во Флориду-то уехала, чтобы тебя не мучить. Она очень переживала твою аварию.

— А по-моему, ты говорил, она уехала в надежде, что ты последуешь за ней.

— По-видимому, она думала и о том и о другом. Она совсем запуталась.

— Ну, не одна она.

Когда Руфь бодрствовала, она сознательно занимала себя заботой о детях и о доме, зато сны ее стали необычно жестоки. Насилия, ампутации, сумасшедшая скорость

впережку со сценами и лицами из далеких уголков ее жизни. Однажды ей приснилось, что она едет в Вермонте по дороге на дачу, которую они там снимали. Судя по всему, это была та часть дороги, что шла под заброшенной лесопилкой, где были особенно глубокие колеи, потому что солнце не пробивало нависавшей листвы и не могло высушить грязь. Она ехала с кем-то наперегонки. Впереди в шатком открытом черном кабриолете сидели рядом, очень прямо, ее отец, Дэвид Коллинз и маленькая старушка из детских книжек; отец правил, и Руфи стало страшно, потому что он отличался рассеянностью, как это часто бывает со священниками, да к тому же последнее время у него ослаб слух, и он уже не слышал, когда машины приближались к нему сбоку или сзади. Сама Руфь и Джоффри ехали следом в какой-то странной низкой повозке, без какой-либо видимой тягловой силы. Они как бы плавно летели, и, однако же, колеса повозки касались изрытой колеями дороги. Волнение сына передавалось ей — его слезы жгли ей горло. Внезапно кабриолет остановился — остановился, как в застывшем фильме. Дэвид и папа ухватились за боковины, но старушке, сидевшей между ними, не за что было ухватиться, и она вылетела из кабриолета. Все столпились вокруг нее. Она лежала на краю дороги в нестриженной траве — маленькая, съездившаяся, одни кости. От падения тело ее под черным платьем словно укоротилось, перебитые ноги, точно лапы у паука, отвратительно торчали в разные стороны. Желтое лицо, наполовину скрытое разметавшимися волосами, было откинута назад, рот раскрылся, и зубы — сплошная вставная челюсть — соскользнули вниз, точно опускная решетка. Она разбилась и умирала. Она пыталась что-то сказать. Руфь нагнулась, чтобы лучше услышать, — и перенеслась во сне в подводное царство, царство голубовато-зеленой воды, которая кажется ярко-голубой из-за белого кораллового песка на дне, — такая вода в Карибском море у берегов острова Сент-Джон, куда она ездила с Джерри много лет тому назад, когда ждала Джоффри. Возможно, ей приснилась Флорида.

В субботу Джерри сказал, что ему надо съездить по делам в город, а часом позже позвонил ей по телефону.

— Руфь, — сказал он на два тона ниже обычного: она тотчас представила себе открытый телефон-автомат в магазине мелочей, — могу я вернуться сейчас и поговорить с тобой?

— Конечно. — У нее затряслись колени.

— Кто из детей дома?

— Один только Чарли. Джоанна побежала с Джоффри на распродажу в гараж Кантинелли.

Она прошла на кухню и, наполнив стакан для сока вермутом, выпила его как воду — воду, обжигавшую огнем. Она все еще была на кухне, когда он вошел через заднюю дверь; стрекот цикад и сухой, как запах футбольного мяча, воздух конца лета ворвался вместе с ним.

— Я разговаривал с Салли, — сказал он, — она вынуждена уехать из Флориды. Детям там плохо. Да и занятия в школе начинаются через неделю.

— Да. Ну и что?

Он мялся, словно чего-то ждал. Она спросила:

— И ты обо всем этом говорил по телефону из магазина мелочей?

— Я говорил с того, что позади бензоколонки “Тексако”. Салли хочет знать, уйду ли я к ней. Лето ведь кончилось.

— Еще не было Дня труда note 23 .

— Но уже сентябрь.

Дрожь из ног перебралась выше, куда-то под ложечку, вермут в желудке был словно нож, вонзенный так плотно, что даже кровь не выступила.

Джерри выпалил:

— Только, пожалуйста, не бледней так. — На его лице читалось абстрактное сострадание, с каким он вынимал бы занозу или шип из ее руки или из ноги кого-нибудь из детей.

Она спросила в надежде, что он ценит ее умение владеть собой:

— Где же ты будешь ее ждать? Он передернул плечами и рассмеялся с видом заговорщика.

— Не знаю. В Вашингтоне? В Вайоминге? При ней, конечно, будут все эти чертовы дети. Не наилучший вариант, но как-нибудь справимся. Справляются же другие.

— Немногие.

Он уставился в вытертый линолеум на полу.

Она спросила его:

— Ты хочешь уйти?

— Я боюсь этого шага, но — да. Я хочу уйти, скажи мне — уходи.

Теперь она, прислонившись к раковине со стаканом в руке, в котором плескались остатки вина, передернула плечами.

— Так уходи.

— А ты справишься? У нас больше тысячи долларов на чековой книжке и, по-моему, около восьми тысяч пятисот в сберегательной кассе. — Он поднял обе руки, пытаясь ее обнять: у Руфи было такое ощущение, что тело его точно машина, которую кто-то намеренно включил, и она поехала, а из глаз кричал беспомощный пассажир.

— Ничего со мной не случится, — сказала она, осушила стакан и, словно что-то вспомнив, швырнула на пол. Осколки и капли разлетелись звездой по старому зеленому линолеуму в мраморных прожилках.

На шум в кухню прибежал Чарли: Руфь совсем забыла, что он дома. Чарли был славный мальчик, маленький для своих лет, со славным умненьким личиком и унаследованным от Джерри упрямым, не поддающимся гребенке хохолком.

— Зачем ты это сделала? — спросил он, улыбаясь, готовый услышать в ответ, что это была шутка. Из всех их детей он отличался наиболее развитой логикой, и без теории “шутки” взрослые не укладывались бы в его представление о мире. Он стоял и ждал, маленький, улыбающийся. Ему было семь лет. Стоял в шортах цвета хаки, с голенькой грудкой, покрытой летним загаром.

Руфь прорвало: она почувствовала, как соленая вода брызнула из глаз. Она крикнула малышу:

— Потому что папа хочет от нас уйти и поселиться с миссис Матиас!

Чарли молча повернулся и со стремительностью побитой кошки вылетел из кухни, Джерри кинулся за ним, и Руфь увидела их обоих уже в гостиной; в дверном проеме, как в раме, возникла бытовая сценка работы кого-нибудь из голландских мастеров: мальчик сидит в качалке, вытянув голые ножки, упрямо вскинув светлую головку, а отец в своих выходных джинсах от Леви и парусиновых туфлях стоит перед ним на коленях и пытается его обнять. Чарли не очень-то поддавался объятию. Любимый вяз Руфи добавлял к этой сцене затянутый желто-зеленым квадрат окна.

— Не плачь, — уговаривал сына Джерри. — Почему ты плачешь?

— Мама сказала... мама сказала, ты хочешь... — худенькая грудка приподнялась от сдавленных рыданий, — ...хочешь жить с этими детьми...

— Нет, не хочу. Я хочу жить с тобой.

Руфь не могла больше на это смотреть. Осторожно — она ведь была босая — Руфь подмела осколки. Кусочки стекла — иные мелкие, как пудра, — со звоном ссыпались из совка в ведро. Из праха в прах. Она как раз все убрала, когда Чарли прошлепал к ней по чистому полу и объявил:

— Папа ушел. Он сказал, что вернется. — Он сообщил об этом с большим достоинством, точно посол вражеской державы.

Джерри вернулся, когда Руфь закладывала в плиту тосты с сыром для ленча. Он задыхался, был какой-то бесплотный, с застывшим взглядом, похожий на пугало. По дороге с визгом промчалась машина.

— Я снова звонил Салли.

Руфь закрыла дверцу плиты, проверила регулировку нагрева и спросила:

— Ну и?

— Я сказал, что не могу к ней уйти. Описал то, что было с Чарли, и сказал, что просто не могу этого сделать. Завтра она возвращается к Ричарду. Она сказала, что это не слишком ее удивляет. Она была изрядно возмущена тобой — за то, что ты пустила в ход детей, но я

сказал ей, что это получилось случайно. Она так разоралась — по-моему, уж слишком.

— Ну, в таких обстоятельствах у кого хватит духу ее винить?

— У меня, — сказал Джерри. — Я любил эту женщину, и она не должна была на меня нажимать. — Рот у него стал совсем маленький, а голос холодный, он устал от страсти, как устают от солнца лето. Руфь подумала, сможет ли она пожалеть Салли: ведь они обе, вместе владели этим человеком, и ту, другую, он изгнал из своего сердца слишком своекорыстно, слишком жестоко. Руфи хотелось узнать еще, услышать каждое слово, произнесенное Салли, услышать ее крики, но Джерри запер на замок свое сокровище. Джоанна и Джоффри вернулись с распродажи — они купили пепельницу в виде цыпленка, — и тут все разговоры прекратились.

На другой день Салли появилась на волейбольной площадке. Стояло сентябрьское воскресенье, по небу неслись светлые серые облака; было не столько холодно, сколько ветрено — точно где-то в атмосфере оставили открытой дверь. Салли, приходившая в июле на площадку в желтом купальном костюме и накинутой поверх рубашке Ричарда, рукава которой она завязывала на животе, снова надела белые брюки и трикотажную кофточку, которые носила в начале лета. Кожа на лице у нее натянулась — флоридский загар выявил крошечные белые морщинки у глаз. Все так дружно приветствовали ее, точно она вернулась, чудом спасшись от какой-то напасти. Ричард, в клетчатых шортах, держался мягче, чем в тот день, когда влетел в полицейский участок. Интересно, подумала Руфь, что они с Салли сотворили друг с другом, отчего он стал таким любезно-сонным. Совсем не чувствуя глубины пространства, он то и дело посылал простейшие мячи в сетку и наскокивал на других игроков. В какую-то минуту он наскочил на Руфь, и в момент столкновения она уловила запах джина. В какую-то минуту Джерри предупреждающе крикнул: “Салли!”, неудачно, слишком сильно послав мяч прямо в нее; она вытянулась, готовясь к прыжку, но даже не задела мяча, и он упал между нею и сеткой. А крик Джерри, его мольба о помощи, надолго повис в воздухе среди молчания остальных. То, что было между ним и Салли, исчезло — осталась игра, обнаруживавшая всю несобранность Джерри, его манеру отчаянно бить по мячу. Он подпрыгивал, приседал, снова и снова падал среди грязи и разбитого стекла, пытаясь взять невозможные мячи, — он был как сумасшедший, оторванный от реальности, как рыба, выброшенная из воды. И все — ради Салли, но ее задубевшее от солнца лицо-сердечко было замкнуто: он больше не существовал для нее. Джерри в последний раз отравлял воскресный вечер своим скорбным видом после волейбола: назавтра был День труда. Волейбол, лето, роман — все осталось позади. Дети пошли в школу; недолгие посиделки на траве или у воды под предлогом детских игр прекратились. Проходили недели — Конанты с Матиасами не встречались.

Руфь чувствовала себя обманутой. Она ждала поражения за наспех возведенными ею непрочными стенами, а поражения не последовало из-за ее же слез и слез сына — интересно, где та правильная шкала, по которой слезы ребенка весят больше, чем слезы взрослого мужчины? Джерри уронил себя, не сделав того шага, на который толкала его сила собственного несчастья. Руфь обнаружила в его машине карманное издание книги “Дети разведенных”. Он пытался установить, чего может стоить поступок, не поддающийся измерению: если Джоанна, Чарли и Джоффри прольют каждый по кварте слез, он останется; если же лишь по пинте — он уйдет. Если будет семь шансов из десяти, что Руфь снова выйдет замуж, — он уйдет; если же меньше, чем пятьдесят на пятьдесят, — он останется. Это было унижительно: мужчина не должен жить с женщиной из жалости, а если он все-таки живет, то не должен ей об этом говорить. Джерри и не говорил, но не говорил и другого, вернее — неоднократно и то и другое говорил. Подробности утрачивали значение — Руфь едва его слушала, улавливая из потока слов лишь, то, что ничего не утряслось, кульминации не было, он не успокоился, он все еще влюблен, и хотя Салли потеряна для него, она продолжает жить в нем прочнее, чем когда-либо, все это не кончено, Джерри не удовлетворен, жена подвела его — подвела, не сумела по своей нескладности даже умереть, во всем виновата она одна, и никогда ей не знать покоя. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он с надеждой спрашивал:

— Ничего не произошло?

— Нет.

— Никто не звонил, не заходил?

— А ты ждешь звонка?

— Нет.

— Так в чем же дело?

Он начинал просматривать дневную почту.

Она спрашивала:

— Как ты себя чувствуешь?

— О'кей. Отлично.

— Нет, правда.

— Устал.

— Физически устал?

— В итоге — да, конечно.

— Устал жить со мной?

— Я бы так не сказал.

— От того, что живешь без нее?

— Да нет. Я ведь никогда не был уверен, что мне понравится с ней жить. У нее могла появиться привычка мной командовать.

— Тогда что же тебя гложет? Страдать вот так, молча — ничего хуже нет. Мне, например, кажется, что я теряю рассудок.

— Глупости. Ты самая здоровая женщина, какую я знаю.

— Была самая здоровая женщина, какую ты знал. “Ничего не произошло?” Всякий раз, когда ты меня об этом спрашиваешь, мне хочется схватить тарелку и швырнуть об пол, хочется пробить кулаком эти стекла. Чего ты ждешь, что должно произойти?

— Не знаю. Ничего. Наверное, жду, чтобы она сделала какой-то шаг. Но что она может сделать?

Руфь пересекла комнату и схватила было его за плечи, словно намеревалась встряхнуть, но тут же разжала пальцы: плечи у него оказались такие тощие.

— Неужели ты не понимаешь? Ты покончил с ней. Покончил.

Джерри смотрел куда-то поверх ее головы, сквозь ее волосы.

— Этого не может быть. — Он говорил, еле ворочая языком, точно сомнамбула. — Нельзя так быстро перейти от наполненности к пустоте.

— Прошу тебя, сосредоточься, — сказала она, пытаюсь встряхнуть его, как ребенка, но он оказался слишком большой, и она встряхнула только себя. — Женщины зависят от мужчин. Она любила тебя, но ты не оправдал ее надежд, и теперь она вынуждена держаться за Ричарда. Ей нужен Ричард. У нее дети от Ричарда. Ты не должен больше вмешиваться в их жизнь.

— Она попытается теперь завести роман с кем-нибудь другим, чтоб выбраться из своего брака.

— Ну и ладно, пусть. Ты не имеешь на нее никаких прав, Джерри.

— Чьи-то надежды я должен был не оправдать. Либо ее, либо твои и наших детей.

— Я знаю. Не растравляй себя. Я знаю: если б выбор был между нею и только мной, ты бы не колебался.

— Не правда. Колебался бы.

— Очень смешно. Зачем, ты говоришь это? Зачем утруждаешь себя?

— Из уважения к тебе, — сказал он, — я пытаюсь говорить правду.

— Ну, так прекрати. Это уже не уважение, Я не хочу больше слышать правду. Что ты делаешь со мной, Джерри?

— Ничего я с тобой не делаю. Продолжаю оставаться твоим мужем.

— Ты же перестал спать со мной. Это тебе известно?

— Я думал, ты будешь только рада.

— Почему же я должна радоваться?

— Мне казалось, ты не любишь этим заниматься.

— Конечно, люблю.

— Ты всегда поворачиваешься ко мне спиной.

— Не всегда.

— Тогда сегодня давай спать вместе.

— Нет. Все равно перед тобой будет она. В твоих мыслях будет она. Это слишком унижительно.

— Так чего же ты от меня хочешь?

— Перестань думать о ней!

— Не могу.

— Тогда постарайся, чтоб я этого не замечала. Думай о ней в Нью-Йорке. Думай на пляже. А когда ты со мной дома, — думай обо мне. И если хочешь спать со мной, то чтоб я чувствовала, что именно со мной. Лги мне. Соблазнь меня.

— Ты ведь моя жена. Мне нет нужды тебя соблазнять.

— Сделай меня своей женой. Обними. Обними меня.

Она прижалась к нему, но руки его висели как плети.

— Послушай, Руфь, — сказал Джерри. — Бедная Руфь. Я же с тобой. Я думал, ты будешь счастлива. Неужели ты не счастлива?

— Нет, я боюсь.

— Ты никогда ничего не боялась.

— Меня тошнит.

— В прямом смысле слова?

— Нет еще.

— Тогда как же?

— Позволь мне кое в чем тебе признаться. В ту субботу, когда ты отправился стричься, не сказав мне, и пропадал всю вторую половину дня, я то и дело смотрела в окно — отчетливо помню каждый листик на вязе — и около половины шестого подумала: “Он ушел. Он бросил меня”. И почувствовала облегчение.

Он, наконец, прижал ее к себе, и в слиянии их тел было тепло, но Руфь не могла полностью отдаться ему, потому что в объятиях Джерри чувствовала что-то недоброе, как в силе земного притяжения: ему доставляло удовольствие то, что она пошатнулась, что разум отказывает ей.

Она сама перестала себя понимать: грань между ее восприятием и чувствами перестала быть четкой. Сентябрь уходил в небытие: явился рабочий, отрегулировал печь, и остывающими ночами она теперь сама включалась и выключалась. Когда Руфь лежала без сна, ей не давало покоя непривычное урчание: она не была уверена, реальный ли это звук, и если да, то откуда он — то ли печь гудит внизу, то ли самолет в небе, то ли трансформаторы на столбе за окном спальни. Где-то на просторах ее жизни работал мотор — но где? Джерри и Салли — она была уверена — так сильно ранили друг друга, что ни о какой возможности примирения не могло быть и речи, но Руфь чувствовала, что судьба ткет свое полотно и события складываются в рисунок, родившийся в темных закоулках ее мозга. Мир таков, какой он в общем-то есть; чего мы ждем, то и случается; а ждем мы того, чего жаждем. Как негатив порождает отпечаток, так и Руфь породила Салли. Откуда иначе то раздражение, с каким она относится к изъянам в красоте Салли — горькой складочке в уголке рта, слишком пышным бедрам? Руфи хотелось, чтобы Салли была более безупречной, — как ей хотелось, чтобы Джерри был более решительным. Руфь, воспитанную в иной вере, раздражало то, что Джерри так радуется своей раздвоенности, как доказательству глубокой пропасти между телом и душой, благодаря которой человек только и может избежать забвения. Все это слишком уж отдает религиозными бреднями, фантазмагорией. Дикий зверь его страсти чересчур легко подчинился велениям разума Руфи. Он застыл на три месяца, стоило ей взять и попросить, и совсем исчез с горизонта, лишь только она замахнулась, а у Чарли слезы блеснули в глазах. Слишком все получилось легко, слишком странно. Наверно, думала Руфь, надо бы поднапрячься и теперь, когда ночи стали равны дням, усилием воли разрядить напряжение лета. Она — пленница: пропасть между ее рассудком и миром,

через которую был перекинут мостик из тысячи догадок, сомкнулась, и она оказалась плененной, как белый единорог на гобелене.

В последнюю пятницу месяца Коллинзы уговорили их поехать в Кэннонпорт на вечер греческих плясок. Старый Кэннонпорт, прижатый к морю, со своими скрипучими причалами и рыдающими чайками. Пляски были устроены в подвальном помещении местного зала Ветеранов войны, большого дощатого строения с квадратной башней, стоявшего на откосе среди четырехэтажных, крытых черепицей, жилых домов. Здесь, в нижней части улицы, соленая вода оставила на домах черные потеки. Матовые стекла в окнах зала молочно светились — за ними находился гулкий, как пещера, подвал: грохот музыки проникал наружу даже сквозь стены. Джерри, Руфь, Дэвид и Линда спустились по бетонным ступенькам бокового входа; какой-то тип, сверкавший столь безупречной лысиной, что просматривались швы на черепе, продал им малиновые билеты. Внутри было светло, жарко, шумно и людно; люди стояли, сидели, пили пиво, плясали, извиваясь длинной, крепко сбитой цепочкой, — лица блестели, нелепые, сумасшедшие. Были тут и Матиасы. Они приехали с Хорнунгами.

— Я говорила им про эти танцы, но не думала, что они поедут, — поспешила сообщить Руфи Линда, когда Ричард направился к ним, а следом и Салли.

Ричард казался пьяным и пришибленным; Руфь сразу увидела, что он завел или собирает завести роман с Джейнет Хорнунг. На Салли было оранжевое платье — цвет этот шел ей и одновременно придавал трагический вид. У Руфи заломило виски. Ричард взял ее за руку, и они присоединились к танцующим, разорвав цепь, — она потащила их за собой, вовлекла в движущуюся людскую массу.

Во время танца в поле зрения Руфи то и дело появлялось оранжевое платье Салли. Порою они оказывались друг против друга, следуя спиралям цепи; лицо Салли было опущено, она танцевала как бы вне связи с окружающими, словно вставленная в общий фриз, тогда как Руфь чувствовала себя накрепко припаянной к своим соседям, которые тянули ее, непокорную, неуклюжую. Чьи-то руки спаривались с ее руками. Пухлые пальцы Ричарда время от времени перебирали ее руку, чтобы она не выскользнула. Какой-то незнакомец, поросший густой шерстью, которая пучками торчала из рукавов его пиджака, подпрыгивая, дергаясь, схватил ее за запястье и сверкнул многозначительной улыбкой, обнажившей сломанные зубы. У одних руки были крепкие, как коржики, у других — пухлые, как тесто. Несколько мгновений Руфь плясала рядом с приземистой греческой матроной в черном — крючковатый нос, набухшие веки и рука, словно распластанная птичка, трепещущая невероятной, нечеловечески лихорадочной дрожью. Танец кончился, Руфь выпустила руку женщины и в изумлении уставилась на заурядное, усталое и тупое лицо. С таким же изумлением смотрела она и на Салли и думала, что та, наверное, часто встречалась с Джерри в этом платье и Джерри, наверное, часто снимал его, ложась с ней в постель. Бузуки и кларнет разразились новой мелодией — голова у Руфи заболела с удвоенной силой. Подошел Джерри и взял ее за руку. Он так мягко держал ее, что ее рука то и дело выскользывала; она пыталась пальцами удержать его руку, ногами поймать нужный ритм. Притоп левой, левую за правую, шаг назад, вот так, ноги вместе, стоять на пятках один такт. Притоп. Оранжевое мелькнуло справа, а несколько мгновений спустя — слева. Рука Джерри соскользнула с ее руки, ослабившийся Ричард прошел мимо в танце, темп возрастал, Джерри снова взял ее руку. Музыка оборвалась. Вместо потолка над головой переплетались ядовито-зеленые трубы, и они вдруг стали опускаться на Руфь.

Джерри сказал ей:

— Давай пошевеливайся. Ты пляшешь так, будто у тебя в туфле камень.

— У меня голова болит.

— Слишком много думаешь. Я сейчас принесу тебе выпить.

Но от бурбона у Руфи только закружилась голова, и теперь, танцевала она или стояла, зал вращался вокруг нее, и яркая фигура Салли все мелькала, словно дразня бьющей через край энергией, врзалась в поле ее зрения то слева, то справа, как бы стачивая ее, делая

все меньше и меньше, пока она не превратилась в комок, комок боли. Яркий свет вызывал у нее тошноту. Шеф оркестра вдруг встал с электрогитарой, гикнул, и начался твист. Грохот, казалось Руфи, плотной массой заполнил зал — оркестр непрерывно нагнетал его, словно стремился заполнить все пространство вплоть до самых дальних углов, вплоть до пыльных таинственных глубин между трубами и потолком. Джерри повел Салли к танцующим. Руфь не удивилась. Она заметила, как все взгляды сразу приковались к ним, пока они выходили на середину зала; эта пара бросалась в глаза: оба высокие, молодые, даже юные, слегка забавные и настоятельно требующие к себе внимания — так актеры требуют внимания публики. Они встали друг к другу лицом, на расстоянии, и, расслабив угловатое тело, начали танец — зрители окружили их кольцом и скрыли от глаз Руфи. Дэвид Коллинз подошел было к ней, взглянул на ее лицо и тут же отошел: она почувствовала, что он испугался. Она была точно заразная, смердящая, проклятая, и еще эта боль в лобных пазухах, совсем как родовая — вот-вот родишь чудовище, такое же, как сама. Когда твист, наконец, прекратился, она подошла к Джерри и сказала:

— Пожалуйста, отвези меня домой. Мне все это омерзительно.

На его возбужденном лице глаза округлились от удивления.

— Прошу тебя.

Джерри повернул ее голову и посмотрел на Салли и спросил:

— Вы подвезете Коллинзов? Нам, видимо, придется уехать.

— Конечно. Мне очень жаль, Руфь, что ты плохо себя чувствуешь. — Голос Салли звучал изысканнейше, она безукоризненно изящно растягивала слова.

Руфь обернулась к ней.

— Ты мне солгала, — сказала она, стараясь отчетливо произносить слова, несмотря на тошноту и ужас.

Мышцы на лице Салли напряглись и глаза потемнели, так что глазницы стали глубокими-глубокими. Но она лишь повторила:

— Мне очень жаль, Руфь, — словно ничего и не слышала.

Ничего. Сон продолжался своей чередой, но только уже без нее. Джерри в ярости гнал в Гринвуд машину — они оба могли разбиться, а Руфь не смела и голос подать, чтобы он не повернул назад. Однако опасность спаяла их, и от этого каждому было легче: Джерри бросал вызов смерти, а у Руфи от скорости прошла голова. Она чувствовала, как боль слетает с нее комьями и искрами, точно снег, когда его смахиваешь зимой с крыши машины. Они не разговаривали — слышалось лишь астматически шумное дыхание Джерри. Домой они приехали в полночь; потом он еще отвозил миссис О. Руфь надела ночную рубашку, махровый халат и подкрепила силы стаканом молока. Он вошел, жестикулируя, через кухонную дверь. На мокрых туфлях налипла палая листва.

— Солнышко, — сказал он, беспомощно опустив руки, — я должен с тобой расстаться. Она такое чудо. Я не могу отказаться от нее.

— Не надо этих аффектированных жестов, и говори тише. Я ведь слышу тебя.

Он заговорил судорожными рывками, шагая взад и вперед по линолеуму:

— Сегодня вечером я это понял — очень четко. Осенило. Я ждал этого, и вот оно пришло. Я должен уйти к ней. Должен уйти к этому оранжевому платью — погрузиться в него и исчезнуть. И пусть это убьет меня, пусть это убьет тебя. Меня ничто не удержит — ни дети, ни деньги, ни наши родители, ни Ричард — ничто. Это всего лишь факты жизни, скверные факты. Упрямые факты. Нужна вера. А у меня не хватало веры — как ни странно, веры в тебя. Я не считал тебя личностью, существующей отдельно от меня. А ты — личность. Господи, Руфь, извини меня, извини. Все будет куда страшнее — я знаю, я даже представить себе не могу, как будет страшно. Но я убежден. Абсолютно убежден. А это такое облегчение, когда ты убежден. И я очень благодарен. Я тупица и трус, но я рад. Радуйся и ты тоже. Хорошо? А то я ведь просто сжирал тебя, доводил до смерти.

Пальцы у нее стали вдруг огромные, растеклись, как звук гонга, по холодному стеклу стакана.

— Хорошо, — сказала Руфь. — Я ведь обещала помочь тебе, если ты решишь. Как же мы

это осуществим? Когда ты скажешь детям?

— Не заставляй меня пока говорить детям. Просто разреши сегодня не ночевать здесь. Не уговаривай меня. Наверное, ты могла бы меня уговорить, но не надо. Дай мне куда-нибудь уехать. К Коллинзам. В мотель.

— А что я скажу им утром? Детям?

— Скажи им правду. Скажи, что я куда-нибудь уехал. Скажи, что я вернусь домой днем и выкупаю их, и уложу. Вечером я не уйду из дома, пока они не заснут.

— Она, очевидно, будет с тобой.

— Нет. Решительно нет. Я не хочу, чтоб она знала. Не хочу, чтоб она знала, пока это не окончательно: она только разволнуется.

— Ты хочешь сказать, что это не окончательно? Он молчал, глядя широко раскрытыми глазами. Потом сказал:

— Я должен посмотреть, как ты и дети перенесете это.

— Мы перенесем все, что предстоит перенести. Ведь ты этого от нас хочешь?

— Только не надо ожесточаться. Ты же обещала помочь. Подумай о моем достоинстве и дай мне попробовать.

Руфь передернула плечами:

— Пробуй все, что хочешь. — Когда она поднесла молоко к губам, от него пахло кислятиной. Она увидела мелкие створоженные частички на поверхности и не смогла пить. — А что, если нас куда-нибудь пригласят — что мне говорить?

— Пока — соглашайся. Я поеду с тобой.

— Значит, просто не будешь со мною спать — разница только в этом?

— Разве это не главное? Во всяком случае, это — начало. И правильное. Что бы дальше ни произошло, это — правильно.

— О-о, какие любопытные вещи ты говоришь.

— Солнышко, синяя птица улетела. Мы слишком молоды, чтобы сидеть до конца жизни и ждать, не влетит ли она назад в окно. А она не влетит. Она никогда не возвращается. Он снова принялся жестикулировать — неприятно-театрально, и Руфь обозлило самодовольство, промелькнувшее на его лице, когда он нашел этот образ никогда не возвращающейся синей птицы: экран его лица словно ожил. Она встала и подошла к раковине.

Джерри жалобно крикнул ей в спину:

— Только не начни пить!

Она вылила молоко в раковину, сполоснула стакан и, перевернув, поставила на сушилку. Затем проверила, не осталось ли крошек на хлебной доске, которые могли бы привлечь муравьев, и, обнаружив несколько крошек у тостера, смахнула их рукой в ладонь и выбросила в раковину вслед за вылитым молоком. Мокрой тряпкой она вытерла мазок джема возле тостера. Выключила свет над доской и сказала:

— Пить я не собираюсь. Я ложусь спать. Чтобы выйти на лестницу, ей надо было пройти мимо Джерри.

— Как твоя голова? — спросил он.

— Не дотрагивайся до меня, — сказала она. — Голова у меня болит меньше, но если ты дотронешься, я закричу или заплачу — не знаю, что из двух. Я ложусь: уже поздно. Ты будешь собирать вещи или что?

— Неужели нам больше нечего друг другу сказать? Мне кажется — есть.

— Позже наговоримся. Времени у нас предостаточно. Не надо меня подгонять.

Она почистила зубы в детской ванной — подальше от Джерри. Чистила она зубы щеткой Чарли, которая оказалась жесткой и колючей — видимо, он редко ее употреблял: надо будет сказать ему об этом. Прямо в халате она легла в постель. Отчаявшись, продрогшая, она сунула обе подушки себе под голову и, устроив нору из одеял, свернулась калачиком. Сомкнув веки, она погрузилась в багровую пустоту, прорезанную странными вспышками, и ощущение собственных волос на щеке и губах казалось ей касанием чужой руки. Она вслушивалась в отдаленное щелканье замков и скрежет, доносившийся из комнаты, где упаковывал вещи Джерри. Шаги его приблизились, дверь

открылась, и проникший в спальню свет сделал багровую пустоту под ее веками прозрачной, кроваво-розовой — Джерри шарил в ящичке у ее изголовья.

— Мне, пожалуй, надо взять ингалятор, — сказал он. Голос его звучал пронзительно, дыхание было неглубоким, натужным.

— Если все так правильно, — спросила она, — почему же у тебя начался приступ?

— Астма на меня нападает, — сказал он, — от перегрузок и сырости, а также в определенное время года. Это не имеет отношения ни к тебе, ни к Салли, ни к Богу, ни к тому, что правильно или не правильно. — Он нагнулся, отвел прядь волос и поцеловал ее в щеку. — Подождать мне, пока ты заснешь?

— Нет. Все будет в порядке. Ничего со мной не случится. Уезжай.

Невероятно, но он подчинился. Она вслушивалась в звуки его шагов — он обходил дом, заглядывал в комнаты детей, подводя итог их совместной жизни, решительно открывая и закрывая двери; потом неровные шаги его, затихая, послышались на лестнице — должно быть, он нес что-то тяжелое и припадал на одну ногу. Входная дверь поддалась и открылась. Что-то осторожно бухнуло на крыльце. Там он, видимо, заколебался: она ждала, что дверь сейчас снова откроется и впустит его, его шаги послышатся на лестнице — только теперь он будет подниматься, знакомо стуча каблуками. Но она неверно истолковала тишину. Он просто бесшумно сошел с крыльца. Дверца машины открылась и захлопнулась. Чиркнул стартер, мотор заревел у нее в голове — все пронзительнее по мере того, как убывал звук. Он уехал.

Постель казалась огромной. Руфь слегка распрямилась на белизне. Она ехала на лыжах, медленно скользя наискось по широкому, почти голому и обледенелому склону, старательно накренившись вперед, делая упор на нижнюю лыжу. Из-под снежного покрова показалась пролысина бурой травы, но Руфь легко перелетела через нее и воткнула палку в снег, чтобы развернуться. Она хорошо провела разворот — хотя и не на большой скорости — и плавно пошла вверх, возможно, потому что на пятках ее лыж не налипло пушистого снега.

Проснувшись в субботу утром, она обнаружила у себя в постели Джоффри. В своем бездумном эгоизме маленькое тельце заняло всю середину постели, оттеснив ее на край; при Джерри, поскольку он тяжелее, посередине оказывалась она. Личико Джоффри, расслабленное и спокойное, было словно вырезано из плотного светлого мрамора, в который свет проникает лишь на миллиметр. Серьезность этого лица, неподдельное совершенство очертаний — брови, веки, пухлые завитки ноздрей и ушей — испугали ее, словно ночью ей положили в кровать украденный шедевр. Она постаралась подавить панический страх.

В спальню вошла Джоанна, ворча и протирая глаза, и спросила, где папа. “Папа рано встал: у него срочная работа”. Дети восприняли ее объяснение без тени сомнения и без особого интереса. Руфь встала, и краны в ванной показали ей неестественно блестящими, словно елочные украшения. На кухне она снова посмотрела на календарь и проверила свои подсчеты: задержка была уже на три дня. Накормив детей завтраком, она взяла пылесос и отправилась вниз. Около десяти позвонил Джерри.

— Хорошо спала?

— Неплохо. Джоффри залез ко мне в постель, а я даже не проснулась.

— Вот видишь! Я же говорил, что тебе понравится, когда вся постель будет в твоём распоряжении.

Но постель как раз не была в ее распоряжении — она ведь только что сказала ему об этом. Решив все же не спорить, она спросила:

— А как ты спал?

— Ужасно. В мотеле возле самой моей двери всю ночь включалась и выключалась машина, готовящая лед. Женщина-портье никак не могла поверить, что я — один. Я думал о предстоящей ночи — так вот: у родителей Неда Хорнунга есть коттедж в Джекобе-Пойнте, а они уже вернулись в город, так что, может быть, я смогу пожить там. Я ему позволю. — Он говорил быстро, все это волновало, забавляло его — еще бы, такое приключение. Она закрыла глаза. Наконец он вспомнил и спросил:

— А дети расстроились?
— Нет, они не восприняли это всерьез. Пока что.
— Дивно. Ей-богу, все до того нереально. Я заеду домой около четырех.
— Так поздно? А день такой чудесный — можно бы съездить погулять по пляжу.
— Руфь, прошу тебя, не надо. Мне бы тоже очень хотелось, но давай попробуем пожить так, словно мы расстались. Может быть, Чарли с Джоанной сходят на футбол в школу.
— Как-то нелепо начинать новую жизнь с конца недели. Может, вернешься домой на сегодня и на воскресенье и приступишь к новому распорядку в понедельник?
— Черт возьми, женщина, не могу я. Не могу. У меня не хватит духу снова уйти. Это было ужасно — спускаться по лестнице с чемоданом. А когда мы утрясем все с детьми? — И, не дожидаясь ответа, Джерри добавил:

— Ведь надо же мне что-то сказать и Хорнунгам, когда я буду просить насчет коттеджа. Она молчала, потрясенная тем, как расширяются трещины в повседневной почве. И у Джерри такой радостный голос.

День выдался ясный, погожий, небо было светлое, — день, словно созданный для того, чтобы провести его на воздухе, — но собирать палые листья было еще рано. Руфь принялась подстригать лужайку — босиком, в рабочих брюках и серой трикотажной нижней рубашке Джерри; земля под ее ногами была спекшаяся, затвердевшая, чужая. Лужайку можно бы и не подстригать, но Руфи хотелось чем-то занять себя. Быть может, от работы у нее прекратится задержка. К тому же теперь ей придется делать все это самой. Но уж очень было грустно: рубашка слишком живо напоминала о Джерри, а чахлый подорожник и цикорий, продолжавшие расти, хотя расти им уже не следовало, напоминали ее самое. Отец не раз говорил с кафедры, что человек — как трава, которую бросают в печь, и при этом сам не подозревал, насколько это верно, — он, который был так уверен, что все его любят, да его и любили.

Держась за ручку косилки, Руфь бесплотной тенью висела над землей — землей с ее переплетением крошечных жизней и смертей, что издали кажется лужайкой, а вблизи — чем-то невыносимо путаным и жестоким. Смотри на вещи реально. Мы стареем — и нас выбрасывают на свалку. Мы слабеем — и нас съедают. Голоса детей, устроивших потасовку с Кантинелли, терзали ее слух. Чарли налетел на Джоффри, а тот, не понимая правил игры, изо всей силы прижимал к себе футбольный мяч и не выпускал, точно это была кукла или ценный приз, который он получил; Джоффри тяжело упал и заплакал. Руфь бросилась к ним. Ключицу он на сей раз не сломал, тем не менее Руфь наотмашь ударила Чарли, который вызывающе смотрел на нее, подняв кверху лицо, с этакой ехидной, Джерриной полуулыбочкой. Он разразился такими горячими слезами, что Джоффри от удивления перестал плакать, потом снова заревел — уже из сочувствия к брату. “Он же не нарочно!” — всхлипывал Джоффри. Чувствуя, как подступает тошнота, потрясенная собственным поведением, Руфь повернулась и кинулась прочь от детей — в дом. На кухне она плеснула себе в стакан немного вермута. Со стаканом в руке она прошлась по комнатам нижнего этажа, глядя на мебель, которую они с Джерри накупили за годы совместной жизни, с таким удивлением, словно эти заурядные вещи находились в гроте и были причудливыми творениями эрозии, придавшей им определенные формы. Пришла почта — газеты и письма упали на пол в передней и так и остались там лежать. Джерри непременно бы подобрал всю грудку. Если она сейчас наклонится, то потеряет сознание? Руфь вслушалась: чей-то голос; может, это она сама молится? Зазвонил телефон — резко, оглушительно. Это был Джерри.

— Привет. Кажется, у меня хорошие новости. — Но голос у него был далекий, испуганный, в нем звучала бравада беглеца, заключенного в телефонной будке. — Хорнунги в восторге от того, что я воспользуюсь коттеджем их родителей. Насколько я понял, их дважды обкрадывали прошлой осенью, и они даже рады, что я там поселюсь. Они дали мне ключи вместе с кофе и выражением сочувствия. Я им сказал, что это только эксперимент. В коттедже нет плиты, но есть электрическая плитка, и телефон пока еще не отключили. Хорнунги говорят, что коттедж — барахло, только вид хорош. А я сказал, что я как раз большой любитель видов. Запишешь номер телефона?

Руфь сгребла почту с пола и записала номер на обороте конверта с каким-то счетом. Она спросила:

— Ты не мог бы приехать к ленчу?

— Я же сказал: вернусь к четверем. Почему ты не воспринимаешь всерьез того, что я говорю? Она сказала:

— Я хочу погулять по пляжу, а дети не хотят идти на футбол. Ты нам нужен.

— Но мы же расстались, черт побери!

— Мне надо кое-что тебе сказать.

— Что?

— Я не могу сказать этого по телефону.

— Почему? Что-нибудь плохое?

— Теперь — плохое. Когда-то, наверное, было бы хорошим. Вообще — ничего определенного. Скорее — сигнал тревоги.

— Что же это такое?

— Дуста в ход воображение.

— Это насчет Салли?

— Нет. Ради всего святого. У тебя стал такой нудный одноколейный ум, Джерри. Подумай для разнообразия о нас.

— Я скоро приеду.

Она ждала у окна. Ее вяз, ее священный вяз, затоплял дорогу золотыми листьями, возвращаясь к наготы, которая выявляла все его арабески и ветки; он уводил ее взгляд вверх и вглубь, внутрь дома, к некоей неделимой надежде. Старый коричневый “меркурий” Джерри, с опущенным, словно в знак избавления, потрепанным верхом, свернул, давя гравий, на ведущую к дому дорожку; в тот же момент “мерседес” Ричарда медленно проехал мимо и покатил дальше. Джерри вошел с усмешечкой.

— Этот сукин сын непременно остановился бы, если бы я не завернул к дому. И как это он так быстро все учуял?

Руфь кинулась к нему в объятия прямо в передней. Она была возбуждена, игриво настроена. Хоть он и качнулся назад и обнял ее с опаской, ему это явно польстило.

— Что, детка? Неужели ты так быстро без меня соскучилась? — Он погладил ее по спине, по своей же рубашке.

— Отвези меня на пляж, — попросила она. — Отвези всех нас на пляж.

Залив у Лонг-Айленда был такого синего цвета, какого никогда не добьешься на полотне, цвета столь интенсивного, что на него ушла бы вся краска, тюбик за тюбиком, — синее копировальной бумаги и ярче белого титаниума. Высокие осенние приливы прибили всякий мусор к самым дюнам; массивная килевая балка лежала, выброшенная бурей, и под ее прикрытием здесь разводили костры, оставившие черные подпалыны. Дети умчались вперед, а еще дальше, за ними, широкими кругами носился спущенный с поводка пес, и лай его с большим опозданием долетал до их ушей. Вода холодом сковала лодыжки Руфи, и она вздрогнула, словно от счастья. Она прильнула к Джерри, взяла его под руку и сказала ему, глядя, как подпрыгивают головки детей, пересекая круги, оставленные собакой, что у нее задержка на три или четыре дня, но пусть он не волнуется.

Он спросил — почему.

Она сказала, что сделает аборт.

Он закрыл глаза и на ходу повернул лицо к солнцу, хотя солнце было уже слишком низкое и не давало загара. Он сказал, что это мерзко.

Она согласилась, но ведь из стоящих перед ней альтернатив эта — наименее мерзкая.

Она считает, что нельзя производить на свет ребенка, у которого нет отца.

Он указал на детей, плясавших на просторе, точно солнечные крапинки, и сказал, что это все равно, что убить одного из них. Кого она выберет — Джоанну, Чарли или Джоффри?

Руфь сказала — глупости, вовсе это не так: ведь это все равно что убить рыбу, даже меньше. А силы моря, словно внося свою лепту в их беседу, выбрасывали им под ноги крошечные серебряные тельца — рыбок, попавших в водоворот прилива. Руфь вслух

вспомнила о выкидыше, который был у нее шесть лет тому назад; снова рассказала, как держала зародыш в руках, а потом спустила в туалет, и ей несколько не было страшно. Но, сказал он, то произошло по воле Всевышнего. А теперь это произойдет по их воле. Конечно, сказала она, — и нетерпимость ее отца к предрассудкам проявилась в стремительности, с какой она это произнесла: конечно, это не одно и то же. Но она знает, что может и хочет на это пойти. Хочет сделать ему такой подарок. Если надо, она полетит в Швецию, в Японию.

Он же винил во всем себя: зачем он продолжал спать с нею, после того как разлюбил — или ему казалось, что разлюбил ее.

Она возразила: это неестественно — жить вместе, а спать врозь.

Он с нею не согласился. Но его несогласие — Руфь это чувствовала — главным образом объяснялось стремлением снять с себя моральную ответственность за аборт. Интуиция подсказывала Руфи, что теперь Джерри перейдет к преувеличениям, к пародии. Он вдруг остановился и, размахивая руками, объявил:

— Какой же это подарок — убить моего ребенка, чтоб потом, когда я умру, эта рыба таранилась на меня в чистилище.

— Ах, Джерри, — вздохнула Руфь. — Возможно, ничего и не потребуется.

— Три дня — большой срок, — сказал он. — Мир был наполовину сотворен за три дня. — И он обвел широким жестом сияющий мир вокруг.

— Ничего не известно, — сказала Руфь. — У женщин всяко бывает. Я чувствую себя так странно, все меня раздражает, как обычно перед началом.

— Ты просто чувствуешь себя, как беременная, — сказал он и, вдруг остановившись, обхватил ее за бедра и приподнял, так что мокрые ноги ее заболтались в воздухе. — Солнышко, — сказал он. — У тебя будет маленький ребеночек!

— Опусть меня, — сказала она; он опустил, и она невольно рассмеялась, глядя на его облупленный нос, его улыбку, полную страха. Смех будто снял сдерживающие оковы: она расплакалась, повернулась и зашагала назад, к дому, а он окликнул детей и последовал за нею.

Джерри докосил за нее лужайку и рано поужинал вместе с ними. Пока Руфь мыла посуду, он приготовил детям ванну и пижамы и почитал на ночь книжку. Когда Джоанна улеглась в постель, часы показывали уже начало девятого, и Джерри явно заторопился.

Возможно, у него была заранее назначена встреча с Салли: Руфь сомневалась, что они порвали всякую связь, как он утверждал. Она попыталась его удержать, но он сказал — нет, надо мужаться. Он собрал разные мелочи, которые забыл взять накануне, прихватил два одеяла, потому что в коттедже могло быть холодно, и, словно навьюченный бродяга, пошатываясь, вышел за дверь. Не успел он уехать, как Руфи захотелось позвонить ему, сказать, что все это — нелепица. Бывают такие дурацкие несчастные случаи: изменила курс шалая стрела, отлетел в сторону осколок металла — и человек потерял глаз: отклонись они на полдюйма — и никакой беды не случилось бы.

Руфь сдерживалась и не звонила Джерри, хотя номер его телефона смотрел на нее с обратной стороны невскрытого конверта на телефонном столике. Она покружила по дому, подобрала игрушки, вылила остатки вермута в кухонную раковину, приняла нестерпимо горячую ванну и полистала “Дети разведенных”. Потом захлопнула книжку. Вяз стоял перед ее глазами огромной подушкой тени. Она закрыла глаза. Обрывки каких-то глупостей, фотомонтаж из снов замелькал во тьме за ее закрытыми веками, — наконец раздался звонок. Голос у Джерри был хриплый, несчастный. Он заранее подготовил свою речь.

— Я не хочу, чтобы ты делала аборт. Это было бы дурно. А в нашей жизни надо крепко держаться всего, что явно хорошо или явно дурно: слишком много ведь такого, что не поймешь. Если ты беременна, я возвращаюсь и остаюсь твоим мужем, и мы с Салли забудем друг друга.

— Не так надо эту проблему решать.

— Я знаю, но прошу тебя: уступи. Я все ждал Божьего слова, и вот оно. Решительно выбрось аборт из головы.

— Это очень хорошо и великодушно с твоей стороны, Джерри, но я все равно сделаю аборт. Даже если ты порвешь с этой женщиной, мы не можем радоваться появлению еще одного ребенка.

— Ну, это мы обсудим потом. Я просто хотел, чтобы ты знала. Спокойной ночи. Спи крепко. Ты очень мужественная.

Ему стало явно легче от ее твердости. Держа омертвевшую трубку в руке, она поняла: ему стало легче, потому что появилась возможность выбора. Если она беременна, он не расстанется с нею; если нет, то расстанется.

В воскресенье утром, чуть свет, задолго до того, как проснулись дети, а колокольный звон католической церкви на другом конце города стал сзывать верующих к первой мессе, Руфь обнаружила, что нездорова. Она стояла в ванной, смотрела на кусок туалетной бумаги, который держала в руке, и у нее возникло вполне отчетливое чувство, что и бумага, и кровь на ней, и утренний свет, усиленный кафелем ванной, и ее собственная, с набухшими венами, рука — все это одно целое. За ночь фотография проявилась. Ее жизнь за последнее время, ее борьба и смятение — все свелось вот к этому, к красной кляксе на белом, к обычному пятну. Послание ее тела неизвестно кому, недвусмысленное объявление о том, что она пуста. Говоря языком современных абстракций, в руке у нее был не иероглиф и не символ, нет, — это была она сама, то, к чему все свелось; бесспорно — она сама. Руфь спустила воду.

IV. Как реагировал Ричард

— Алло?

Голос принадлежал Ричарду.

Джерри уже стоял у двери. Шел десятый час, и ему пора было возвращаться в коттедж — на третью ночевку. Внезапно зазвонил телефон — не подумав, он снял трубку. И сейчас держал в руке низкий, гулкий, напыщенный, отвратительный голос Ричарда. Он произнес в ответ:

— Алло.

— Джерри, — сказал Ричард, — мне кажется, нам вчетвером неплохо бы поговорить.

— О чем?

— Я думаю, ты знаешь о чем.

— Знаю? — Голос звучал у него в ухе, и никуда от этого не деться, не повернуть поток вспять и не перекрыть его, этот поток, который, казалось, уносил куда-то — одно за другим — все его опустившиеся внутренности. У Джерри почва ушла из-под ног.

Ричард сказал:

— Ты именно такую хочешь вести игру, Джерри?

— Какую игру?

— Прекрати, давай все-таки будем взрослыми. Салли сказала мне, что вы с ней вот уже полгода любовники.

Джерри молчал и в образовавшейся воронке тишины снова и снова спрашивал себя, можно ли сказать про женщину — “любовник”.

— Так что же? — спросил Ричард, — Она врет?

Это была вилка. Когда они только переехали сюда, Джерри с Ричардом играли в шахматы, пока Джерри не стал уклоняться. Уклонялся же он не потому, что они с Ричардом были неравными игроками, — как ни странно, их силы были равны, — а потому, что сам себя презирал за малодушный страх перед проигрышем. Джерри не получал удовольствия от игры, если проигрывал; у него даже не возникало чувства товарищества, как в покере, или приятного ощущения, что он поупражнял свой ум, — в памяти оставался лишь затхлый, прокуренный воздух, долгие часы бдения и уверенность, что его перехитрили. При вилке конем кто-то всегда теряет фигуру.

Руфь, бледная от перенапряжения, стоя у камина, делала ему знаки и одними губами беззвучно спрашивала: “Кто это?”

Джерри вздохнул — ему сразу стало легче: ничего тут не поделаешь, будь как будет, будь все, как будет.

— Нет, — сказал он Ричарду. — Она не врет.

Теперь Руфь поняла, кто это. Краешком глаза Джерри видел, как она замерла, точно ее сковало льдом.

— Прекрасно, — сказал Ричард. — Это уже шаг. Джерри рассмеялся.

— В каком направлении?

— Вот именно, — сказал Ричард с комическим удовлетворением, видимо, записывая себе очко. — В самом деле — в каком? В том направлении, куда ты хочешь нас повести, приятель Джерри. Мы с Салли очень интересуемся — куда.

— Как на это посмотреть, — сказал Джерри уклончиво. Он чувствовал себя преданным. Салли внушила ему, что с Ричардом, в общем-то, можно не считаться. А с ним приходилось считаться, и даже очень: теперь, когда он узнал, все изменилось. Салли соврала.

— А вы не могли бы оба к нам приехать? — спрашивал тем временем Ричард. Казалось, вернулись былые дни — до того, как Конанты стали отказываться, когда Ричард или Салли неожиданно звонили и приглашали их пойти в пятницу вечером в кино или в воскресенье вместе выпить.

И Джерри в тоне тех былых дней ответил:

— Слишком поздно, мы не сумеем никого позвать, чтобы посидеть с детьми. — Потом вспомнил про создавшееся положение, о котором так отчаянно стремился забыть, и спросил:

— А может, вы приедете? У вас же есть Джози.

— Сегодня у Джози свободный вечер. Разве ты не знаешь нашего распорядка?

— В общем-то, не слишком хорошо. А как насчет завтрашнего вечера? Не лучше ли переждать, чтоб собраться с мыслями?

— Мне нечего собираться с мыслями, — мягко сказал Ричард. Казалось, он читал по готовому сценарию, тогда как Джерри импровизировал. — Мое дело во всем этом — сторона. Никто со мной не советовался, никто не интересовался моим мнением.

— Да как же мы могли? И что бы мы тебе сказали? Голос Ричарда зазвучал вновь, вкрадчивый, какой-то полужидкий, словно выдавливаемый из тьюбика:

— Понятия не имею, никакого понятия не имею. Я хочу, чтобы ты сказал все, что ты хочешь сказать, Джерри. По-моему, ситуация-то аховая.

— Ничего подобного. — Джерри старался нащупать опору, удержаться, не пасть ниц; хотелось же ему распластаться, блеять, умолять, забраться с Руфью в постель, натянуть на голову одеяло и хихикать.

Но вот терпение у Ричарда лопнуло, и от этого, а также от сознания своей силы в его мягком голосе образовались сгустки. Он спросил:

— Почему ты не спрашиваешь, как Салли? Насколько я понимаю, она говорит тебе, что я ее третирую. Тебе не кажется, что если бы я действительно так себя вел, сейчас мое поведение было бы оправданно?

А ведь под открытым небом лучше, правда? Больше кислорода.

А теперь отпусти меня!

— Так как же она? Ричард сказал:

— В неприкосновенности. Вы приедете или нет?

— Подожди. Я поговорю с Руфью. — Руфи он сказал:

— Случилось. Ричард знает.

— Откуда? — Почти беззвучно.

— Видимо, Салли сказала ему. Мы не могли бы раздобыть миссис О.? Руфь сказала:

— Ужасно не люблю ее беспокоить. Дай я поговорю с Ричардом.

Джерри передал ей трубку, и она сказала каким-то застенчивым и удивительно ласковым тоном:

— Привет. Это я. Та, другая. — Джерри показалось, что, слушая Ричарда, она сдерживает улыбку. — Извини, — сказала она, — я хотела, несколько раз уже совсем было собралась, но я не знала, как ты себя поведешь. Я боялась, что ты вынудишь их сбежать... — Она снова послушала, и сначала шея, потом щеки у нее зарделись. — ...Я вполне реалистична.

— Руфь рассмеялась и в ответ на какой-то вопрос Ричарда сказала:
— Вермут и бурбон. Тебя — тоже. — И с улыбкой повесила трубку.
— Что он сказал?
— Он сказал: “Детка, тебе надо было все мне рассказать. Я же большой мальчик”.
— Он действительно ни о чем не догадывался? Фантастика.
— Он подозревал, что у нее, возможно, кто-то есть, но никак не думал, что ты. Разве что, сказал, однажды на волейболе... вы с ней обменялись таким взглядом — он заметил. Но если уж ты непременно должен знать не слишком лестную правду: он не считал тебя способным на это.
— Вот сукин сын. Почему же я на это не способен?
— И еще он сказал, что я вела себя неверно. Я должна была сказать тебе — убирайся: он уверен, как он выразился, что ты тут же поджал бы хвост.
— А еще что он сказал?
— Говорит, она сказала ему, что вы с ней спили все лето и никакого перерыва в мае не было. Это правда?
— Более или менее. Пожалуй.
— И часто?
— Не знаю. Раз в неделю. Реже. После ее поездки во Флориду я виделся с ней всего два раза. — Лицо у него пылало, будто его вжимали и вжимали в щелку.
— Значит, тот уговор, — сказала Руфь, — наш уговор на пляже — ты вообще и не собирался выполнять? Ты меня просто обманул?
Мы плохо поступаем, верно?
Да. Мы правы, но мы поступаем плохо.
Не смей соглашаться со мной, Джерри. Из-за тебя, я чувствую себя такой грешницей.
— Конечно, я собирался его выполнять. Но через неделю мне это показалось глупым. Как бы я мог сделать выбор между вами, если бы не видел ее? Не плачь. Теперь Ричард все знает. Ты уже не одинока.
Миссис О. пешком прошла четверть мили до их дома и появилась, с трудом переводя дух: грудь ее бурно вздымалась и опускалась под выцветшим бумажным платьем, светленьким, с наивным рисунком, точно она носила это платье еще девочкой и оно выросло и постарело вместе с ней. Она вошла в дом, принеся с собой запах осени и яблок. Конанты посадили ее перед телевизором, заверив, что все дети уже спят.
— Вы такая милая, что пришли, — сказала Руфь. — Мы постараемся вернуться до полуночи. Нас вызвали друзья — у них неприятности.
Джерри был потрясен: он понятия не имел, что Руфь умеет лгать. Но, в общем-то, это ведь была и не ложь. В машине — они взяли ее новую машину “вольво” цвета тыквы — он спросил:
— А он сказал, почему Салли раскололась?
— Нет. Он сказал только, что как начала рассказывать, так и не может остановиться. Они разговаривают с самого ужина.
— Это до того не похоже на нее — все рассказать. Но, может, оно и к лучшему.
— Что ты намерен делать?
— Не знаю. В какой-то мере это зависит от того, что будет делать Ричард. Как ты думаешь, он пристрелит меня?
— Сомневаюсь. У него в конце-то концов и у самого были романы.
— А в связи с чем ты сказала ему насчет бурбона и вермута?
— Он спросил, что мы будем пить.
— Знаешь, — сказал Джерри, — ей-богу, я начинаю бояться, что я — трус. Я неуверенно говорил с ним по телефону?
— Нет. Мне даже показалось, что довольно вызывающе.
— Какая ты милая! А по-моему, я говорил неуверенно. Что-то насчет сердитых людей — совсем как в школе. Меня всегда лупили на спортивной площадке.
— У тебя тело крепче, чем у Ричарда.
— А ты откуда знаешь?

Они подъехали к дороге, ведущей к дому Матиасов, свернули на нее и стали подниматься на холм. Выхваченные фарами кусты Матиасов выскакивали на них, как убийцы. Джерри, преодолевая неприятное ощущение в горле — совсем как позывы на рвоту, — повернулся к сидевшей рядом тени.

— Я не согласен с Ричардом, что ты неверно себя вела, — сказал он. — Ты прекрасно держалась все лето — лучше никто бы не мог. Как бы ни повернулись события, ты не виновата.

— Ты женишься на ней, да? — Она выкрикнула это так громко, словно он съехал с дороги или задавил зайца. Он остановил машину там, где дорога кончалась, у гаража. С боковой лужайки, из темноты, на них с лаем выскочил Цезарь — обнюхал Джерри и тотчас умолк. И лизнул знакомую руку. Три звезды, образующие пояс Ориона, яркие, чистые, висели над лесистым холмом. Матиасы включили свет у задней двери, но не вышли навстречу, предоставив им самим добираться по неровным плитам, мимо разросшегося винограда и выбившихся из трельяжа роз. Еще не отцветшие астры обрамляли с двух сторон гранитное крыльцо Салли — бывший мельничный жернов. Из маленького окошечка высоко в залитом луной доме раздался плач Теодоры, разбуженной лаем Цезаря.

Джерри вспомнилось:

Теодора теперь всегда спит днем?

Нет, но она любит поспать. Она — как я. Ленивая.

Ты не ленивая. Ты — чудо.

Тебе просто нравится мой костюм.

Мои ребята уже непременно вломились бы в комнату.

Вы с Руфью плохо воспитываете своих детей.

Это все так говорят?

Я так говорю.

Ты слишком сурово судишь.

— Приятель Джерри! — В прихожей появился Ричард, и Джерри на всякий случай отшатнулся, но тот лишь сжал его плечи, точно хотел на ощупь проверить то, что ускользало от его понимания. Его жесткие темные волосы были взлохмачены, отчего большая голова казалась еще больше. — Милая Руфь! — Он поцеловал ей руку — фигляр с серьезным лицом в плохо освещенном холле старого колониального дома.

— Спасибо, — просто сказала она. — Как ты, Ричард?

— О, он — отлично, — раздался пронзительный голос невидимой Салли где-то за стенами холла. — Он уже давно не был так счастлив. Вы посмотрите на него, посмотрите! — И правда: когда они перешли в ярко освещенную гостиную, Джерри увидел, что Ричард, весь лоснясь от пота, словно его покрыли глазурью, то скользил, то мелкими шажками передвигался по гостиной с неестественной для него раскованностью — словно медведь на роликах.

Но взгляд Джерри тотчас притянула к себе красота Салли. Пока он не видел ее — пусть даже короткое время, — он забывал, сколь безраздельно она владеет им. Когда на волейболе, в сумятице бросков, ему удавалось мельком увидеть сквозь сетку и пыль ее лицо, она всякий раз заново заполняла его, как будто за нет сколько секунд, прошедших с того момента, как он в последний раз ее видел, образ ее уже успел чуть стереться в его памяти. Она сидела сейчас очень прямо в кресле с высокой спинкой — том, что было обтянуто желтым габардином. Ноги она скрестила, так что одна голень блестела во всю длину, а тонкие руки сплела на коленях. Она казалась такой высокой в этом кресле. Джерри всегда забывал, какая она высокая, какие у нее широкие бедра, словно не мог поверить, что его духовной потребности в любви дано такое тело: Он мягко произнес: — Привет.

Она эхом откликнулась:

— Привет! — и сложила рот в гримаске, которая ему так нравилась, с таким чуть насмешливым и боязливым выражением — а дальше что? — будто после исповеди.

Но зачем мне это рассказывать?

Мне казалось, ты должен знать. Я хочу, чтобы ты знал меня. Если уж мы любим друг

друга, я хочу, чтобы ты любил меня такую, какая я есть. Какой я была.

Сколько же их было?

Мы ведь жили врозь, Джерри. По-моему, не слишком много. Во всяком случае, я так гордилась собой — еще бы: целый месяц прожить без мужчины.

— Что мы будем пить? — спросил Ричард. На нем были грязные бежевые штаны и полосатая рубашка на пуговицах, рукава которой он закатал выше локтя, точно трудяга. Спина на рубашке потемнела от пота, — как летом, хотя оно давно кончилось. — Я-то уже выпил, — продолжал он, обращаясь главным образом к Руфи. — И даже не один стакан. У меня праздничное настроение, точно я стал отцом. Гордым отцом, у которого родилось два прелестных молодых рога. Правда, маленьким чертенятам уже исполнилось полгода, но я уезжал по делам, когда они родились, и появились они, собственно, без меня — вылезли и торчат.

— Видишь? — обратилась Салли к Джерри. — Все острит. А на меня ему плевать — считает, что все это очень забавно.

Джерри передернул плечами.

— Сегодня его вечер, — сказал он ей.

Ричард повернулся со своей странной тяжеловесной легкостью, бутылка калифорнийского сотерна болталась на ремне у него за плечом, голова, как всегда, была чуть склонена набок.

— Благодарю, Джерри, — сказал он. — Вот это мне нравится. Мой вечер. А ведь это и в самом деле мой вечер. У тебя был твой вечер, — он поклонился Руфи, — у вас двоих тоже был свой вечер — вечера. Теперь настал мой черед. У каждого — свой вечер. Смотри, Джерри. — И свободной рукой он изобразил у себя надо лбом рига. — Мой сын, рогоносец. Никто не смеется.

— Зачем ты нас вызвал? — спросила Руфь. — Ведь уже поздно.

— Руфь, — сказал он, — ты права. Ты всегда права. Мне бы очень хотелось, чтобы ты была моим другом.

— Я и есть твой друг.

— Ты бы согласилась выйти за меня замуж?

Руфь вспыхнула и отказала ему так мягко, словно предложение было сделано всерьез.

— Спасибо, — сказала она, кокетливо склонив голову в незнакомой Джерри манере, — но я не думаю, чтобы ты этого хотел, да и не думаю, чтоб я хотела. — Ричард стоял, твердо упершись ногами в пол, и моргал; бутылка подрагивала у него за плечом. — Но это приятная мысль, — добавила Руфь.

Ричард сказал:

— Я только пытаюсь понять, чего от меня ждут. Меня слишком поздно в это посвятили: извините, если я глупо себя веду.

Джерри, который всегда держался у Матиасов весело и беспардонно, спросил, указывая на бутылку:

— А мы это будем пить?

Ричард с удивлением на него посмотрел и медленно произнес:

— Нет, Джерри, это не такое уж хорошее вино, верно? Его пьют студенты во время пикников на пляже, а мы вроде бы из этого возраста вышли. Мы вроде бы слишком для таких вещей взрослые — одни больше, чем другие. Верно?

Он ждал, и Джерри вынужден был сказать:

— Верно.

— Но я вижу подходящее вино, а ты, приятель Джерри? Для данного повода. Белое, не так ли? Белое, как символ невинности? За вот этих двух наших целомудренных невест? У меня есть немного чилийского, но оно, пожалуй, чуточку эклектичное. Ты здесь у нас самый большой эклектик — так что ты и решай. Значит, не чилийское. Лучше бордо. Нет, после ужина не годится. Я полагаю, вы оба поели.

— Конечно, — сказал Джерри. Как и Руфь до него, он тоже счел, что его спрашивают всерьез. Ехал на казнь, а его еще угощают. Руфь в упор смотрела на него, стремясь привлечь его внимание, и пальцем перечеркнула губы, показывая, что он улыбается и что

это надо прекратить.

Ричард тем временем с грохотом переставлял бутылки в своем тесно заставленном винном погребе. Он отвел под него целый чулан, оборудовал там маленькую мойку, густо застроил все полками, где громоздились бутылки. Его почерневшая от пота спина выпрямилась, и он вытащил за горлышко желтую бутылку больше кварты, с желтой этикеткой.

— Рецина! — возвестил он. — Хоросая грецкая на-пи-и-тока! Греки знают, как идти навстречу своей судьбе. — С другой полки он достал четыре винных бокала в форме тюльпанов, сдул с них пыль и тщательно расставил квадратом на кафельной крышке кофейного столика. Посмотрел на плоды своих трудов, переставил бокалы четырехугольником другой формы, искоса глянул на Джерри — казалось, он сейчас прыснет со смеху и одновременно ударит его по спине. Он и прыснул, но беззвучно, рука же замерла в воздухе, так и не дотронувшись до Джерри, хотя тот весь сжался. Ричард откупорил бутылку, разлил вино по бокалам, отнес бокал жене, другой — Руфи, протянул бокал Джерри и поднял свой собственный на уровень глаз — на уровень зрячего глаза. Он внимательно разглядывал вино, проверяя, нет ли осадка, затем медленно произнес: — Мне хотелось бы предложить тост, но поскольку вы все трое не являетесь моими друзьями, в друзьях у себя остаюсь я один. Итак, предлагаю тост за меня. За меня. — Он выпил, и остальные, возможно, последовали бы его примеру, но он опустил бокал прежде, чем они успели поднести свои бокалы к губам. — Никто не пьет, — сказал он. — До чего же невежливо. До чего невоспитанно. Можно еще попробовать? Предложу другой тост. Дайте подумать. За счастье? Не будем дурака валять. За королеву? Это кто такая? Ага. У нас же есть дети. За наших деток. За этих хитрых маленьких дьяволят, за всех — сколько их у тебя, Джерри? Я что-то забыл.

— Трое.

— Трое. Правильно. Ты хороший отец. Я всегда думал, что ты хороший отец. Отличный папка. Итак, поехали. За полдюжины маленьких дьяволят, будущее Америки, да благословит их Господь всех до единого. — Салли покорно отхлебнула вина; Руфь и Джерри последовали ее примеру. Рецина пахла горелым лаком и на вкус отдавала лекарством. Они выпили вместе, и это как бы объединило их в ритуале, связанном с тайной, которую еще предстояло раскрыть.

Войдя в комнату, Руфь села у двери на первый же стул с прямой спинкой и плетеным из камыша сиденьем, случайно попавший сюда из столовой. Джерри сел посередине белого дивана с подушками из гусиного пуха, так что обе женщины — Руфь у двери и Салли в кресле у камина — находились на равном от него расстоянии. Он скрестил ноги и широко раскинул руки, обхватив спинку дивана. А Ричард, перетягивая чашу весов в сторону Руфи, тяжело опустился подле нее в потертое кожаное кресло, которое, как знал Джерри, Салли терпеть не могла.

Почему ты его терпеть не можешь? Оно так похоже на него. Правда, ужасно? Я хочу сказать, ужасно, что я говорю такое.

Драное, потрескавшееся, это было кресло отца Ричарда. Утонув в тусклой старой коже, Ричард как бы превратился в призрак собственного отца. Вялым движением он поднял руку ко лбу, голос его звучал обманчиво устало, мертво.

Он сказал:

— Джерри, Салли поведала мне, что ты большой спец. Откровенно, я удивлен.

Джерри сделал еще глоток вина и сказал:

— Ты уверен, что эту штуку безопасно пить?

— Оно постепенно вам понравится, — пообещал Ричард. — В нем есть смола. Я по дюжине ящиков в месяц опустошаю. В нем всего двадцать градусов. Господи, приятель Джерри, я вот что хочу сказать: ты повел себя совсем не так, как принято среди людей.

— То есть? Говори же.

— Я имею в виду не то, что ты спишь с ней: не могу я слишком уж сердиться на то, что ты с ней спишь — я сам этим занимался, да и не только я. Она тебе, наверно, говорила? В ту зиму, когда я ушел, она спала даже с лыжным инструктором.

Джерри кивнул.

— Ей-богу, Джерри, ты должен был либо с ней порвать, либо вместе уехать куда-то. Ты же превратил жизнь этой женщины в ад. Ты превратил жизнь... моей жены в ад. — Для большей убедительности он трижды ударил по ручке кресла.

Джерри передернул плечами.

— У меня ведь тоже есть жена.

— Ну, так нужно выбирать. В нашем обществе приходится выбирать.

— Не вынуждай его! — неожиданно выкрикнула Руфь. — Еще не время.

Ричард лениво повернулся к ней.

— Ерунда, Руфь. Шесть месяцев. Они ведь пытались порвать. Если это продержалось у них шесть месяцев, значит, теперь уж навсегда.

Как здорово услышать такое. Джерри почувствовал, что Ричард, наконец, поставил все на прочную почву.

— Гораздо дольше, — сказал он. — Я всегда любил Салли.

— Отлично, — сказал Ричард. — Что есть — то есть. Салли-детка, дай-ка мне карандаш и бумагу. Руфь вскочила на ноги.

— Что ты мелешь, Джерри? Нет. Нет. Я здесь не останусь больше ни минуты. — И она выскочила за дверь. Джерри поймал ее уже в холле, между кухней и дверью на улицу.

— Руфь” — сказал он. — Теперь ты знаешь, как обстоит дело. Ты знаешь, что между нами ничего уже нет. Дай этому излиться. Прошу тебя, дай излиться.

Дыхание его жены было горячим, влажным, трепетным.

— Она — сука. Она убьет тебя. Она убьет тебя, как почти убила его.

— Глупо с твоей стороны ненавидеть Салли. Она же беспомощный человек.

— Как ты можешь говорить, что она беспомощная? Кто же, по-твоему, всех нас сюда собрал? Мы пляшем на ее свадьбе.

— Не уходи. Не оставляй нас.

— А почему, собственно, я должна сидеть и смотреть, как тебя общипывают эти два хищника? Отбирают у тебя детей, талант, деньги...

— Деньги?

— А зачем еще, по-твоему, понадобились Ричарду карандаш и бумага? Он счастлив.

Неужели ты этого не видишь, Джерри? Он счастлив, потому что избавляется от нее.

— Он пьян.

— Отпусти меня. Оставь свою любовную галиматью для других.

— Прости. — Он прижал ее к стене и крепко держал за плечи, словно арестовал. Когда же он ее отпустил, она не сделала ни шага к двери, а стояла, насупясь, тяжело дыша, — его жена, всей своей кожей излучавшая знакомое тепло. — Вернись, давай поговорим все вместе, — попросил он.

— Я и вернусь, — сказала она, — и буду бороться за тебя. Не потому, что ты мне так уж нравишься, а потому, что мне не нравятся эти люди.

— И Ричард тоже?

— Я ненавижу его.

— Не надо ненавидеть, — взмолился он. — Слишком все мы скоры на ненависть. А нам сейчас надо друг друга любить. — Когда он был мальчиком, всё в церкви нагоняло на него тоску, кроме причастия, того момента, когда они толпой устремлялись к ограде и облатки таяли у них во рту. Ему казалось сейчас, что нечто подобное произойдет и в гостиной или уже произошло. Его неверующая жена позволила отвести себя назад. Он гордился тем, что может показать Матиасам, какую власть еще имеет над нею, — показать, что она до конца остается его женой.

Ричард нашел карандаш и бумагу и пересел на краешек кресла, чтобы удобнее было писать на кофейном столике. Салли по-прежнему сидела не шевелясь — ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо опухло, глаза были закрыты. Наверху продолжала плакать малышка, разбуженная приходом Конантов.

— Салли, — сказал Ричард, — твой ребенок плачет.

Следуя железно выработанному защитному рефлексу держаться с подчеркнутым

вызовом, что так отличало ее от добропорядочных женщин Коннектикута, Салли встала, откинула волосы и широким шагом вышла из комнаты.

Почему ты плачешь? Салли? Почему?

Это слишком глупо. Прости.

Скажи мне. Прошу тебя, скажи.

Ты будешь смеяться.

Нет, не буду.

Ты прости меня: я все тебе испортила.

Ничего подобного. Послушай, ты — чудо. Ну, скажи же.

Я как раз вспомнила, что сегодня — Покаянная среда note 24 , Великий пост начался.

О! Бедная моя любовь! Мое чудо, моя заблудшая католичка.

Это я-то заблудшая?

Не заблудшая, если ты еще думаешь о Покаянной среде. Вставай же. Вставай, одевайся, иди в церковь и облегчи душу.

Это такое лицемерие.

Нет. Я-то знаю, как оно бывает.

Должно быть, я действительно немного чокнутая, если, лежа с мужиком в постели, терзаюсь, что сегодня — Покаянная среда. Я все тебе испортила. И ты уже погрузился и притих.

Нет, мне нравится, что ты об этом вспомнила. Есть ведь такая штука — духовное удовлетворение. Ты мне даешь это удовлетворение. Так иди же. Оставь меня. Иди к обедне.

Сейчас не хочется.

Подожди. Я сейчас дотянусь до пепельницы.

Не шути с Богом, Джерри. Я боюсь.

А кто не боится?

Руфь, заразившись энергичностью Салли, пересекла комнату и, подойдя к гравюре Бюффе над камином, сказала:

— Отвратительная мазня. Все это отвратительно. — И жестом охватила гравюру Уайеса, литографии Кете Кольвиц, анонимную акварель, на которой был изображен одинокий лыжник и его синяя тень под таким же синим скошенным небом. Жест включал сюда и мебель. — Дешевка, — сказала она. — У нее вкус к дорогой дешевке.

Оба — Ричард и Джерри — рассмеялись. Затем Ричард медоточивым голосом сказал:

— Руфь, у тебя есть достоинства, которых нет у нее, а у Салли есть достоинства, которых нет у тебя.

— О, это я знаю, — поспешно сказала она, вспыхнув, и Джерри возмутило, что Ричард осадил ее: ведь она от природы такая застенчивая.

А Ричард тем временем продолжал:

— Вы обе очень аппетитные бабенки, и мне жаль, что ни одна из вас не хочет меня в мужья.

Возмутило Джерри и это упорное самобичевание. Он сказал Ричарду:

— А ты, оказывается, философски относишься ко всему этому.

— Что ты, я весь киплю, Джерри. Весь киплю.

— Так вывел бы ты его во двор, — посоветовала Руфь, — и вздул как следует!

— Я уверен, что ты меня одолеешь, — сказал Джерри. — Ты на целых двадцать фунтов тяжелее. Мы с тобой вполне могли бы выступать как Листон и Пэттерсон.

— Я так не действую, — заявил Ричард. — Но что я могу сделать — и об этом надо будет подумать, — я могу нанять кого-нибудь, чтоб тебя избили. Когда ты в винном деле, одно знаешь твердо — где горлышко. Дай подолью еще.

— О'кей, спасибо. Ты прав, действительно, чем больше пьешь, тем больше оно нравится.

— А тебе, Руфи-детка?

— Капельку. Один из нас все-таки должен вернуться и отвезти домой эту женщину, которая сидит сейчас с нашими детьми.

— Вы ведь только что приехали, — заметил Ричард, до краев наполняя ее бокал. — В

самом деле, что-то редковато мы видели этим летом Конантов, и я чрезвычайно обижен. У меня такое ощущение, что они задрали нос.

— Я знала, что так будет, — сказала Руфь. — Мне очень жаль, но это одна из причин, по которой меня так и подмывало тебе рассказать. Жизнь моя разваливалась, и мне не хотелось обижать вас, избегая общения с вами. Но я просто не в состоянии была видеть Салли чаще, чем необходимо. Волейбол был для меня уже вполне достаточным адом — больше выдержать я не могла.

— Ты все лето знала, что они живут?

— Нет, я думала, что они прекратили. Ведь Джерри дал мне обещание. Так что я оказалась даже тупее тебя.

— Да, тупость изрядная, — сказал Ричард. — Ну, а я, видно, считал Джерри человеком со странностями, не знаю.

Джерри сказал:

— Ты просто прелесть. Но как же ты все-таки узнал?

— По телефонным счетам. Просмотрел их за весь год. Там был счет на разговор по вызову из Нью-Йорка этой весной, номер был мне совершенно неизвестен, но это не породило у меня подозрений. Осторожничать они перестали только в августе. Уйма разговоров с нью-йоркским номером — видимо, это его рабочий телефон, и самое нелепое: она записала пару разговоров с ним из Флориды на наш счет.

Руфь сказала:

— Значит, она хотела, чтобы ты обнаружил. Она разозлилась на Джерри за то, что он не поехал к ней во Флориду.

Джерри сказал:

— Все это не так. Он просто избил ее, и она призналась. Он настоящий громила. Ты же слышала, что он говорил. Он большой бесстрашный громила из винной лавки — наверное, нанял кого-нибудь, чтобы избить ее.

Ричард сказал:

— Поосторожней, Джерри. На свете есть такая штука, как диффамация. Я никогда не бил Салли — это одна из ее фантазий. Она, может, и сама этому верит, Господи, в жизни не думал, что она так далеко зайдет. Тебе просто продали травленный товар, сынок.

— Я видел на ней синяки.

Руфь сказала:

— Джерри. Неужели надо говорить такое?

— Пусть болтает, Руфь, пусть все выкладывает. Дай накукарекать счастливому петуху. Я видел мою истинную любовь без одежды. Каково, а? Я смотрел на голую красоту.

Джерри сказал:

— Один раз ты так ударил ее по голове, что она целую неделю не слышала на одно ухо.

— Э-э? Это еще что за разговорчики? А ты насчет самообороны слыхал? Я поднял руку, чтоб защитить глаза, а она налетела на нее головой. Хочешь посмотреть на мои синяки?

— Весь потный, но вдохновленный этой мыслью, Ричард встал и сделал вид, будто намеревается расстегнуть ремень. В эту минуту Салли с Теодорой на руках вернулась в комнату; с каким-то деревянным презрительным достоинством она прошла сквозь группу, сбившуюся воедино за время ее отсутствия. Она опустилась в кресло в высокой спинкой и принялась укачивать на коленях отупело-сонную девочку. Джерри обе они казались блестящими куклами.

Ричард сказал:

— Салли-О, твой дружок Джерри тут удивляется, с чего это ты выдала его.

— Ему сообщила моя невестка, — сказала Салли Конантам.

— Ни черта подобного, — сказал Ричард. — Она только сообщила, что у тебя есть любовник, который звонит тебе во Флориду каждый день, но кто он — она не знает, а я, черт побери, прекрасно знал, что у тебя все лето был любовник: очень уж по-сволочному ты относилась ко мне. Ты же чуть не отправила меня лечиться. — И, обращаясь к Руфи и Джерри, пояснил:

— Не хотела спать со мной. А раз Салли чего-то не желает, значит, есть на то причина. Я

только до нее дотронусь, она мигом чего-нибудь выкинет — только раз или два было иначе, когда Джерри, видно, не мог добраться до нее. Надеюсь, дорогая, — сказал он, обращаясь уже к Салли, — ты не пудрила мозги своему любовнику и он не считает, что тебя никто не лапал.

— Меня — что? — переспросила Салли. Она сидела с девочкой на коленях словно замурованная в звуконепроницаемой кабине.

— Не лапал. Не опрокидывал. Не обнимал с вожделием, — пьяный-пьяный, а Ричард все же смутился от своих слов.

— Видишь, она все еще не слышит одним ухом, — сказал Джерри, и Руфь расхохоталась. А Ричард, утратив всякое чувство юмора, никак не мог отрешиться от своей обиды; оба его глаза — зрячий и незрячий — сосредоточенно смотрели в пустоту, словно перед ними вставали картины этого возмутительного лета.

— Я просто не мог понять, — продолжал он. — Я же ничего такого не сделал. Были у нас неприятности, но потом ведь мы помирились. И я каким был, таким и остался — тем же старым идиотом, всеобщим козлом отпущения

— Прекрати, — сказала Руфь. Джерри потрясла ее сестринская прямота; у него возникло ощущение, будто их всех четверых сбили в одну семью, и он, единственный ребенок, обрел, наконец, сестер и брата. Он был счастлив и возбужден. Хоть бы никогда с ними не расставаться.

— Эта женщина... — Ричард театральным жестом указал на Салли, и на опухшем от сна озадаченном личике Теодоры появилась улыбка, — ...она мне устроила сущий ад.

— Ты повторяешься, — сказал Джерри.

— И в довершение всего, — продолжал Ричард, — в довершение всего она еще нажаловалась своему дружку, с которым спит, будто я бью ее, а я в жизни не поднял на нее руки — разве что для самозащиты, чтоб мне самому не раскроили голову. Салли, ты помнишь эту подставку для книг?

Салли вместо ответа лишь холодно посмотрела на него и, глубоко вздохнув, издала долгий, почти астматический хрип.

— Бронзовая, — к сведению Джерри и Руфи пояснил Ричард, — а мне, ей-богу, она показалась свинцовой: я поймал ее у самого плеча. И все из-за того, что я спросил, почему она перестала спать со мной. Помнишь, Салли-О?

Салли напряглась и выкрикнула, вся трясась:

— Послушать тебя, так я все это нарочно вытворяла. А мне тошно от любви, я бы рада была не любить Джерри. Я вовсе не хочу причинять тебе боль, я не хочу причинять боль Руфи и д-д-д-детям.

— Можешь обо мне не плакать, — сказала Руфь. — Слишком поздно.

— Я достаточно наплакалась из-за тебя. Я жалею всех, кто настолько эгоистичен, настолько слаб, что не может отпустить мужчину, когда он хочет уйти.

— Я пытаюсь удержать отца моих детей. Неужели это так уж низко? Да!

— Ты так говоришь, потому что ты к своим детям относишься как к багажу, как к безделушкам, которые в подходящую минуту можно выставить напоказ.

— Я люблю моих детей, но я уважаю и мужа — уважаю настолько, что если бы он что-то решил, я бы не стала ему мешать.

— Но Джерри ничего ведь не решил.

— Он слишком добрый. Ты злоупотребляла этой добротой. Ты ею пользовалась. Ты не можешь дать ему то, что могу дать я, ты не любишь его. Если бы ты его любила, не было бы у тебя этого романа, о котором нам со всех сторон говорят.

— Девочки, девочки, — вмешался Ричард.

— Но он сам меня на это толкал, — крикнула Руфь и согнулась на стуле, словно отражение, преломленное в воде, — я думала, я стану ему лучшей женой! — От слез она пригнулась еще ниже, перекрутилась жалкой закорючкой — Джерри казалось, что от горя и унижения она сейчас вылетит из комнаты. А она, раскрывшись перед ними, сидела вся красная и от стыда кусала костяшку пальца. Пытаясь отвлечь от нее внимание, Джерри заговорил. Он заботливо спросил Салли:

— Ты что же, не слышала? Все уже позади, нечего устраивать потасовку. Я предлагаю тебе: давай поженимся.

Салли неуклюже повернулась к нему, скованная в движениях ручками кресла и ребенком на коленях; в сдвинутых бровях и в голосе был гнев:

— Мне кажется, ты не очень-то в состоянии мне это предлагать. — Фраза оборвалась, не законченная, растворившись во влажной улыбке, многозначительной улыбке, чуть перекосившей лицо под возмущенно нахмуренными бровями и показывавшей, что она понимает, как обстоит дело и в каком они положении, и прощает, прощает за все, что произошло, что происходит и что должно произойти, моля его — этой же горестной улыбкой, — чтобы и он простил.

Который час?

Восемь. Вставай, повелитель.

Только восемь? Ты шутишь.

Я уже с семи не сплю.

А я всю ночь не спал. Выходил. Снова ложился.

Сам виноват. Я же все время твердила тебе — спи.

Я не мог. Слишком ты хороша и непонятна. Ты дышала так тихо, я боялся, что ты исчезнешь.

Я есть хочу.

Хочешь есть? В раю-то?

Вот послушай. Сейчас услышишь, как у меня урчит в животе.

Какой у тебя суровый вид. Какой величественный. И ты уже одета.

Конечно. Можно так выйти на улицу? Или видно, что я только что выскочила из постели?

Недостаточно долго в ней пробыла.

Не смей. Одно я должна сказать тебе про себя: я настоящая сука, пока не выпью кофе.

В жизни этому не поверю. Все равно ты мне и такая нравишься.

Я чувствую запах кофе, даже когда включен кондиционер.

Поди ко мне на минутку, и я куплю тебе миллион чашек кофе.

Нет, Джерри, Ну же. Вставай.

На полминутки — за полмиллиона чашек. Нет, подожди. Встань вон там у окна: мне снится удивительный сон, будто я занимаюсь любовью с твоей тенью, но ты стоишь там, куда мне не дотянуться... я, конечно, ужасный извращенец. Ты — обалденная.

Ох, Джерри. Не спеши. Слишком ты меня любишь. Я стараюсь сдерживаться, а ты — никогда.

Я знаю. Это нечестно. Я боюсь смерти, но не боюсь тебя, поэтому я хочу, чтобы ты убила меня.

Ну, не смешно ли, что ты не боишься меня? Смешно! А все остальные вроде боятся.

Ричард держал карандаш над блокнотом — на каждом листике голубой бумаги стояло крупными буквами: “Кэннонпортский винный магазин” и крошечное изображение его фасада.

— Давайте зафиксируем некоторые факты. В каком отеле ты останавливался с нею в Вашингтоне?

В том отеле Джерри лежал с Салли, боясь услышать стук в дверь и обнаружить за ней Ричарда; теперь стук раздался, и у Джерри не было ни малейшего желания впускать Ричарда в ту памятную комнату. Он сказал:

— Не вижу, какое это имеет значение.

— Не хочешь мне говорить. Прекрасно. Салли, в каком отеле? — И даже не дав ей времени ответить, спросил:

— Руфь?

— Понятия не имею. Зачем тебе это нужно?

— Мне нужно знать, потому что все это распроклятое лето я был вонючим посмешищем. Я как-то сидел тут и вспоминал — все лето что-то было не так: всем сразу становилось весело, стоило мне появиться. Помню — очень меня тогда это задело — подошел я у

Хорнунгов к Джейнет и Линде, они шептались о чем-то, а как увидели меня, даже побелели. “Что происходит?” — спросил я, и лица у них стали такие, точно я навонял при них, да еще с трубным звуком.

— Ричард, — прервал его Джерри. — Я должен тебе кое-что сказать. Ты никогда мне не нравился...

— А ты всегда мне нравился, Джерри.

— ...но моя связь с Салли привела к тому — ты уж меня извини, — что и ты полюбилея мне. И не пей ты, пожалуйста, эту гадость, это дерьмовое виски или что это там у тебя.

— Рецина. Ваше здоровье. L'Chaim! Saluti! Prosit! note 25

Джерри разрешил налить себе еще вина и спросил:

— Ричард, где ты выучил все эти языки?

— Ist wunderbar, nichts? note 26

— Может, вам, мужчинам, и весело, но для нас, остальных, это мука, — сказала Салли. Она сидела все так же, застыв, как мадонна; Теодора на коленях у нее клевала носом, словно загипнотизированная.

— Уложи это отродье в постель, — сказал Ричард.

— Нет. Если я уйду из комнаты, вы сразу начнете говорить обо мне. Начнете говорить о моей душе.

— Скажи мне название отеля. — Ричард произнес это, ни к кому не обращаясь. Никто ему не ответил.

— Что ж, о'кей. Хотите вести жесткую игру. Очень хорошо. Очень хорошо. Я тоже могу вести жесткую игру. Мой папа был человек жесткий, и я могу быть жестким.

Джерри сказал:

— А почему бы и нет? Ты ведь мне ничем не обязан.

— Черт подери, Джерри, а ты заговорил на моем языке. Skol. note 27

— Пьем до дна. Chin-chin. note 28

— Проклятый мерзавец, не могу на тебя сердиться. Пытаюсь рассердиться, а ты не даешь.

— Он просто ужасен, когда вот так дурака валяет, — сказала Руфь.

— В чем же будет заключаться твоя жесткая игра? — спросил Джерри.

Ричард принялся что-то чертить в блокноте.

— Ну, я могу отказать Салли в разводе. А это значит, что она не сможет выйти замуж за другого.

Салли села еще прямее, губы ее растянулись в тоненькую линию, слегка обнажив зубы; Джерри увидел, что она не только не стремится уйти от объяснений, а наоборот: рада сразиться с Ричардом.

— Да, — резко сказала она, — и у твоих детей не будет отца. Зачем же вредить собственным детям?

— А с чего ты взяла, что я отдам тебе детей?

— Я же, черт побери, прекрасно знаю, что тебе они не нужны. Ты никогда их не хотел. Мы завели их, потому что наши психоаналитики сочли, что это полезно для здоровья.

Они в таком темпе обменивались репликами, что Джерри понял: они уже не раз сражались на этой почве.

Ричард улыбался и продолжал что-то чертить в блокноте. Джерри подумал, интересно, каково это видеть одним глазом. Он закрыл глаз и окинул взглядом комнату — стулья, женщины, бокалы сразу лишились одного измерения. Все стало плоским, невыразительным — таков мир, вдруг понял он, если смотреть на него глазами безбожника, ибо присутствие Бога придает каждой вещи объемность и значение. Это было страшно. Ему всегда был ненавистен вид Ричарда — эта задумчиво склоненная голова, елейно-нерешительный рот, нелепо-безжизненный глаз. Может... не потому ли, что, глядя на его лицо, он представлял себе, каково было бы ему жить без глаза? Он открыл глаз, и все окружающее, завибрировав, вновь стало объемным, а Ричард поднял голову и сказал Салли:

— Ты права. Мой юрист, во всяком случае, отговорил бы меня от этого. Давайте

рассуждать здраво. Давайте рассуждать здраво, ребята. Попытаемся приструнить этих маленьких зеленоглазых дьяволят. Джерри, я знаю, ты будешь хорошим отцом моим детям.

Я видел, как ты обращаешься со своими детьми, ты — хороший отец.

— Ничего подобного, — сказала Руфь. — Он садист. Он их дразнит.

Ричард слушал ее и кивал.

— Он не идеальный, но он вполне о'кей, Руфи-детка. Он человек незрелый, ну, а кто сейчас зрелый? Руфь продолжала:

— Он заставляет их против воли ходить в воскресную школу.

— Детям необходима, — сказал Ричард, по-пьяному тупо и сонно растягивая слова, — детям необходима жизненная основа, пусть самая идиотская. Джерри, я буду платить за их обучение и одежду.

— Ну, за обучение — конечно.

— По рукам.

Ричард принялся набрасывать цифры. В тишине как бы сдвинулась огромная, физически неощутимая тяжесть — так под папиросной бумагой в Библии обнаруживаются детали гравюры, изображающей ад.

Джерри воскликнул:

— Да, но как же будет с моими детьми?

— Это уж твоя забота, — сказал Ричард, сразу протрезвев.

— Отдай мне одного, — обратился Джерри к Руфи. — Любого. Чарли или Джоффри — ты же знаешь, как Чарли изводит малыша. Их надо разделить.

Руфь плакала; трясущимися губами она произнесла:

— Они нужны друг другу. Мы все нужны друг другу.

— Прошу тебя. Чарли. Разрешите мне взять Чарли. Салли вмешалась в разговор:

— А почему ты не можешь его взять? Они такие же твои дети, как и ее.

Руфь повернулась на своем стуле с прямой спинкой.

— Я бы, возможно, и отдала их, будь на твоем месте другая женщина, — сказала она. — Но не ты. Я не доверю тебе моих детей. Я не считаю тебя подходящей матерью.

— Как ты можешь говорить такое, Руфь! — возмутился Джерри. — Посмотри на нее! — Но уже сказав это, он вдруг понял, что, возможно, только ему она кажется нечеловечески доброй, только для него лучится добротой ее лицо — лицо, которое он видел запрокинутым от страсти под своим лицом: глаза закрыты, губы раздвинуты — словно отражение в воде пруда. Он видел в ней слишком многое и был теперь как слепой, и, возможно, они — Ричард и Руфь — видели ее точнее.

Ты не веришь, что я такая простая. А я простая, как... как эта разбитая бутылка.

— По воскресеньям, на каникулы — безусловно, — сказала Руфь. — Если я рехнусь или убью себя, — бери их. Но пока они остаются со мной.

— Да, — без всякой надобности подтвердил Джерри. Он находился в каком-то странном состоянии: стремясь побыстрее отделаться от Ричарда, он так себя взвинтил, что потерял над собой контроль и в этом состоянии неуправляемости невольно повысил голос, измеряя всю глубину своей беспомощности. Измерив же ее, он умолк, и наступила необъятная тишина.

Внезапно Ричард сказал:

— Ну, Салли-О, поздравляю. Поздравляю, девочка, ты своего добилась. Ты ведь многие годы нацеливалась на Джерри Конанта.

— В самом деле? — спросил Джерри.

— Конечно, — сказала ему Руфь. — Каждому это было ясно. Даже как-то неловко становилось. Ричард сказал:

— Не перечеркивай этого, Руфь. А может, это самая что ни на есть настоящая, подлинная amour de soeur note 29 . Давай пожелаем деткам счастья. Единственное, от чего ты никогда не будешь страдать, Джерри, — это от скуки. Салли — существо беспокойное. У нее много прекрасных качеств: она хорошо готовит, хорошо одевается, хороша — ну, относительно хороша — в постели. Но спокойной ее не назовешь.

— Разве мы об этом говорили? — спросил Джерри.

— Мы говорили об обучении детей, — сказала Руфь. И поднялась. — Я поехала домой. Больше я не могу.

— Должен сказать, — заявил Джерри с вновь пробудившимся желанием досадить этому типу, — что я сторонник государственных школ.

— Вот и я тоже, приятель Джерри, — сказал Ричард, — и я тоже. Это Салли настаивает на том, чтобы деток возили автобусом в школу для снобов.

— Это мои дети, — решительно заявила Салли, — и я хочу, чтобы они получили самое лучшее образование. — Мои — Джерри сразу заметил, что в этом слове для нее заключена особая красота: по ее артикуляции ясно было, какое это бесценное слово. Руфь спросила, нерешительно опускаясь снова на стул:

— А что, если Джерри захочет бросить работу? Ты согласишься жить с ним в бедности? Салли тщательно обдумала ответ и, казалось, была довольна результатом.

— Нет. Я не хочу быть бедной, Руфь. Да и кому охота?

— Мне. Если бы всем нам приходилось в поте лица добывать свой хлеб, у нас не было бы времени на это... это безумие. Все мы до того избалованы, что от нас смердит.

— Руфи, — сказал Ричард, — ты высказываешь вслух мои мысли. Назад к природе, к простоте и бедности. Я всю жизнь регистрировался как демократ. Я дважды голосовал за Эдлая Стивенсона.

Салли, обрета, наконец, дар речи, решила теперь высказать все, что пришло ей в голову, пока говорили другие.

— Понимаете, подпись под бумагой еще не означает, что вы уже не муж и жена. — Джерри слышал это и прежде, когда она шепотом поверяла ему свою душевную муку; сейчас это прозвучало неуместно, нескладно, не вполне нормально. Руфь поймала его взгляд, потом посмотрела на Ричарда. Салли же, почувствовав, что они втихомолку потешаются над нею, распалилась еще больше:

— А человек, который больше всех теряет, не вызывает ни у кого из нас ни капли сочувствия. У Руфи остаются ее детки, мы с Джерри получаем друг друга, а Ричард — ни черта! — Она потупилась; волосы упали ей на лицо, словно опустился занавес после пламенной речи.

Ричард наблюдал за своими гостями, подстерегая их реакцию, и, казалось, колебался, не зная, присоединиться ли к ним, или возродить союз с женой. Переняв ее тон, он ринулся в наступление:

— Джерри, разреши мне кое о чем тебя спросить. Ты когда-нибудь был один? Я хочу сказать: как перед Богом, до самого нутра, растуды тебя в качель — совсем один. Так вот: эта широкозадая тупая шлюха была моим единственным в жизни другом, а теперь она бросает меня ради тебя.

— Значит, ты любишь ее, — сказала Руфь. Ричард тотчас отступил.

— О да, я ее люблю, конечно, люблю, эту сумасшедшую суку, но... какого черта. Моя карта бита. *Que sura, sura. note 30*

— А я считаю, что два вполне приличных брака летят к черту по какой-то идиотской ошибке — из-за такой жалкой алчности, — сказала Руфь и снова поднялась, — но никто со мной не согласен, а потому на этот раз я уже действительно ухожу.

— Значит, решено? — спросил Джерри.

— А разве нет?

— Это ты сказала — не я. Как же мы теперь поступим? Вернуться вместе домой мы не можем. Салли, поезжай с Руфью и проведи ночь в нашем доме.

— Нет, — коротко, испуганно ответила Салли.

— Она не обидит тебя. Доверься нам. Прошу тебя, это ведь единственное место, куда я могу тебя послать. Поезжай с нею, а я буду с Ричардом.

— Нет. Я не оставлю моих детей.

— Даже на одну ночь? Я буду здесь, мы с Ричардом можем приготовить им завтрак. Не вижу, в чем проблема.

— Он отберет у меня детей и скажет, что я их бросила.

— Это несерьезно, Салли. Ты должна бы лучше знать своего мужа. Ричард, ты ведь такого не сделаешь.

— Конечно, нет, — сказал Ричард, и Джерри вдруг прочел на его лице нечто неожиданное: стыд за Салли. Джерри принялся ее уговаривать:

— Разве ты не слышишь, чт? он говорит? Он не станет красть твоих детей. Он любит тебя, любит их. Он не чудовище. — Он повернулся к Ричарду. — Мы можем поиграть в шахматы. Помнишь, какие мы с тобой разыгрывали партии?

— Я не считаю нужным уезжать, — сказала Салли. И, словно драгоценный приз, крепко обхватила руками Теодору.

— Но не могу же я просить Ричарда ехать с Руфью к нам домой. — Все рассмеялись, а Джерри обозлился: эта драчка на краю могилы была недостойна их всех, и выигрыш от его словесных ухищрений был таким жалким вознаграждением за ту жертву, за тот роковой прыжок, который он, наконец, совершил.

— Салли-О, обещаю тебе: я не украду детей, — сказал Ричард.

— Но если я оставлю ее с тобой, ты ее изобьешь, — сказал Джерри.

— Господи, Джерри, я начинаю ненавидеть тебя до самых потрохов. Она еще не твоя жена, растуды тебя в качель, и я изобью ее, если, растуды тебя в качель, захочу. Это мой дом, и я не собираюсь выезжать отсюда только потому, что моя жена спит с кем попало.

— Кто со мной едет, поехали, — сказала Руфь. — Джерри, мне кажется, мы им больше не нужны. Джерри спросил Салли:

— С тобой ничего не случится?

— Нет. Ничего.

— Ты действительно считаешь, что так лучше?

— Пожалуй, да. — Впервые за этот вечер взгляды их встретились.

Джерри, у тебя глаза такие печальные!

Да как же они могут быть печальными, когда я так счастлив?

И все же они у тебя печальные, Джерри.

Когда занимаешься любовью, не надо смотреть человеку в глаза.

А я всегда смотрю.

Тогда я их закрою.

Джерри вздохнул.

— Ну что ж. Мы, по-моему, достаточно ночей провели вместе и еще одна ночь нас не убьет. Позвони мне, — сказал он Салли, — если я тебе понадобится.

— Спасибо, Джерри. Я не буду звонить. Спокойной ночи. — Она улыбнулась и отвела от него глаза. — Руфь?..

Руфь была уже в холле.

— Прекрати, — крикнула она Салли. — Мы все слишком устали.

У Джерри было такое ощущение, что его вывалили в грязь; поначалу, когда все они только переехали в Гринвуд, он всегда чувствовал себя у Матиасов, среди их дорогих вещей, неловким и невымытым. Сейчас ему хотелось облегчиться, но Ричард, стоявший рядом, своим молчанием как бы вежливо выражал нетерпение, и у Джерри не хватило духу зайти в туалет на первом этаже. На улице три звезды пояса Ориона опустились и круче нависли над лесом, а луна продвинулась ввысь, освещая пепельное, в барашках, небо. Конанты услышали, как заскулил и заскребся в гараже Цезарь, но не залаял. Шум их машины осквернил ночь. Когда они двинулись вниз по извилистой подъездной дороге, Руфь закурила сигарету. Джерри потер палец о палец. Она передала ему сигарету.

— Любопытная вещь, — сказала она, — у меня такое чувство, будто я возвращаюсь с очередной вечеринки у Салли и Ричарда. Во всяком случае, на этот раз мне не было скучно. Ричард не разглагольствовал насчет акций и ценных бумаг.

— Да, он не казался таким ужасно нудным, как обычно. У него было даже несколько великих минут. Он меня просто обскакал. А как я выглядел? Сильно уступал ему?

— Ты был таким, как всегда, — сказала Руфь. У него начались рези в низу живота. Он спросил жену:

— Не возражаешь, если я на минуту остановлю машину?

— Мы ведь уже почти приехали, — сказала она. — Неужели не можешь потерпеть?

— Нет.

Он остановил ее “вольво” и открыл дверцу, и выцветшая сухая трава и придорожный чертополох сразу стали вдруг бесконечно милыми. Поблизости высился телеграфный столб. Подойдя к нему, Джерри дернул за молнию и отдал свою боль земле. Луна протянула колючку тени от каждой зазубрины на столбе; в высокой траве серебристо поблескивала изморозь. Все вокруг, казалось Джерри, было словно картина, написанная на черном фоне, выгравированная нашим неясным, тупым страхом. Прокрякал невидимый треугольник гусей; прошелестела машина по соседней дороге — и звук замер; в воздухе возник призрачный запах яблок. Джерри попытался отключиться от реальностей ночи и осознать — как пытаешься осознать вращение земли — тот огромный печальный поворот, который произошел в его жизни. Но в сознании была лишь трава, да Руфь, дожидавшаяся его в машине, да утончавшаяся дуга, приносившая облегчение. Проехав мимо многих темных домов, они остановились у своего дома — все окна горели. Миссис О., хоть и была хороша с детьми, ни разу еще не вымыла ни одного блюда и никогда не выключала свет. Они расплатились с ней, и она сказала:

— Тут одна женщина из индипендентской церкви заходила насчет каких-то объявлений.

— О Господи, — сказала Руфь. — Я совсем забыла. Ведь их следовало сделать к субботе.

— Эти люди начинают просто тиранить тебя, — сказал Джерри, и, обращаясь к миссис О., спросил:

— Вы в пальто? — Женщина молча покачала головой; лицо у нее было красное, и, выходя на крыльцо, она приложила платок к глазам.

Закрывая за нею дверь, Руфь сказала:

— Бедняжка. Интересно, много ли она знает?

— А почему, собственно, она должна знать?

— Она ведь из нашего городка, Джерри. А весь городок знает, что у нас дело худо. Я все лето замечала это по лицам мальчишек у Грестеда.

— Хм. Мне, например, не казалось, что у нас дело худо. У меня — да, и у тебя — тоже, но не у нас.

— Пошли спать. Или ты уезжаешь в свой коттедж?

— Я не в состоянии. Хочешь молока?

— А ты?

— Если ты сделаешь тосты.

— О, конечно. Почему бы и нет. Который теперь час?

— Десять минут второго.

— Так рано? Удивительно. Мне казалось, мы провели там целую жизнь.

— Может, позвонить? — спросил Джерри. — Ты думаешь, с ней все с порядке?

— Она ведь сама так хотела, оставь ее в покое.

— Она казалась такой жалкой.

— Это ее поза.

— Нет, я никогда еще не видел ее такой. У меня было ощущение, что вот мы сидим, трое разумных людей, и обсуждаем участь прелестного... ребенка.

— Хлеб поджарился. Будешь намазывать маслом? Это твой тост.

А ему не терпелось говорить о Салли и о минувшем вечере со всеми его сложными перипетиями; ему необходимо было вслух перебрать все подробности и узнать мнение Руфи о них. Но она не стала слушать и пошла вверх. В холодной спальне все невысказанное комом сдавило ему грудь, дыхание стало прерывистым.

— Сукин сын, — еле выдохнул он, — я же оставил ингалятор там, в коттедже.

— А ты расслабься, — сказала Руфь далеким певучим голосом. — Распустишься, ни о чем не думай.

— Холодно... здесь наверху, — сказал он. — Почему мы живем в таком вшивом доме?

— Залезай под одеяло, — сказала она, — тут славно, тепло, дыши неглубоко, не думай о своих легких.

— Мои бедные... дети, — сказал он. Постель, когда он залез в нее, показалась ему

ловушкой: стоит лечь ничком — и задохнешься. Руфь выключила свет — последнюю лампочку в доме. В окне сквозь плотное кружево вяза просвечивали звезды, и, глядя на них, Джерри постепенно вновь обрел дыхание. Руфь залезла в постель с другой стороны и, прижавшись к нему, положила руку ему на грудь. Окутанный медленно нарастающим теплом — теплом, которым он наслаждался последний раз в вечности, — Джерри почувствовал, как грудь его расширяется; ноги и руки расслабились, напряжение вытекло из них; стена в легких постепенно рушилась под напором каждого вдоха. Тело Руфи рядом было крепкое, упругое, сонное. — Мне очень жаль, — вслух произнес он, — но, наверное, так правильно. — Эта фраза, обретая плоть благодаря его голосу, казалось, повторялась без конца, как отражение в двойном зеркале, как дни, как дыхание. Он открыл глаза. Кресты оконных переплетов застывшими благословениями оберегали его в ночи; в легких его установилось безбрежное царство мира и покоя. И в эту чудесную страну он не спеша, лениво вступил.

Телефон дребезжал и дребезжал в верхнем холле — казалось, будто прорвало трубу и мрак наполнился кипящей пеной.

— О Господи, — произнесла Руфь.

Они с Джерри давно уговорились, что раз утром она встает вместе с детьми, то всеми ночными происшествиями занимается он. Он выбросил тело из теплой норы, где оно нашло избавление, — судя по тому, каких усилий ему стоило встать, он понял, что лишь недавно заснул. Ведь первый сон — самый глубокий. Ноги его и лицо были словно покрыты пылью. Он снял трубку на четвертом звонке, оборвав его на середине.

Скрипнула кровать под кем-то из детей.

— Алло?

— Джерри? Это я. — Голос Салли звучал невыносимо близко — так комета нависает над землей, хоть в находится на расстоянии миллионов миль.

— Привет:

— Ты спал?

— Вроде бы. Который час?

— Извини. Я не думала, что ты сможешь заснуть.

— Я и сам не думал.

— Я позвонила тебе в коттедж, но ты не отвечал. Мне стало очень больно.

— Вот как? А мне и в голову не пришло поехать туда. К чему — теперь ведь все решено.

— Разве? А как Руфь?

— Спит.

— Ничего подобного! — слышался из постели голос Руфи. — Скажи ей, чтоб не занимала мой телефон!

— А ты как? — спросил у Салли Джерри.

— Не очень хорошо.

— Нет? А где Ричард?

— Уехал. Наверное, я тебе потому и звоню, чтоб это сообщить. Ричард ушел из дома.

Сказал, что не может больше выносить меня ни минуты, и хлопнул дверью. Даже чемодана не взял. Он обозвал меня проституткой. — Голос у нее прервался, и в трубке зашелестело от слез. Скрипнула еще чья-то кровать. Неужели все дети не спят?

— Он тебя бил?

— Нет. Но пусть бы и побил — мне все равно.

— Что ж, все складывается хорошо, верно? Разве не лучше, что он ушел? Ты сможешь заснуть?

— Гореть мне в аду за то, что я сделала этому человеку.

Джерри перенес тяжесть тела на другую ногу и постарался говорить так, чтобы Руфь не могла слышать каждое слово: уж очень слова были нелепые.

— Никто не будет гореть в аду, — зашептал он Салли. — Меньше всего — ты. Ты не виновата в том, что так получилось: ты же пыталась отвести меня. Верно?

— В-вроде бы. Но мне следовало настоять на своем. А я не хотела тебя отваживать и не хотела на тебя давить. Скажешь мне одну вещь?

— Конечно.

— Скажешь по-честному?

— Да.

— Ты считаешь, что я на тебя давлЮ?

— Конечно, нет.

— Я вовсе не хотела говорить ему все, но стоило начать, и я уже не могла остановиться. Он заставил меня все выложить: он куда умнее, чем ты думаешь.

— Я считаю его очень умным. Он мне даже понравился сегодня.

— В самом деле? — В голосе ее зазвенела такая надежда, что он испугался следующих ее слов: она ведь может сказать лишнее. Она сказала:

— А я была ужасна.

— Нет, ничего подобного. Ты была чудо как хороша.

— Я слова из себя не могла выдавить, а когда все же выжимала что-то, это были гадкие, злые вещи.

— Все было отлично.

— У меня в голове все путалось, мне было так стыдно. Я предала Ричарда, а потом предала тебя. А ведь вы оба на меня рассчитывали.

— Даже слишком.

Ее молчание снова заполнилось шелестом, и у него было такое чувство, будто он выплескивает слова в пропасть, в пустоту.

— Салли. Послушай. Я рад, что он знает. Я рад, что ты сказала ему. Теперь все позади и все в порядке. Но мы теперь должны быть лучше других — ты и я. Мы просим Ричарда, Руфь и детей об огромной жертве, и отплатить им мы можем, только если будем лучше других до конца своих дней. Поняла?

— Да. — Она шмыгнула носом.

— Ты мне веришь?

— По-моему, да. Я сама не знаю, что делаю. Только что съела целую миску салата, который приготовила к сегодняшнему ужину. Мы забыли поесть, и муж ушел голодный.

— Ты сумеешь лечь и заснуть? У тебя есть таблетки?

— Да. У меня есть таблетки. Ничего со мной не случится.

В голосе ее зазвучали злые нотки. Он спросил:

— Ты хочешь, чтоб я приехал?

— Нет. Дети взбудоражатся. Теодора до сих пор не спит.

— Бедная крошка. А когда придет Джози?

— Завтра утром. Что мне ей сказать?

— Не знаю. Ничего? Правду? Мне кажется, это должно меньше всего тебя волновать.

— Ты прав, Джерри. Ты всегда прав. Ты прими на себя заботу о Руфи, а я приму таблетку.

— По-моему, это сейчас самое правильное.

— Ложись снова спать. Извини, что побеспокоила. Он ждал от нее извинения. Он сказал:

— Не смей. Я рад, что ты позвонила. Конечно же, рад.

— Спокойной ночи, Джерри.

— Спокойной ночи. Ты грандиозна. — Не мог он заставить себя сказать, зная, что Руфь слушает: “Я люблю тебя”.

Когда он вернулся в постель, Руфь спросила:

— Чего она хотела?

— Утешения. Ричард уехал.

— Среди ночи?

— Видимо.

— Что ж... молодец.

— Чем же он молодец? Тем, что оставил женщину в полной растерянности? Мерзавец.

— А еще что она говорила?

— Ей было неприятно, что я здесь, а не в коттедже. Она, видимо, ожидала, что я высажу тебя, а сам поеду туда. — Джерри мучило то, что Руфь сказала “молодец”, явно намекая на его пассивность. — Я должен был так поступить? — спросил он. — Значит, чтобы

завоевать твое уважение, надо встать, одеться и уйти из дома, как Ричард?

— Поступай, как знаешь. А какой у нее был голос?

— Благодарю, несчастный.

— С чего бы это? Ведь она получила то, что хотела.

— Ты так думаешь? Мне кажется, она сама не знает, чего хочет, — теперь, когда она это получила.

— Повтори еще раз.

— Нет. Я сейчас буду спать. У меня какое-то странное ощущение, — сказал он, пускаясь в очередную фантазию, за что его так ценили в студии рекламы, — будто я — Северная Африка и ноги у меня — Египет, а голова — Марокко. И весь я — сплошной песок.

Когда телефон снова разбудил его, он проснулся с чувством вины, так как видел во сне не свою “ситуацию” — не Салли, или Ричарда, или Руфь, а далекие уголки своего детства: горку на площадке для игр, которую натирают воценой бумагой, чтобы скатываться быстрее, две потрепанные коробки с настольным хоккеем; кусок затоптанной травы за киоском, где дети постарше обменивались невообразимыми секретами, осыпая землю окурками “Олд голд”, — то прошлое, тот рай, где ты не волен ничего выбирать. Он пошел, спотыкаясь, заткнуть телефонный звонок — понимая, что повторяется, что сам обрек себя на бесконечное повторение, совершив этот грех, который свинцовой тяжестью давил ему на диафрагму. Звонила снова Салли, Салли; голос у нее обладал центробежной силой, и слова разлетались во всех направлениях — ей было унизительно снова звонить ему, она говорила задыхаясь, прерывисто.

— Эй! Джерри? Если я тебя кое о чем спрошу, ты мне скажешь по-честному?

— Конечно. Ты приняла таблетку?

— Только что приняла и решила позвонить тебе, пока она не подействовала. Хотелось услышать твой голос, прежде чем отключусь. Не будешь на меня сердиться?

— Почему я должен на тебя сердиться? Я чувствую себя ужасно от того, что нахожусь далеко. Ричард не вернулся?

— Нет и не вернется. — Салли произнесла это как-то по-старомодному, чуть в нос: так соседки когда-то выговаривали ему за то, что он топчет траву на их лужайках.

— Спрашивай же, — сказал он.

— Ты не сердись, что я ему сказала?

— Об этом ты и хотела меня спросить?

— Вроде бы.

— Нет, не сержусь, конечно, нет. Я-то ведь сказал еще несколько месяцев тому назад, так что тебе за мной не угнаться.

— Ты все-таки сердись, — сказала она. — Я так и подумала, еще когда раньше тебе звонила, что ты сердись.

— Я немножко дохлый, — признался он. — Завтра буду в форме. По-моему, ты очень храбрая и достаточно долго все скрывала, и я очень тебе признателен. Ты дала мне большую фору. В конце-то концов ведь он сам обнаружил телефонные счета.

— Да, но я умела нагнать туману кое в чем и похуже. Я просто очень устала. Кстати, Джерри! Знаешь, что еще случилось? Это в самом деле ужасно.

— Что еще, солнышко?

— Ты меня возненавидишь.

Ему надоело говорить “нет”, и он промолчал.

Тогда она сказала:

— Я солгала ему. Я ему сказала, что мы никогда...

— Что — никогда?

— Я сказала, что мы никогда не спали у нас в доме. Я подумала, что это было бы слишком ужасно при его самолюбии. Ну, разве не глупо?

— Нет, не глупо.

— Я сумасшедшая?

— Нет.

— Пожалуйста, не говори ему. Если мы все пойдем в суд, там я признаюсь, но только ты,

пожалуйста, ему не говори. Это ведь не твой дом, Джерри. — Таблетка начала действовать, и она говорила как-то странно.

— А зачем, собственно, мне это нужно? — сказал он. — Чем меньше мне придется с ним говорить, тем лучше.

— Он так уязвлен в своем самолюбии.

— Ну, такое впечатление он постарался создать у тебя. И сейчас он старательно ведет к тому, чтобы все почувствовали себя виноватыми.

— Обещаешь, что не скажешь ему?

— Обещаю.

— Вот я, к примеру, очень многое никогда не скажу Руфи. Интимное.

— Я же сказал: обещаю. Ты думаешь, ты сможешь заснуть? Сколько сейчас, черт возьми, времени?

— Эй?

— Да?

— Помнишь, тогда, в Вашингтоне, на тебя напала бессонница? Я никак не могла понять, что тебя так мучило. А теперь знаю.

— Жизнь — мучительная штука, — изрек он. Она рассмеялась.

— Я прямо вижу, как у тебя губы поджались, когда ты это произнес, Джерри.. Вот теперь таблетка начала действовать. Я стала вся такая тяжелая.

— А ты расслабься, — посоветовал он ей. — Проснешься — и будет утро, и мир все такой же вокруг.

— Меня куда-то утягивает. Я боюсь. Мне страшно, как бы чего не случилось с детьми.

— Ничего с детьми не случится.

— Мне страшно — вдруг я не проснусь. И уже никогда не увижу тебя, и ты будешь любить другую. Снова влюбишься в Руфь. Ты ведь любишь ее, я это сегодня поняла.

— Обещаю: ты проснешься. Ты очень сильная, ты очень здоровая, ты не куришь. — Он прикрыл рукой рот и зашептал так, чтобы Руфь не могла услышать:

— Ты — солнышко.

— Я вынуждена повесить трубку, а то рука совсем отяжелела. В самом деле со мной ничего не случится?

— Ничего. Ты ведь уже не раз оставалась одна в доме.

— Не так.

— Ничего с тобой не случится.

— Спокойной ночи, любовь моя.

— Спокойной ночи, Салли.

На этот раз, когда он снова залез в постель, Руфь лишь спросила:

— Почему голос у тебя такой чудной, когда ты с ней разговариваешь?

Руфь встала рано, и в странно преломленном солнечном свете этого утра Джерри почувствовал, что он не вправе перекатиться на середину постели и поспать еще минутку, прежде чем она, по обыкновению, позовет его, чтобы он успел на поезд в 8.17. Он вспомнил обрывки своего сна. Все происходило как бы после вечеринки в большой гостиничной комнате с высоким потолком. Салли прикорнула на диване, и, как это бывало у них с Руфью, Джерри стал искать, что бы на нее накинуть. Он обнаружил на резной спинке стула грязный мужской дождевик с клетчатой подкладкой. Он укрыл им плечи Салли, но длинные ноги ее торчали: плащ оказался короток. Это был детский плащ, совсем маленький. А что было дальше, Джерри не помнил. Он встал, побрился и сошел вниз. Дети в пижамах казались нежными пчелками, гудевшими вокруг свечей из молока. Джоанна встретила его широкой хитренькой ухмылкой, раздвинувшей ее веснушки.

— А папа сегодня ночевал дома, — объявила она.

— Папа всегда ночует дома, — сказал Джоффри. Чарли потянулся через угол стола и натренированной рукой стукнул брата по голове.

— Ничего подобного. Они с мамой слишком много ссорятся.

Личико Джоффри, расплывшееся было от счастья, сморщилось, и улыбка сменилась рыданиями.

— Чарли, это — не наилучший способ, — сказал Джерри. — И не самый правильный.

— Он же дурачок, — оправдывался Чарли. Джоанна хихикнула.

— Чарли всегда говорит, что Джоффри — дурачок, — сказала она. — Развоображался.

— Ничего подобного, — сказал Чарли, обращаясь к отцу; маленькое личико его заострилось от напряжения. Он повернулся к Джоанне и сказал:

— Сама ты воображала. Джоанна развоображалась потому, что у нее есть дружок.

— Ничего подобного. Мама, чего он болтает, что у меня есть дружок, нет у меня никаких дружков. Он все врет. Врун. Воображала. Врун.

— Джерри, да скажи же им что-нибудь, — сказала Руфь, ставя на стол большую тарелку с намазанными маслом тостами. — Не стой так.

— Он... он... он... — заикаясь, произнес Джоффри, вызывая к отцу, — он оби-идел меня.

— Он — дурачок, — деловито изрек Чарли, как неопровержимую истину; губы его лоснились от масла.

— Знаете, что я думаю по поводу этих ваших пререканий? — спросил, обращаясь к ним ко всем, Джерри, и сам же ответил:

— Кака. — Все дети — даже Джоффри — дружно рассмеялись, услышав от отца детское словцо. Личики их повернулись к нему, приподнялись, засветились в ожидании дальнейшего развлечения. — Знаете, кто вы, по-моему, такие? — спросил он. — По-моему, вы — какашки.

Они захихикали и заерзали.

— И еще тонкозадики, — добавил Чарли и быстро оглядел стол, проверяя, попал ли он в точку; легкое хихиканье подтвердило, что попал.

Джоффри, улыбаясь всеми своими ямочками, объявил:

— И вонючки.

— И тошнилки, — пропела Джоанна, словно изобретая новую считалку.

— И дыроколы, — внес свой вклад Чарли, после чего наступило такое веселье, что Джерри, боясь поверить своей догадке, на всякий случай постарался сдержать смех.

— Послушайте, мне кажется, это не слишком подходящая беседа за столом, — объявила Руфь. — Джоанна и Чарли, у вас всего семь минут на одеванье. Чарли, тебе придется снова надеть клетчатую рубашку, у меня не было времени выгладить белую, извини. — Она произнесла это с таким нажимом, что он, занудив было, тотчас умолк. — Джоффри, бери свой тост и отправляйся смотреть телевизор. Садись на пол: я не хочу, чтоб на диване среди подушек были крошки. — Наконец, Руфь и Джерри остались на кухне одни.

— Что заставило тебя подняться в такую рань? — спросила она. Было тридцать пять минут восьмого; он сидел в нижней рубашке и в серых брюках от своего рабочего костюма.

— Чувство вины, — ответил он. — И страх. Как ты считаешь, идти мне сегодня на работу?

— А у тебя есть что-нибудь срочное? — спросила Руфь. Она слила недопитый детьми апельсиновый сок в чистый стакан и дала ему.

— В общем, нет. Эта реклама для Третьего мира скисает: Информационной службе США снова срезали ассигнования. — От сока стало жечь под ложечкой, и одновременно с болью он осознал, что наступивший день — качественно иной, чем предыдущий, и что отныне все дни будут такими. — Я думаю, мне лучше побыть здесь, чтобы принимать на себя огонь зениток.

— Это будет очень любезно с твоей стороны, — сказала ему Руфь. Лицо у нее было настороженное и застывшее. Она тоже только сейчас начала осознавать случившееся. — Мне б хотелось, чтоб ты сделал для меня кое-что.

— Что? — Его сердце запоздало подпрыгнуло от благодарности, когда он услышал, что все еще может быть ей полезен.

— Эти чертовы объявления, которые я обещала сделать к распродаже барахла. Прежде чем отбыть, ты не мог бы написать их за меня? Я обещала сделать пять штук. Это займет у тебя десять минут, и они, конечно, получатся куда лучше, чем у меня, сколько бы я ни старалась, даже если бы сумела взять себя в руки.

— Мне кажется, что ты вполне держишь себя в руках, — не без укора сказал он.

— Я приняла успокоительное. Я решила, что не могу позволить себе выпить, поэтому отыскала старые таблетки, которые принимала после рождения Джоффри. Не знаю, какое уж они оказывают действие, но я словно где-то парю, и меня слегка тошнит.

— Тошнилка, вонючка и тонкозадик?

— Очень они распустились. Учужали беду, наверно? Они могли расколошматить всю посуду на столе, я бы и пальцем не шевельнула. Ну, пожалуйста, можешь ты написать эти объявления? Я не в состоянии думать о них — это для меня уж слишком.

— Конечно.

— Тогда я посмотрю, что надо писать. По-моему, текст у меня наверху вместе с картоном, который я купила. Никогда больше не стану ничего делать для этих индипенденток. Почему они такие настырные?

— От усердия, — сказал он. — Мне очень жаль, что я тебя в это втянул.

Сверху раздался крик Чарли, звавшего мать, и Руфь, скользнув по кухне невозмутимо, как луна среди облаков, отбыла ему на помощь. Джерри растер в мисочке кукурузные хлопья, залил их молоком и тут вспомнил о газете — она, наверное, так и лежит на крыльце. Он как раз подходил к входной двери, когда раздался звонок; Джерри открыл дверь и обнаружил мужчину, поднимавшего свернутую газету, — на его макушке сквозь спутанные черные жесткие волосы просвечивала лысина. Ричард выпрямился с искаженным, покрасневшим от напряжения лицом и протянул газету Джерри.

— Спасибо, — сказал Джерри. — Входи же. Раненько ты встал.

— Я и не ложился. А Руфь здесь? Я думал, Руфь здесь.

Джерри крикнул: “Ру-уфь!”, но она уже спускалась по лестнице. Джоанна и Чарли, одетые для школы, стуча ботинками, спускались следом за ней.

— Доброе утро, — спокойно сказала Руфь. — Ричард, я буду в твоём распоряжении, как только найду деньги им на завтрак. Джерри, у тебя нет двух долларовых бумажек и двух четвертаков?

— Бумажник у меня наверху, на бюро, — сказал он и хотел было протиснуться между ними.

— Не беспокойся, — сказала она, — моя сумка — на кухне. Чарли, пойдёшь вынь из неё два доллара. Загвоздка в четвертаках — все их друг у друга тащат.

— Вот вам два четвертака, — сказал Ричард, выудив их из кармана.

— Грандиозно, — сказал Джерри. — Теперь мы твои должники. — Серебро, перекочевавшее на руки Ричарда, было холодное. Должно быть, он всю ночь провёл на улице.

— Мам, тут нет сумки! — раздался крик Чарли.

Джоффри, услышав шум, появился в прихожей и, ко всеобщему удивлению, боднул Ричарда головой между колен. Несколько месяцев тому назад, на пляже, когда поверхность их жизни была ещё безмятежно спокойна, Ричард, обладавший способностью лежать качаться на волне, разрешал двум маленьким мальчикам — Джоффри и собственному сыну Питеру — толкать его в мелководье, точно большую надувную лодку, и вот теперь Джоффри вспомнил доброе старое время и налетел на него, предлагая продолжить игру, так что Ричарду пришлось расслабить мускулы, чтобы не упасть.

— Полегче, шкипер, — сказал он, натянуто улыбаясь и ероша густые волосы на круглой головке, упирившейся ему в ноги.

Джерри от смущения стал просматривать заголовки в газете, которую держал в руке. “Негр принят в университет штата Миссисипи”. “Трое погибли во время волнений в университетском городке”. “Хрущев приглашает Кеннеди в Москву”. “Чжоу Энь-лай непреклонен в споре с Советами”. “Гиганты” и “Финты” борются за первое место”.

— Папа едет играть в гольф? — спросил Чарли, выходя наконец из кухни с зеленой сумочкой Руфи. Он не мог представить себе, зачем бы ещё чужому мужчине являться к ним в такую рань, хотя Ричард в своём гангстерском клетчатом спортивном пиджаке, розовой рубашке на пуговицах и хорошо повязанном галстуке был одет совсем не для гольфа.

— Дурачок, — сказала Джоанна. — Мистер Матиас не играет в гольф, это только мистер Коллинз играет.

— Мистер Матиас пришел по делу, — сказала Руфь, обменивая деньги на поцелуи, и потянулась через плечо Ричарда, чтобы открыть дверь. Джоанна и Чарли, не оглядываясь, сбежали по ступенькам крыльца и пересекли дорогу.

До чего же у них серьезный вид, подумал Джерри, отрывая взгляд от газеты и глядя сквозь оконное стекло на детей, которые встали под вязом в ожидании школьного автобуса. Не задумываясь над тем, что приютившее их дерево все уменьшается в размерах, они подбрасывали ногами опавшие листья. Вокруг каждого палого листа на асфальте было влажное пятно — поцелуй.

Руфь спросила Ричарда:

— Хочешь кофе?

— Если можно, — сказал он. Страдающий потный клоун минувшей ночи исчез, на его месте возник некто большой и жесткий, чье присутствие угрожало их дому. — Мне надо кое-что сказать Джерри, раз уж он здесь, и кое-что сказать тебе, Руфь. То, что я должен тебе сказать, не займет много времени, — добавил он, обращаясь к Джерри. — Где мы могли бы поговорить? — Джоффри все еще цеплялся за ноги Ричарда.

— Лучше всего, пожалуй, на заднем дворе, — сказал Джерри. Слова эти словно повисли в пространстве: он чувствовал себя, как перепуганный актер, подающий реплики, которые он не успел выучить. Руфь сказала:

— Я сейчас сварю свежего кофе. Джоффри, иди смотреть телевизор. Там сейчас фильм. Джерри вывел Ричарда через кухню на воздух. Они остановились под кленом; на одной из веток Джерри давно уже пристроил качели. Вся земля вокруг качелей была утрамбована и начисто вытоптана, тогда как остальная лужайка нуждалась в стрижке: она заросла высокой тощей осенней травой, которая умирает в августе и снова оживает под сентябрьскими дождями. Джерри спросил:

— Ты правда был всю ночь на ногах? Что ты делал?

Ричард не желал смягчаться. Он остановился в таком месте покатога двора, чтобы возвышаться над Джерри не только на природный дюйм.

— Поехал в Кэннонпорт и шатался по улицам. Время от времени заходил куда-нибудь выпить и наблюдал, как солнце встает над причалами. Меня ведь точно обухом по голове ударило, приятель.

Джерри передернул плечами.

— Ну так вступи в клуб.

— Я завтракал с моим адвокатом, — продолжал Ричард. — В результате наших разговоров выяснилось два, нет, три момента, о которых сейчас и пойдет речь.

Джерри снова передернул плечами: он чувствовал, что должен подать какую-то реплику, но забыл какую.

— Во-первых, — заявил Ричард, — я сейчас приехал из моего дома — моего бывшего дома, — где я оставил Салли в отличном здравии.

— Прекрасно.

— Я ничем ей не досаждал. Принял душ, побрился и сообщил ей свое решение — в той части, которая ее касается.

— Ей все-таки удалось уснуть? Ричард искоса бросил на него взгляд, слегка озадаченный тем, что Джерри, похоже, знает больше него.

— Она спала, как младенец. Я еле ее добудился. Она поздно встает — придется тебе к этому привыкать. Теперь насчет дома: я намерен жить в нем. Я полагаю, вы с ней, как только сможете, подыщете себе другое место, а до тех пор мы будем жить с ней вместе, но, так сказать, не как муж и жена.

— Так сказать. Выражение твоего юриста?

— Я говорю серьезно, Джерри.

— Конечно. — Он посмотрел вверх: небо было голубое, как выцветший бархат, и с запада на него напозлали грозовые серые тучи.

— Во-вторых, я разведусь с Салли, если ты согласен на ней жениться.

— Если? Я считал, что уже дал согласие. — Голос Джерри прозвучал хрипло: он почувствовал, что скользит по наклонной плоскости.

— Разводиться будем не в нашем штате — об условиях договорятся ее адвокат и мой. Я не буду претендовать на детей, хотя, естественно, рассчитываю, что мне будет предоставлено право видеть их в разумных пределах и участвовать в их воспитании.

— Конечно. Тут я не могу тебя заменить. Нам всем придется помогать друг другу, чтобы дети легче это пережили.

— Совершенно верно, — сказал Ричард сквозь зубы. — В-третьих, если ты не женишься на Салли, я намерен подать на тебя в суд за алиенацию супружеских отношений. В Джерри словно швырнули подушкой — не больно и спрятаться можно; внимание его вдруг привлек двор, нестриженная трава, обрывки бумаги, валяющиеся игрушки, которые следовало подобрать, кочки и изрытые дырочками горки под ногами — свидетельства существования иных городов, где у насекомых есть свои иерархии, своя обыденность, свои торговые пути, и королевы, и пятилетние планы. Джерри сказал:

— Я не очень точно представляю себе, что значит “алиенация супружеских отношений”. Очевидно, мне это растолкует юрист. Но мне кажется, ты совершаешь ошибку, думая, что влечение не было обоюдным. Ричард сказал неожиданно вкрадчиво:

— И ты и я, мы оба знаем, Джерри, что Салли во всей этой истории была не менее агрессивна, чем ты, а возможно, даже более. Но в глазах закона она — не свободное лицо. Она — движимое имущество. В глазах закона, оторвав от меня жену, ты причинил мне немалый моральный ущерб — моральный и, в известной мере, физический, и я имею право на компенсацию. Она швырнула мне в голову бронзовую фигуру и могла меня убить; это ущерб. Теперь мне какое-то время придется прибегать к помощи проституток — вот тебе еще ущерб. Эти законники — премерзкие людишки, приятель Джерри.

— Ерунда, — сказал Джерри. — Она бы не пришла ко мне, если бы уже не настроилась против тебя. Она же твоя жена — твое было дело ее удерживать. Из-за тебя мои дети будут теперь искалечены. Из-за того, что ты такое дерьмо, моя жена хочет умереть.

— Хватит, по-моему. Не обольщайся на счет Руфи: она вполне обойдется без тебя. И поосторожнее со словом “дерьмо”. Лучше не заводь меня, приятель Джерри. Ты сейчас ведешь игру со взрослыми людьми.

— У меня есть вопрос.

— Слушаю тебя.

— Насчет ваших супружеских отношений с Салли, которые я, как ты выражаешься, алиенировал. Если бы я вдруг исчез, ты думаешь, ты мог бы их восстановить? Лицо Ричарда дернулось, как бывает, когда в фильме проскакивает несколько кадров, а быть может, Джерри в этот момент просто моргнул, затронув самую болезненную точку. Ричард медленно произнес:

— Если ты плюнешь на Салли, я сам решу, как с ней дальше быть. Сейчас я исхожу из того, что ты женишься на ней. Я прав?

Не правильно это, да?

— Я прав? Да или нет, Джерри?

— Я пришлю тебе сейчас Руфь. По-моему, все, что мне адресовано, ты уже выложил.

— На данный момент — да.

Когда Джерри вошел в дом, Руфь спросила его:

— Что он сказал?

— Ничего. Всякое разное. Если я не женюсь на Салли, он потащит меня в суд.

— За что? За то, что ты с ней спал?

— Это называется “алиенация супружеских отношений”.

— Но ведь инициатива-то принадлежала ей.

— Все это блеф, Руфь. Этот идиот и мерзавец не хочет говорить впрямую, вот он и блефует.

— Ну, он уязвлен. Он человек слабый.

— А кто не слабый?

— Нельзя же, чтоб он стоял там один на дворе. Выключи воду для кофе, когда чайник

запоет.

Из окна кухни Джерри наблюдал за тем, как разговаривали Руфь и Ричард. С нею Ричард расслабился и вел себя совсем уж нелепо, по-домашнему: сел на качели и в изнеможении принялся раскачиваться — вперед, назад. Через некоторое время, побуждаемый, судя по жестам, Руфью, он встал, снял свой клетчатый пиджак, расстелил его на траве возле сарая, где хранились велосипеды, лестница и садовый инструмент, и они оба сели.

Сидели рядышком и курили, деля одну сигарету. Когда Ричард затягивался, нижняя губа у него по-старчески отвисала; Руфь кивала в ответ на слова, вылетающие у него изо рта вместе с дымом, она покраснелась и вся напряглась, точно в сексуальном экстазе — так бывало в художественной школе, когда преподаватель останавливался у ее мольберта.

Тучи, надвигавшиеся с запада, принесли с собой ветер; вокруг поглощенной разговором пары взлетали и кружились листья, и Джерри подумал, как хорошо было бы, если бы Ричард с Руфью так и остались навеки там, на заднем дворе, такими садовыми статуями, полубогами-хранителями. Вода для кофе закипела; Джерри выключил горелку. За его спиной, в доме, жалобно причитал Джоффри: он попытался сам одеться и никак не мог справиться с пуговицами. Джерри застегнул его вельветовый комбинезончик и позвонил на работу — сказал, что проснулся с ощущением ужасной простуды. И в самом деле от недосыпа у него саднило горло и текло из носа. Позади бюро, за которым работала Руфь, он обнаружил картон, а в детской — несколько бутылочек с засохшей краской для картона и затвердевшую кисточку, которую он вымыл под краном на кухне. Когда Руфь и Ричард, наконец, вернулись в дом, они застали его в гостиной: он сидел на полу и писал плакаты для индипендентской церкви.

— Молодец, — сказала Руфь и подала кофе.

Ричард сидел на диване и в изумлении смотрел, как Джерри широкими уверенными мазками выводил РАСПРОДАЖА СТАРЬЯ по-диснеевски танцующими крупными буквами, а потом поставил число, указал место распродажи и нарисовал карикатурную сломанную лампу, пустую раму от картины и пару по-дурацки заштопанных носков. Руфь пошла к телефону.

Джерри спросил:

— Ты кому собираешься звонить? — Он-то ждал, что она сядет и будет восторгаться его творчеством.

— Снова миссис О., — сказала она. — Ричард считает, что мне надо поехать в Кэннонпорт и поговорить с его адвокатом.

— Зачем тебе говорить с адвокатом Ричарда?

— Он подберет мне адвоката. Ричард сказал:

— Я твердо уверен, что Руфь должна нанять адвоката.

— Пожалуй, — сказал Джерри, опуская кисточку сначала в воду, затем в малиновую краску.

— Если бы она наняла адвоката полгода тому назад, мы бы сегодня все так не страдали, и дело бы уже шло на заживление.

Малиновая краска жирно легла на картон.

Мужчины молчали, пока Руфь договаривалась с миссис О., чтобы та пришла через полчаса. Когда она повесила трубку, Ричард сказал ей:

— Он ждет тебя. Я прикинул, что ты подъедешь, к нему до полудня, сумеешь?

— Конечно. Я должна вернуться домой к трем, чтобы отправить Джоанну на музыку.

— Тогда я сейчас позвоню ему и подтвержу. У тебя ведь есть его адрес.

— Да, Ричард, да. Я же не идиотка. Ты только что дал его мне.

— Я устал. Господи, мне просто необходимо на боковую. Будем поддерживать контакт. —

Ричард тяжело поднялся с дивана, а встав, явно почувствовал себя обязанным что-то изречь. — Сегодня у нас черный день, — сказал он, — но будем надеяться, что впереди нас ждут лучшие дни.

Сидя на полу, Джерри посмотрел на него снизу вверх и смутно почувствовал преимущество своей позы. Не вставая, он сказал:

— Ричард, мне хочется поблагодарить тебя за то, что ты так помогаешь Руфи и

относишься ко всему так практически, по-мужски.

— Премного благодарен, — мрачно произнес Ричард.

Джерри увидел то, чего не заметил вчера ночью во время объяснений в тесном семейном кругу, а именно: что Ричард вылез из своего обитого ватой туннеля с глубокой раной, которую намерен использовать к своей выгоде в предстоящие жестокие дни.

Когда шаги Ричарда затихли на дорожке, Джерри спросил Руфь:

— О чем он там с тобой трепался так долго?

— О... видишь ли... О всяком разном. Он сказал мне, что я еще молодая, и хорошо выгляжу, и меня еще многое ждет в жизни. Что ты не единственный мужчина на свете и что по закону у тебя есть обязательства передо мной и детьми.

— Я этого никогда и не отрицал.

— Он сказал, что я все лето уговаривала тебя остаться, а теперь надо попробовать что-нибудь другое. Я должна дать тебе развод. Он сказал, что хватит думать о тебе, пора подумать о себе, о том, чего я хочу.

— Настоящий представитель Торговой палаты.

— Он говорит здравые вещи.

— А что он сказал про детей?

— Он сказал, что дети — это, конечно, важно, но не они должны определять мое решение. Собственно, он не сказал ничего такого, чего мы бы с тобой уже не знали, но все как-то становится яснее, когда слышишь от другого.

— Счастливая разводка. Черт меня подери. О'кей, когда ты сама примешься за свои чертовы плакаты для распродажи?

— Не приставай ко мне с ними — я не могу сейчас этим заниматься. Через четверть часа придет миссис О. Ты уже сделал один плакат — получилось отлично, сделай еще четыре таких же. И не оригинальничай — тогда это займет у тебя ровно пять минут. Ну что тебе сегодня еще делать? Или ты собираешься к ней?

— По-моему, я должен к ней поехать.

— Сделай для меня эти плакаты, и я никогда больше ни о чем тебя не попрошу.

— “Будем поддерживать контакт” — этот елейный мерзавец говорит моей жене, что он будет с ней поддерживать контакт.

— Джерри, мне пора одеваться.

Точно он ее задерживает. А может быть, все-таки задерживает? Хотя рука у него дрожала и пол под картоном перекатывался, будто палуба корабля, он все-таки старался сделать очередной плакат лучше предыдущего — смешнее, живее, завлекательнее. На это у него ушло больше пяти минут: Руфь приняла душ, оделась и спустилась вниз, а он все еще работал. На ней было гладкое черное платье, которое ему всегда нравилось: трикотаж облегал бедра, а черный цвет придавал что-то трагическое ее уступчиво-мягкому, бледному лицу. Она поцеловала его на прощание. А у него пальцы были выпачканы в краске, и он не мог до нее дотронуться. Он спросил:

— Это Ричард подсказал тебе, как должна быть одета дама, когда она едет к адвокату?

— А тебе это кажется правильным? Мне, наверное, следовало бы надеть шляпу с вуалью — как в церковь, да только у меня ее нет. Я, конечно, могла бы снова взять у Линды. Как ты думаешь, он уже сейчас спросит меня о разделе денег?

— По всей вероятности. А сколько, по мнению Ричарда, ты должна просить?

— Он упомянул цифру “пятнадцать”. Мне кажется, это очень много. Не думаю, чтобы мой отец за всю свою жизнь столько заработал.

— Что ж, постарайся получить сколько сможешь. Я уверен, у адвоката Ричарда будет немало прекрасных идей.

— Ты злишься? Разве я не правильно поступаю? Но у меня же нет выбора, верно?

— Я вовсе не злюсь. Мне грустно. По-моему, ты очень храбрая, и выглядишь грандиозно. Поцелуй меня еще раз. — Он наклонился к ней, но рук не протянул. Нос у нее был холодный, а язык теплый. На крыльце застучали каблучки. Прибыла миссис О. Руфь направилась к выходу, по дороге роясь в сумочке, и Джерри слышал, как она бурчала себе под нос: “Ключи от машины, ключи от машины”.

Он дорисовал плакаты, пока миссис О. кормила Джоффри вторым завтраком. Очутившись наедине с безусловно добрым человеком, Джоффри болтал без умолку. Слуха Джерри достигало его бормотание, и он вдруг понял, что голоса его детей, когда он слушает их с мыслью, что скоро с ними расстанется, меняют тональность, звучат глуше — так глаз раздражал бы рисунок, где все тщательно выписано, только у одного здания на втором плане смещена перспектива и крыша скошена под немыслимым углом, отчего все кажется чуть сдвинутым, ненужно гулким. Все лето, из других комнат, через полосы асфальта и травы, Джерри слышал вот такое же приглушенное бормотанье; оно раздражало его не меньше, чем чувство унылого однообразия, которое неизменно возникало у него по утрам, когда он просыпался от сна, наполненного желаниями и планами, связанными с Салли, и видел перед собой слегка улыбающуюся Руфь на автопортрете, удивительно точном по цвету, но вовсе не похожем на оригинал, — портрет этот она подарила ему, краснея от смущения, прошлой зимой к его тридцатилетию. Она как бы подарила ему себя — тем способом, каким умела.

Только когда плакаты были готовы и разложены на диване для просушки, а кисточка вымыта и краски убраны в детскую, Джерри почувствовал, что должен позвонить Салли. Миссис О. повела Джоффри по палой листве на прогулку в кондитерский магазин; Джерри остался дома один. Было странно набирать номер Салли из своего дома. Он набрал шестерку вместо семерки, опустил трубку на рычаг, словно затыкая рот, разверстый для крика, и набрал заново.

— Алло. — Голос ее уже не звучал в конце слова вопросом.

— Привет, ты, сумасшедшая мисс Матиас. Это я. Как ты там?

— Прили-чно. — Она разделила слово на две половины.

— Ричард у тебя — спит?

— Нет, он снова уехал, он ужасно возбужден. Он всегда возбуждается, когда имеет дело с адвокатами. А ты как?

— Я — один. Руфь поехала повидать адвоката твоего мужа, а женщина, которая приходит к нам, отправилась с Джеффри гулять.

— Ты уже сказал детям?

— О Господи, нет. Все пока так неясно. Ричард был тут — сыпал ультиматумами и раздавал советы.

— Он сказал, что вид у тебя перепуганный.

— Смешно, да и только. Он вздумал нас страшить.

— Ему так больно, Джерри.

— Эй! Хочешь, чтоб я приехал?

— Если ты хочешь, я буду рада.

— Конечно, хочу. Почему бы мне не хотеть? — И когда она промолчала, он добавил:

— Голос у тебя такой, будто ты вся в ссадинах.

— Да, пожалуй, так оно и есть. В ссадинах.

— Ну, больше ни на что не налетай — стой посреди комнаты и не двигайся. Я мигом примчусь.

— Я люблю тебя.

Надо спешить, иначе он потонет. Джерри надел парусиновые туфли, но забыл их завязать и выскочил на задний двор с развевающимися, подпрыгивающими шнурками. По ошибке он вытянул подсос в своем “Меркурии”, точно на дворе была зима, и теперь захлебывавшийся бензином мотор не желал заводиться. Наконец мотор взревел, и машина помчалась мимо почтовых ящиков, распахнутых гаражей, палых листьев в дымящихся кучах, пустых дворов. Весь городок словно вымер — Джерри подумал, уж не началась ли атомная война, и посмотрел на небо: а вдруг изменилось? Но облака в вышине отражали лишь тоску повседневности. Дом Матиасов на холме казался развалиной, заброшенной ветряной мельницей. Цезарь примчался из рощи и залаял, но вяло; на астрах у входа на кухню, поглощенных накануне ночной тьмой, теперь виднелись ржавые пятна. Сразу за дверью Салли робко прижалась к нему. Она была — его. Тело ее поразило его своей реальностью — такое крепкое, большое и твердое; она деревянно

уткнулась лбом в сгиб его шеи, от ее лица шел сухой жар. Он крепко прижал ее к себе — этого она и ждала. В холл притопала Теодора и уставилась на них. Брови у нее, как у Салли, были изогнутые и более темные к переносице, отчего лицо казалось если не разгневанным, то настороженным, словно мордочка дикого, вечно преследуемого зверька. Нижней половиной лица девочка пошла в Ричарда: у нее был такой же тонкий птичий рот. В широко раскрытых, в упор смотрящих глазах отражалась живая прозрачность окружающего мира, и они с Салли стояли как на витрине в этом доме с высокими потолками. Он сказал:

— Эй?

Салли только крепче сцепила руки на его спине, глубже вовлекая его в свою потрясенную неподвижность. На ней была трикотажная кофточка в оранжевую полоску и белые летние брюки — этакий задорный морской костюм.

Джерри спросил ее:

— Тебе не кажется, что мы — как двое детишек, которых застигли с поличным, когда они залезли в банку со сладостями?

Она отстранилась и без улыбки посмотрела на него.

— Нет. А тебе так кажется? Он передернул плечами.

— Что-то в этом роде. В какой-то степени. Я уверен, что это пройдет.

Она снова вжала лицо в его шею и спросила:

— Ты чего-нибудь хочешь?

Неужели она предлагает ему заняться любовью здесь, когда весь мир глядит на них? Он обратился к малышке через плечо Салли, чтобы напомнить, что здесь ее дочка:

— Ты не спишь, Теодора?

— Она теперь уже не спит по утрам, — сказала Салли. В стремлении еще больше к нему прижаться — раньше это выходило само собой — она слегка отстранилась, создав между ними воздушное пространство, но головы не подняла, словно боялась показать ему свое лицо. И, глядя вниз, рассмеялась. — Ты забыл завязать шнурки.

— Ага, и забыл взять сигареты.

Она решила совсем от него отстраниться.

— По-моему, Ричард оставил несколько штук в гостиной. Где мы сядем?

— Где угодно.

Где?

Мы могли бы как-нибудь встретиться, попить кофе, если хотите. Только не в Гринвуде. Это ведь было бы нехорошо?

Нет. Впрочем, да. Нехорошо, зато правильно. Когда? Когда же, Салли, милая? Не дразните меня.

Это вы дразните меня, Джерри.

— Сколько чашек кофе ты выпил сегодня утром? — предвкушая ответ, улыбнулась Салли.

— Не так много. Две, — сказал он, раздражаясь при мысли, что предал ее, не выпив больше. Она не спала всю ночь, она хлестала кофе, а он наслаждался теплом жены и, как ребенок, рисовал на полу.

Он сидел на ее яркой кухоньке — вокруг сверкали ножи, формы для бисквитов, края кухонного стола, тускневшие, когда солнце заглатывали облака, — и говорил о Ричарде и о Руфи: они с Салли обнаружили, что им трудно говорить о себе. Их любовь, их связь лежала между ними — огромная, нелепая, с острыми углами. К своему стыду, Джерри думал лишь о том, как бы не коснуться Салли; ему хотелось объяснить, что не в ней дело: не она изменилась — изменился мир. То, что Ричард знает, пронизало все и оголило: деревья стояли безлистые, в доме все было натерто и сверкало, как на витрине, холмы высились, точно каменные скелеты, и даже если бы Джерри и Салли зарылись, обнявшись, в землю, их все равно бы увидели. Чувство скромности отталкивало его от Салли — только и всего, однако эта же скромность не позволяла объяснить, почему он не хочет ее касаться. Непостижимо, но их отношения, оказывается, тоже требуют такта. Она встала; он встал; обоим, грозя бедою, бомбардировал свет. Джерри с радостью приглушил бы яркость Салли, ибо в этом удивительно прозрачном мире она изобличала,

выдавала их присутствие, а им так необходимо было укрыться.

Они не слышали, как подъехала машина Ричарда. Он обнаружил их на кухне — они стояли с таким видом, будто только сейчас разомкнули объятия. Губы Ричарда были поджаты, как у старика.

— Ну и ну, — сказал он. — Это уж слишком.

Джерри захотелось стать совсем маленьким, незаметным, и он опустился на жесткий кухонный стул. А Салли продолжала стоять.

— Нам надо поговорить, — сказала она. — Куда же нам идти?

Ричард по-прежнему был в пиджаке и в туго повязанном галстуке, словно после продолжительных консультаций сам стал юристом.

— Конечно, конечно, — согласился он. Это двукратное повторение как бы придавало словам силу закона. — Вам надо поговорить — все как следует перелопатить. Извини, возможно, мы не всегда разумны, но мы стараемся, стараемся. Я заехал взять кое-какие бумаги — банковские книги и страховые полисы: ты знаешь эту папку, Салли. Ты мне разрешишь подняться наверх в нашу бывшую спальню?

— У нас был очень грустный разговор, — попробовала перекинуть к нему мостик Салли, — о тебе.

— Право же, это очень мило с вашей стороны. Вы оба, право же, очень заботитесь о моем благополучии.

— Ох, Ричард, успокойся, — сказала Салли. — Мы же все-таки люди.

— Я ценю это. Ценю. Насколько мне известно, я никогда не утверждал, что стороны, участвующие в данных переговорах, — не люди. Джерри, ты куришь сигареты свои или мои?

— Твои.

— Так я и думал.

— Вот, возьми двадцать восемь центов.

— Оставь свои деньги при себе — они тебе понадобятся. Располагайся, как дома, приятель Джерри. Салли-О, позаботься о том, чтобы Джерри как следует пообедал у нас, ладно? Сожалею, но не смогу присоединиться к вам, хоть и знаю, что вы меня очень просите.

Джерри встал со словами:

— Я ухожу.

— Не смей, — приказала Салли.

— Это не мой дом, — сказал ей Джерри. — Это его дом. Он прав. Мне не следует здесь оставаться.

Ричард шагнул к нему, по-медвежьи обхватил рукой и прижал к себе: на близком расстоянии в его дыхании чувствовалось виски — тяжелый неистребимый запах сепии.

— Конечно, оставайся, Джерри. Иисусе Христе, конечно, оставайся. Прости меня, а? Когда я только вошел, я на минуту потерял голову, но сейчас все о'кей. Все, что мое, — теперь твое, угу? А ты, ей-богу, крепко ее обхмутил, верно? — Он сильнее сжал плечи Джерри, и у того мгновенно возникло неприятное ощущение, что он — младенец, совсем крошечный, которого можно сдавить, поднять на воздух и выкинуть. Ладони у Джерри зачесались, во рту пересохло. А Ричард тем временем продолжал:

— Приятного аппетита. Салли хорошая кулинарка — этого у нее не отнимешь. Она превратила мою жизнь, приятель, в сущий ад, но еда всегда была на столе — трижды в день, приятель: раз, раз, раз. Неплохая она девчонка, Джерри, счастливчик ты этакий: ты ведь действительно ее обхмутил, а? Никак не могу с этим примириться: знаю, ничего тут от разума нет, знаю, просто защитный рефлекс работает, но никак это не умещается в моей дурацкой тупой башке. Джерри сказал:

— Она по-прежнему хорошо к тебе относится. — Сердце у Джерри колотилось, он старался вылезти из ямы, добиться одобрения Ричарда, его прощения. — До прошлой ночи, — продолжал он, — я понятия не имел, насколько хорошо она к тебе относится.

— Дерьмо, — сказал Ричард. — Merde. Саа. Убери ее с глаз моих — от одного ее вида меня, честное слово, с души воротит. Желаю удачи, дружище. Даю вам, двум палачам,

три года, самое большее.

— Оставь его в покое, — сказала Салли Ричарду. — Неужели ты не видишь, как он мучается из-за своих детей?

— Мне самому жаль его детей, — сказал Ричард. — Мне жаль и моих тоже. Мне жаль всех, кроме тебя, Салли-О. Ведь все это твоих рук дело.

— Джерри волен в любую минуту уйти, — сказала Салли, гордо вскинув подбородок. — Я его не держу. Я хочу, чтобы мужчина хотел меня.

Но Ричард уже повернулся к ней спиной и шел вверх по лестнице, перешагивая через три ступеньки сразу. Оттуда он крикнул:

— Где мой чертов халат?

Салли подошла к подножию лестницы и не менее громко крикнула:

— Не смей лазать в мой шкаф!

Тяжелые шаги Ричарда шаркали по полу над их головой в одном направлении, потом в другом, и вскоре он спустится вниз с чемоданом; даже не взглянув в их сторону, он проследовал на улицу, хотя они вышли в холл, точно слуги, чтобы получить последние указания.

Салли отбросила с ушей свои длинные волосы и вздохнула.

— Все разыгрывают такую мелодраму.

— Не надо тебе здесь оставаться, — сказал Джерри. — Я не смогу навещать тебя: Ричард будет шнырять туда и обратно. Он сказал мне, что намерен здесь жить.

— Это не только его дом, но и мой, — сказала Салли.

— Так-то оно так, но ведь не Ричард, а ты хочешь развода.

Она уставилась на него; глаза ее расширились с наигранной наивностью.

— Только я? А мне казалось, мы все хотим этого.

— Ну, одни больше, чем другие.

— Возможно, я не так поняла прошлой ночью, — не отступалась Салли. — Мне показалось, я слышала, как ты сказал, что хочешь на мне жениться.

— Я и сказал. И мне не нравится, что ты здесь живешь. Мне кажется, тебе здесь небезопасно.

— Ах, ты о Ричарде, — мягко сказала она, снова отбрасывая назад волосы. — С ним я справлюсь. — Это подчеркнутое с ним словно раскрыло перед Джерри неведомые земли.

Он почти прозрел, вот если б только Салли со своими непрестанными заботами и отчаянной практичностью не стояла на пути его прозрения. Она сказала:

— Хочешь, поедem посмотрим дом художника? Помнишь, я тебе говорила?

Он — прелесть, Джерри, он тебе понравится, он прелестный старикан. Не знаю, сколько ему лет, но духом он такой молодой.

По твоим словам, он еще мужчина что надо.

Он любит меня. Называет меня своей дочкой.

Как мило. С его стороны. И с твоей.

Джерри был ненавистен в это лето их связи ее флирт со старым художником, который зимой давал уроки в городе и был тем, чем мог бы стать Джерри, — художником, свободным человеком.

— Как же я мог забыть?

— Наверное, это для нас слишком дорого. Он ведь там все сам устроил, сам столярничал.

— Она понизила голос, зазвеневший было от восторга. — Там ты мог бы поселить меня, пока мы не объединимся. И тогда едва ли он много запросит. И детям не придется менять школу.

— Далекo это отсюда?

— Всего одна миля. Джерри рассмеялся.

— Не намного же мы продвинемcя к Вайомингу.

В машине Джерри был сломан глушитель, мотор грохотал и отравлял воздух, и потому они поехали в сером "саабе" Салли — она за это время успела починить стартер. Салли вела машину; Теодора застенчиво сидела на коленях у Джерри. Художник построил свой высокий домик, своеобразную пагоду без драконов, на поросшем сосною склоне первого

холма за Гринвудом. Камни летели из-под колес “сааба”, когда машина начала карабкаться вверх. Скошенное деревянное строение, трехэтажное — каждый следующий этаж меньше предыдущего, — было словно сложено из кубиков гигантом-ребенком. Джерри неловко держал на руках Теодору: она была младше и легче Джоффри, но у Джерри было такое чувство, будто он держит собственного малыша; потом в памяти всплыло, как много лет назад, в те невозвратные безгрешные дни, Салли и Руфь обменивались платьями, сшитыми на период беременности, пользуясь тем, что она у них не совпадала, и он, вернувшись домой, вдруг обнаруживал Руфь то в рыжем крапчатом шерстяном платье, то в широкой юбке цвета зеленого леса, в которых глаз его привык видеть Салли, а ведь он — смутно, бессловесно — уже любил ее.

Ключ хранился в доме на сто ярдов дальше. Джерри и Теодора ждали, когда вернется Салли, и девочка так далеко отстранилась от этого чужого дяди, державшего ее, что у него заныли плечи от напряжения и он опустил ее на ножки. Она вперевалку направилась к недавно разбитой лужайке — на траве появились крошечные следы, сначала оставленные случайно, потом нарочно. Он хотел побранить ее, но это было бы предательством по отношению к детям, которых он призван воспитывать, и слова осуждения так и не были произнесены. Салли подошла к ним своей широкой крестьянской походкой, слегка запыхавшись от подъема, и впустила в дом. В доме было холодно — холоднее, чем на улице.

— У него электрическое отопление, — сказала она.

— Оно не включено.

— Просто поставлено на слабый накал.

Балки из красного дерева и сосновые доски, просмоленные до оранжевого блеска, не сочетались с отделкой из стекла и с каменными плитами; внутренность дома была таинственна, как внутренность палатки. Между большими, чуть скошенными окнами строгая прямолинейная мебель прятала острые углы под восточными подушками.

Цветные шерстяные коврики пытались смягчить холод каменных плит. Ветви сосен за окном, их тени и отражения наполняли комнату призраками каких-то зверей, а перекладыны высоких датских стульев казались насестами или лестницами.

— Прелестный дом, — сказал Джерри, а сам подумал, что жить бы он здесь не мог. Это был дом человека, изгнавшего из сознания все, кроме себя, своих потребностей, своего тела, своей гордыни.

— Кухня, — объявила Салли, невозмутимо продолжая обход дома, словно агент по продаже недвижимости, продолжающий упорствовать, несмотря на всю безнадежность дела. — Маленькая, — сказала она, — но ужасно удобная для работы. Типично мужская кухня.

— Он живет один?

— У него бывают гости.

— Он что же, из выроdkов?

— Иногда на него находит. Он старый человек, Джерри; философ. Видишь, сколько тут полок? Хватит места и для наших книг.

— Но я же не буду здесь с тобой жить, верно?

— Ты мог бы приезжать ко мне. Я думаю, ты даже должен приезжать, чтобы дети к тебе привыкли. Это обременительно для твоей совести?

— Совесть? А разве она у меня есть?

— Пожалуйста, постарайся не грустить. Пошли. Тут есть кое-что любопытное — я хочу тебе показать. — Она повела его вверх по лестнице в виде спирали из натертых досок; затем — через верхний холл. Сквозь раскрытые двери из необработанной сосны он увидел тиковые кровати без белья, с матрацами из пенопласта. — Мальчикам придется здесь жить вдвоем, — заметила Салли. В глубине верхнего холла была ванная, оборудованная с римской роскошью. Рядом с дверью стояла лестница — Салли полезла по ней. Ее бедра, обтянутые белыми брюками, проплыли вверх мимо него, точно воздушные шары. — Иди-ка взгляни, — крикнула она вниз.

Салли стояла в восьмиугольной комнате; южные стены ее были сплошные, без окон, а в

остальные стороны открывался вид на верхушки сосен и на северное небо, весь свет с которого забирали окна в скошенных свинцовых переплетах, — вот так какой-нибудь человек, подумал Джерри, запрокидывает чашу и пьет, а все прочие стоят рядом, изнывая от жажды. За неподвижными оконными переплетами быстро мчались облака. Под окнами стоял большой мольберт, пустой и новый: остатки соскобленной краски в желобке указывали на то, что им пользовались не больше одного сезона. Отсутствующий художник отличался аккуратностью, он явно любил, чтобы рабочее место было хорошо оборудовано — стеклянные полочки, чертежная доска из матового плексигласа, гибкие лампы немецкого или шведского производства. Джерри представил себе картины этого художника — скорее всего, абстрактные, с обилием воздуха на полотне, остроугольные, по новейшей моде. Джерри еще в детстве надумал пользоваться чертежной доской; карандаш его то и дело прорывал бумагу, потому что они с приятелем приспособили эту доску для метания дротиков, а также как верстак, и от гвоздей, которые они на ней распрямляли, оставались дырки.

— Тебе это противно, да? — спросила Салли.

— Нет, что ты. Я восхищен. Мальчишкой я мечтал о такой мастерской.

Салли подождала, не добавит ли он еще чего-нибудь, затем сказала:

— Ну, для нас это слишком дорого. Он хочет двести двадцать в месяц, и счет за отопление будет ужас какой.

— Не знаю, — признался он. — Это... это, пожалуй, слишком хорошо для нас. Пока что.

Он с тревогой впился в нее взглядом, проверяя, поняла ли она его. Она быстро закивала

— да, да, — точно лишенный разума автомат.

— Пора домой, — сказала она. — Питер, наверно, уже вернулся из детского сада, и мне надо готовить ленч. Хочешь поесть с нами?

— Конечно, — сказал Джерри. — Мы... я вызвал женщину посидеть с детьми.

Оказалось, что Питер еще не вернулся. По вторникам эту группу детей из школы и в школу возила Руфь. Все словно происходило в другом времени бм измерении по сравнению с тем, когда Руфь в своем мягком черном платье вышла на глазах у Джерри из комнаты и исчезла, улыбаясь и смешно твердя про себя: “Ключи от машины, ключи от машины”. А Салли, ставя четыре прибора на тяжелый орехового дерева кухонный стол, тем временем говорила:

— Я сегодня утром спросила мальчиков, хотят ли они, чтобы мистер Конант жил с ними, и они подумали немного, а потом Бобби сказал: “Чарли Конант?” Они очень любят Чарли, все его любят.

— За исключением бедняжки Джоффри.

— Это потому, что ты недостаточно их дисциплинируешь, Джерри. Бобби тоже пытается подкусывать Питера, но я не позволяю. Я этого не терплю и говорю — почему. Мне кажется, очень важно всегда объяснять детям почему.

— А как мне сказать своим, почему я ухожу от них? Она отнеслась к этому вопросу серьезно.

— Просто скажи им, что вы с мамой хоть и очень любите друг друга, но считаете, что будете куда счастливее, если разъедетесь. Что ты их очень любишь, и будешь часто видаться с ними, и постарайся обеспечить их всем, что в твоих силах.

— Обеспечить. Это для тебя — главное слово, да? Она подняла на него потемневшие глаза.

— Разве?

— Я вовсе не хотел сказать гадость. У каждого должно быть свое главное слово. У меня, например, — вера. А может быть, страх? У Руфи, как ни странно, — свобода. Когда она сегодня утром уезжала, она казалась такой счастливой. Она словно бы разводилась со всем, что окружает ее.

— Ты устроил ей превеселенькую жизнь, — заметила Салли.

— Это же ради тебя.

— Нет. Не думаю. Ты вел себя так, потому что тебе это нравилось. Ты ведь и мне устроил превеселенькую жизнь.

— Я не хотел.

Она улыбнулась — косо, потом широко.

— Не огорчайся так, повелитель. Мы ведь этого ждали. — Она отделяла от стеблей листики салата-латука для сэндвичей. Джерри обнаружил, что его раздражает эта ее расточительность: вовсе ни к чему отрезать сначала стебель. Готовя, она многое делала вот так — немного бессердечно. На кухне у нее все сверкало, сияло, тогда как у них на кухне было сумрачно и прохладно даже летом.

Салли протянула Теодоре кусочек хлеба с маслом и спросила:

— А какое главное слово у Ричарда?

Джерри почувствовал облегчение от того, что прозвучало имя Ричарда, что Ричард хотя бы таким путем снова вошел в дом.

— У Ричарда? А у него есть главное слово? Вчера вечером я был поражен его чувством ответственности. Я хочу сказать, что он сразу все увидел в социальном контексте: юристы, школы для детей.

— Мне кажется, ты не слишком хорошо его знаешь, — заметила Салли.

— Как бы он поступил... а, неважно.

— Ну, спрашивай же.

— Как бы он с тобой поступил, если бы я мотанулся?

— Никак.

— Никак?

— Да, он ничего не стал бы делать, Джерри. Возможно, подулся бы и заставил меня поползать перед ним несколько недель, но ничего не стал бы делать — и вовсе не потому, что так уж любит семью. Просто развод стоит денег, а он не любит тратить деньги. Так что пусть это соображение не останавливает тебя.

— Не останавливает меня? Разве я смотрю в сторону?

— По-моему, да, — сказала Салли, выключая горелку под закипевшим супом.

Вернулся Питер; на этот раз группу развозила Джейнет Хорнунг, и Джерри, хотя присутствие его и выдавала машина, стоявшая на дорожке, укрылся в кухне, пока Салли оживленно болтала с Джейнет у двери, где все еще цвели астры. Питер ворвался в кухню, замер и с самым серьезным видом уставился на Джерри. Из трех детей Салли он был меньше всех похож на Ричарда. Это отнюдь не утешало Джерри: ведь Питер вполне мог родиться от их связи, и тогда он заслонил бы собою остальных, и на него одного излилась бы вся мера любви, которая сейчас рассеяна и поделена между тремя детьми. Тонкое лицо Питера, даже на ушах и на носу покрытое прозрачным, заметным на солнце пушком, было мужским слепком с круто замешанной красоты Салли, и это-то и наводило на размышления. Джерри не хватало в этом лице тяжеловесности, одутловатой жесткости, унаследованной от Ричарда другими детьми.

— Привет, Питер, — сказал Джерри. — Это всего лишь я. Как дела в школе? Мальчик улыбнулся.

— О'кей.

— Чему же ты научился?

— Ничему.

— А мама твоя говорит, что ты теперь умеешь сам застегивать пуговицы.

Питер кивнул, однако почему-то снова погрузился и встревожился.

— Я ботинки завязывать не умею. — Слова он произносил отчетливо, с неестественным нажимом — совсем как Салли, когда она разговаривала в Вашингтоне со служащими отеля или в аэропорту.

— Это трудная штука, — сказал Джерри. — Ботинки трудно завязывать. Но когда ты этому выучишься, придется тебе еще научиться завязывать галстук и бриться.

Малыш кивнул, замороженно и настороженно, быть может, чувствуя, что этот не совсем незнакомый разговорчивый человек, так странно явившийся к ним среди бела дня без своих детей, и есть источник неблагополучия, которое пришло откуда-то и заполнило дом. Решив показать, что у него и в мыслях нет ничего дурного, Джерри опустил на кухонный стул. Из холла притопала Теодора — ротик у нее блестел от хлеба с маслом — и

стала карабкаться на колени к Джерри. Не привыкнув распознавать ее желания по движениям, он не сразу ей помог; наконец, она неловко уселась, больно давя ему на колени: она была совсем худенькая — не то что Джоффри. Вернулась Салли, благополучно спровадив свою коллегу по материнским заботам, и тотчас поняла, что надо освободить его от детей. Она усадила Теодору и Питера за стол (глубокая тень легла на его зернистую поверхность) и поставила перед ними молоко и куриный суп, а Джерри подала сэндвич с вином в гостиной (к этому времени солнце уже снова вышло, и кафельные плитки в крышке кофейного столика своей яркостью резали глаз). Вино было не то, что вчера, а сухое бордо, такое светлое, что отливало зеленью, словно в двух бокалах на тонких ножках жил призрак виноградного листа. Сэндвич — салями с салатом — был на вкус как мольба, зеленая, перченая смесь сожалений и обещаний. Есть Джерри не хотелось, но он принялся старательно жевать.

Он сидел в грязном кожаном кресле Ричарда, оставив для Салли весь белый диван, но она не села и не стала есть, а бродила вдоль окон, держа в руке бокал, ее ноги в белых брюках бесшумно отмеряли длинные шаги, волосы чуть не летели сзади.

— Как все славно получается, — сказал он.

— Зачем ты пугаешь меня? — спросила она. — Почему не взять и не сказать напрямик?

— Сказать — что?

— Почему ты не спросишь меня, зачем я все ему выболтала. Почему не говоришь, что я толкала тебя на это.

— Ты имеешь право меня подталкивать — чуть-чуть. Ты заслужила это право. Вот я не имел права, никакого права хотеть тебя — я мог любить тебя, но я не должен был тебя хотеть. Нехорошо стремиться к обладанию человеком, как, например... красивой вещью. Или роскошным домом, или прекрасным участком земли.

— Наверное, — рассеянно произнесла она, словно мысли ее были заняты детьми на кухне или самолетом, гудевшим высоко в небе.

— На меня то и дело откуда-то из глубины накатывает странный мрак, — он чувствовал, что обязан ей объяснить, — и лишает вкуса даже вино.

Она стремительно шагнула к нему — казалось, вот-вот взорвется: схватила в охапку волосы, свисавшие вдоль лица, оттянула назад и задержала на затылке. Потом посмотрела вниз на него и пылко, осуждающе спросила:

— Неужели ты никогда не избавишься от своей депрессии?

Он поднял на нее глаза, представил себе, что лежит на смертном одре, и спросил себя: "Именно это лицо хочу я видеть?"

Уже в самом вопросе содержался ответ: лицо Салли давило на его глаза, как щит, он не видел в этом лице ни грана сочувствия, никакой помощи в предстоящем переходе в мир иной, — лишь эгоистический страх, страх такой сильный, что ее редкие бледные веснушки словно взбугрились на коже, натянутой собранными на затылке волосами.

Не вставая, он неловко обнял ее — тело ее не хотело сгибаться, рука не желала отпустить волосы. Он закрыл глаза, и темнота под веками стала багровой и теплой, она ширилась, растекалась, охватывая их обоих, и он вдруг увидел себя и ее с большой высоты: они стояли на плоту, крепко вцепившись друг в друга, посреди безбрежного кроваво-красного океана. Самолет прогрохотал в небе, и звук улетел вместе с ним.

Вошли насытившиеся дети. Джерри быстро прошептал:

— Я струсил.

Салли выпрямилась, посмотрела вниз, разжала кулак, и волосы, падая, медленно легли ей на спину, точно растрепанный канат.

— Давай прокатимся, — сказала она. — Очень уж сегодня хороший день — жалко его терять.

Он неуклюже поднялся — с абстрактной благодарностью инвалида.

— Да, — согласился он, — давай. Может быть, вне стен этого дома я снова обрету чувство перспективы.

Я люблю этот дом.

Любишь мой дом — люби меня.

Твой дом — это, собственно, ты. Тебе он дорог — вот что говорит твой дом. Тебе дороги многие мелочи.

У меня пошлый ум.

Нет: ты — как растение, у которого короткий период роста, и поэтому оно выпускает множество крошечных корней.

Это звучит трагически, Джерри.

Я вовсе не хотел, чтобы это звучало трагически. У каждого из нас свой период роста. Облака, которые, по мнению Джерри, должны были принести грозу, начали, наоборот, таять, рассеиваться; однако, хотя был всего час дня, казалось, что летний день подходит к концу. Они поехали вчетвером не на Гринвудский пляж, где их обоих — Джерри и Салли — могли узнать, а на другой, несколькими милями дальше, где песчаная дуга была зажата с двух сторон нагромождениями полосатых камней. Несколько парусников испещряли Саунд, словно налипшие листья. Салли и Джерри отмахали по пляжу полумиллю до дальних скал и уже шли назад, как вдруг он воскликнул:

— Господи! Красивее этого места я ничего не видел! — И волны, и белые гребешки на них, и желтые полосатые камни — все казалось ему озаренным каким-то божественным сиянием, а объяснялось это тем, что, шагая по пляжу, они приняли решение не вступать в брак. Или, вернее, Джерри дал ей понять, что они не поженятся.

Салли несколько раз молча быстро кивнула, потом вдруг резко вскинула голову, рассмеялась и заметила:

— Ну, скажу я тебе, Джерри, ты держался до последней минуты! — На свежем воздухе в лице ее прибавилось красок.

— Я сам этого до сих пор не знал, честное слово, не знал, — сказал он. И добавил:

— Я боялся потерять то единственное, что имеет значение.

— Куда все исчезло, Джерри?

— Да все по-прежнему тут. Глубоко запрятано. Но тут. — И, обиженный ее молчанием, добавил:

— Почему ты не борешься?

Она покачала головой, глядя вниз, на свои босые ноги, шагавшие по мокрому ребристому песку за извилистой линией высушенных солнцем водорослей, и сказала:

— Нет, Джерри, я не буду бороться. Не мне надо бороться. Бороться надо тебе.

Теодора все больше и больше отставала и теперь в отчаянии плюхнулась на мокрый песок. Дойдя до скал, взрослые повернули назад, и Джерри нес девочку до самой машины. Он с ужасом обнаружил, что тела их принаравливаются друг к другу и малышка с возрастающим доверием льнет к нему. Автомобилей на стоянке почти не было — совсем как в мае, и высокие дюны вновь обрели свою необжитую девственность. Когда они залезли в машину, Салли сказала:

— Поблагодарите милого дядю, дети, за то, что он свозил вас на пляж.

— Но мы так мало там были, — занял Питер.

— Я свожу вас завтра еще раз, — сказала она.

Джерри отвез их домой и подождал внизу в холле, пока Салли сходила наверх и принесла из своего шкафа, из шляпной коробки, задвинутой подальше на полку, большой конверт а письмами, милыми забавными рисуночками, скверными стишками, — все это накопилось, как выбрасываемые морем водоросли, за долгие месяцы их связи и тщательно хранилось ею.

— По-моему, здесь — все, — сказала она. — Я всегда так боялась: вдруг Ричард их найдет.

— Если он все-таки решит довести развод до конца...

— Нет. Даже и не думай. Этого не произойдет.

— Эй...

— Не плачь. Мы же знали, что все кончится. Я, во всяком случае, знала.

— Извини, я просто не могу с тобой расстаться, не могу подойти к этой последней минуте. Теперь, когда ты уже не моя, вся былая любовь вернулась, нахлынула. Ты выглядишь — обалдеть можно.

— Пожалуйста, уходи. Ты же, по-моему, принял решение. Будь добрым с Руфью, не смей ее

наказывать за то, что ты принял такое решение.

— А ты найдешь себе кого-нибудь другого?

— Нет. — Она произнесла это очень быстро. Она дотронулась до его щеки кончиками пальцев. — Никто другой не сможет дать мне... — она помедлила, подыскивая слова, и, найдя их, улыбнулась, — ...столько радости.

— Я никогда в жизни не чувствовал, что прав, — как бы это выразить, — только когда был с тобой. Я никогда не чувствовал себя дома — только когда был с тобой.

На лице Салли возникло выражение, какое появлялось у нее, когда люди, по ее мнению, устраивали “мелодраму”. Она пожала плечами и сказала:

— Я рада, что это был ты.

— Позвонишь мне, если я тебе понадобится? Поговоришь со мной?

— Не думаю, нет. Это должен быть конец — раз и навсегда. Иначе люди решат, что мы совсем рехнулись. Спасибо тебе, Джерри.

Он хотел поцеловать ее, но она не далась.

В холле она повернулась к нему спиной прежде, чем он закрыл за собой дверь.

На дорожке он встретил Ричарда. Ричард взглянул на его лицо, на большой конверт у него в руке и сказал:

— Храбрости не хватило, а, Джерри? Джерри решил, что предстоит долгий разговор, и крепче сжал толстый конверт.

— Одно дело, — сказал он, — быть храбрым, когда речь идет о тебе самом, и совсем другое, когда речь идет о твоих детях.

— Угу, конечно, приятель Джерри, только об этом следовало подумать немного раньше.

Но я заставлю тебя заплатить за все, дружище. Меня словно обухом ударило, а в нашем обществе принято расплачиваться за причиненную боль.

— Что ты с ней сделаешь?

Ричард закурил сигарету и впился взглядом в невидимую шахматную доску, на которой отважно рокировался его противник.

— Не знаю, Джерри, — сказал он, выпуская из угла рта дым и прикрыв от него один глаз — то ли слепой, то ли зрячий. — Я не спал, у меня не очень ясная голова.

— Она — твоя жена, — сказал Джерри. — Я провел с ней не один час, и все это время она считала себя твоей женой. И это твои дети, и это твой дом.

— Премного благодарен, — сказал Ричард. — *Mucho gracias, senior. note 31* — Он бросил едва начатую сигарету, раздавил ее в траве и вошел в свой дом, хлопнув дверью. Джерри стоял, застыв, как вор, и прислушивался. Дом молчал, воссоединение происходило молча, ни звука — только Цезарь царапал когтями гравий на дорожке, вернувшись после какой-то неспешной охоты в рощице к своему привычному укрытию в гараже.

Опустив верх своего “Меркурия”, Джерри ехал домой — свободный. В листве деревьев над его мчавшейся машиной было много багрянца и золота — рыжие пятна выскакивали из зелени и летели назад на фоне неба. Грозная Природа времен его детства, казалось, возродилась; в воздухе был привкус унижения и позора, но таков же, как ни странно, и вкус вечной жизни. Он обнаружил Джоффри и маленького Кан тинелли на заднем дворе — они пытались играть в бейсбол с помощью погнутой пластмассовой биты и мягкого мяча, и прежде, чем войти в дом, Джерри несколько раз бросил мяч сыну: эти мальчики — разновидности отринутого им “я” — были его ангелами-хранителями. Как хотелось ему, чтобы этот мирный миг длился вечно: стоять бы вот так на твердой осенней земле, видеть рядом маленькие грязные личики, смотрящие на тебя без осуждения, и читать на лице сынишки любовь и зависимость, а на лице соседского мальчика (что было еще убедительнее) — просто уважение к старшему, взрослому человеку. Но он не мог задерживаться — надо скорей бежать отсюда, скорее уединиться: у него работа. Он так и сказал миссис О. Она кивнула и извлекла из глубин своей грудной клетки воркующий звук, означавший покорность, надежду, что Руфь скоро вернется, и заверение в том, что с детьми все будет в порядке. Джерри поднялся наверх и надел пиджак к тем брюкам, которые с утра были на нем. В кухне он цветным карандашом нацарапал на обратной стороне счета за молоко: ВСЕ КОНЧЕНО. БУДЬ МОЕЙ. Подписался: Х.Х. И помчался в Нью-

Йорк, тогда как основной послеполуденный поток машин мчался ему навстречу. Ох, Джерри, никакой спешки нет, пусть пройдет столько времени, сколько тебе нужно, потому что я знаю, — всякий раз, как вижу тебя, знаю, что это — ты, именно ты — есть и будешь. И не так уж важно, что ты решишь и решишь ли вообще; не в нас дело — дело в нашей любви, в том, что мы чувствуем друг к другу, это мы должны оберегать, нельзя допустить, чтобы мир у нас это отнял.

Я хочу дотянуться до тебя.

Приходи, если можешь. Я здесь. Сама любовь к тебе делает меня счастливой, даже когда ты не приходишь ко мне.

Ты так говоришь, а ведь это не всегда будет правдой. Почему ты никогда не веришь мне? На работе ему сказали, что в его отсутствие предложенные им идеи и наброски мультипликаций были отклонены конференцией по собачьему питанию. Он сел за свой стол в большой комнате, в то время как вестибюль уже наполнился щебетом и стуком каблучков уходивших секретарш, и принялся набрасывать собак, вышагивающих на двух ногах и беседующих друг с другом. На его стальном письменном столе зазвонил телефон.

— Милый, что случилось?

— Не знаю, — сказал он Руфи. — Не случилось того, что должно было случиться. Согласна взять меня обратно? Или тебе бы не хотелось? Тогда я могу еще какое-то время пожить в коттедже.

— Конечно, согласна. А ты хочешь снова быть со мной?

— Видимо. Что-то не мог я сфокусироваться на бедняжке Салли: у меня засело в печенках, как ты надела свое платье для коктейля и вышла из моей жизни.

— Она была расстроена?

— Нет, она была невероятно спокойна и покорна. У меня такое чувство, что она сама этого хотела. У нее засел в печенках Ричард. И вот оказалось, что мы оба пусты.

— А Ричард был там?

— Приходил и уходил. Я видел его в самом конце, и он сказал мне, что у меня не хватило храбрости. Руфь помолчала, потом сказала:

— Как это подло. Он спросил:

— А как адвокат?

— О, прелестный человек. Еврей, примерно возраста моего отца, очень любезный и совершенно прелестный. Мы все обсудили в общих чертах: он считает, что подавать надо не в Алабаме, но после разговора с Ричардом думает, что дело до этого не дойдет.

— Значит, не дойдет. — Как страшно, как унижительно знать, что кто-то предвидел твои действия. Жена попыталась отвлечь его от этих мыслей:

— Ты бы видел, как я ехала в Кэннонпорт — еле плелась, это была просто мука. Мне гудели, меня обгоняли, а я думала: “У детей осталась теперь только я”, — и ехала медленно, как никогда. Просто удивительно, что сзади на меня никто не налетел.

— Можешь написать брошюру: “Как я стала ездить осторожно”, автор Руфь Конант.

— Почему ты в Нью-Йорке?

— Сам не знаю. Наверно, потому, что не могу в довершение всего потерять еще и работу. Мне здесь спокойнее. — Ждешь, что она тебе позвонит?

— Нет, ей-богу, этого я как раз не жду. Потерпишь еще часа два?

— О, конечно.

— Накорми детей, я вернусь к ужину, часов около восьми. Я люблю тебя.

— Ну и ну. Все так неожиданно. Я теперь уж и не знаю, на каком я свете. Он рассмеялся и сказал:

— Почему женщины такие смешные? Она тоже все время острила.

— Джерри?

— Да?

— Ты только не вздумай выкинуть чего-нибудь. Он снова рассмеялся.

— Например, взрезать себе вены? Вам всем тогда бы крупно повезло.

— Не говори глупостей.

— Ты такая милая, — сказал ей Джерри, — что выждала лето.

— Я поверить не могу, — сказала Руфь, — что все позади. Я уже столько раз думала, что все позади, а оно все продолжалось и продолжалось.
— Теперь кончилось. Пожалуйста, успокойся и будь снова сама собой.
— А именно? Какой?
— Ты знаешь.

Она повесила трубку, но он обнаружил, что не может рисовать. Рука у него дрожала; за окном множились огни, по мере того как город погружался в ночь, словно огромный, мерцающий, тихо тонущий корабль. Шел уже седьмой час — делать ему здесь больше было нечего. Он взял блокнот для рисования и направился на автомобильную стоянку возле колоссального котлована; по дороге в Гринвуд, сквозь грозящее гибелью переплетение сигналов и фар, в его сознание снова просочился тот страшный разговор на пляже. Вся розовая от соленого бриза — и подбородок, и щеки, и веки — Салли спросила, еще не вполне веря, что он отступает от нее:

Неужели мы не сумеем это наладить?

Никогда.

Да ты хоть понимаешь, что ты мне говоришь?

Я говорю, что мы никогда не сумеем это наладить. И что всем нам потом будет плохо — и мне, и Руфи, и тебе, и Ричарду.

Все дело в моих детях? Это из-за того, что ты не выносишь моих детей?

Они мне нравятся. Единственное, чем они меня не устраивают: они напоминают мне о моих.

Не надо было тебе удерживать меня, когда я хотела уйти и когда у меня еще были для этого силы.

Я любил тебя. Все еще люблю. Если я тебе нужен, я в твоём распоряжении. Я тут — упакованный и доставленный стараниями Ричарда Матиаса.

Ты мне не нужен такой. Зачем ты мне — несчастливый.

О, я снова буду счастливым. Как только попаду в сказочный домик художника.

Нет. Все прошло. Я это чувствую.

Вот как? А я ничего не чувствую.

Питер, перестань приставать к мистеру Конанту. Он не хочет играть.

Он ведь только показывает мне ракушку. Она, Питер, чистенькая. Есть у тебя кармашек для сокровищ?

Не подождем Теодору?

Она ходит совсем как ты, верно?

Никогда этого не замечала.

Хочешь перебраться через камни, посмотреть, что там?

Тебе же охота вернуться?

Я могу и подождать.

Джерри...

Скажи.

Прости, что я такая дура, прости, что вчера не могла говорить, как надо, а сегодня вот и поступить, как надо, не могу...

Ты держалась отлично. Ты — это ты.

Нет, я знаю, я сегодня плохо к тебе относилась, но не всегда будет так. Я же знаю, что нам вместе хорошо.

Я это тоже знаю. Дело не в тебе, Салли. Дело в обстоятельствах. Мы не можем устранить их. Ты не можешь устранить их для меня. И я не могу устранить их для тебя. Я бы очень хотел, но не могу.

О'кей, повелитель. Не можешь, так не можешь.

А ты уверена, что не могу?

Это не я, а ты уверен.

Господи. Красивее места я просто не видел!

Его фары выхватили указатель съезда на Гринвуд. Он вспомнил, что на заднем сиденье

лежит объемистый конверт, который дала ему Салли, — труп, оставшийся от их связи. Он свернул на боковую дорогу, остановил “меркурий” у обочины и ключом открыл багажник — в глубине, рядом с грязным гаечным ключом, под отставшим пластиком, где лежал моток каната — память о бойскаутских соревнованиях на воде, в которых участвовал Чарли, — было укромное место, которое пока вполне могло послужить тайником. Конверт был так туго набит свидетельствами взаимной любви, что, когда Джерри стал его класть в укрытие, зажимчик сорвался, и содержимое рассыпалось, обнажив, словно края отбитого стекла, зазубрины ее и его букв на кусочках бумаги, которая уже начала желтеть. Несколько листков упало на дорогу; остальное разлетелось по резиновому дну багажника. Фары пронесившихся мимо машин то и дело высвечивали его; он боялся, что кто-нибудь из знакомых остановится и увидит, как он стоит на коленях и вытаскивает любовное послание из-под колеса. Трясущимися руками он стал торопливо засовывать письма обратно в конверт; они словно разбухли и не желали влезать — приходилось их комкать. Между двумя письмами, написанными его почерком, лежало несколько прядок волос. Он попытался рассмотреть их при красном свете хвостовых огней, но не мог понять, какого они цвета. Только это были явно не ее волосы — слишком короткие. И он вспомнил, что иной раз у себя дома она его причесывала после всего. Значит, она хранила его волосы.

У тебя такие мягкие волосы, Джерри.

Я их мыл вчера вечером. Специально для тебя.

Для меня?

Вчера на пляже я набрал полную голову песка и подумал: завтра я, возможно, увижу Салли, и мы будем спать вместе, и я вовсе не хочу, чтоб песок попал ей в глаза.

Знаешь, как ни смешно, но я знала, что так ты и скажешь, — я поняла это по твоим губам еще прежде, чем ты раскрыл рот.

Он попытался было положить волосы на место, но они выскользнули из его пальцев и упали на скопившийся у дороги мусор. Он резко захлопнул крышку багажника. Он опаздывает, он куда-то опаздывает — неизвестно куда. Его преследуют. Дорога, которой он вновь завладел, побежала вниз, через Гринвуд, с его улицами и деревьями, — этот лабиринт Джерри знал лучше своего преследователя. Вот его дом, его окна, его крыльцо, — голоса его детей возникли, как из “сна спящего Бога.

Судя по всему, во время его отсутствия произошла драма. Руфь встретила его восклицанием:

— Где ты был? Мы все обыскались тебя.

— Все?

— Да. Они были здесь оба. С этой их девчушкой — как там ее зовут. И все уехали совсем недавно — я только что подала детям еду. Входи и давай поговорим. — Он молча подчинился, ни о чем не спрашивая. Руфь провела его в кабинет и плотно закрыла за собой дверь. — Она приехала первая. Мол, приехала, чтобы растолковать мне, за каким человеком я замужем, но мне совершенно ясно, что искала она тебя. Она все озиралась и прислушивалась к звукам наверху. Я сказала, что не видела тебя — просто получила записку и разговаривала с тобой по твоему рабочему телефону. Она не могла поверить, что ты уехал в Нью-Йорк. Она сказала, что вы с ней спали — когда же это было? — в субботу вечером, то есть накануне взрыва. Это правда?

— Да.

— Ну, это уж последняя капля.

— Солнышко, о какой последней капле может теперь идти речь. Ну, какие еще гадости она говорила?

— О, я не знаю. Все говорила, говорила. Она была вне себя. Как актриса, которая вдруг поняла, что она уже не примадонна. Сказала, что ты обошелся с нами обеими ужасно и что если у меня есть гордость, я не должна тебя принимать. Сказала, что ты — дьявол, а ей гореть в вечном огне за то, как она поступила с Ричардом. Так и сказала. И все не отпускала от себя Теодору — наконец-то я вспомнила ее имя, — держала на руках бедную растерянную малышку и даже заставила меня накормить ее. “Руфи, твой муж — просто

мерзавец. У тебя нет случайно печенья для Тео, он переспал со мной в субботу вечером, кстати, не найдется у тебя стаканчика молока?”

Джерри расхохотался; ему стало легче от того, что Салли так по-идиотски себя вела.

Легче стало и от того, что она еще жива: ведь ее жизнь — это его жизнь, так было и будет.

— А когда же в эту картину вписался Ричард?

— Она пробыла у меня с полчаса, а может, и больше, когда он приехал ее забрать. Именно

— забрать, точнее слова не придумаешь. Мальчики сидели в машине. Вид у него был измученный.

— А как он был с ней?

— Можно сказать, нежен. Мягко. Спокоен. Сказал, что у нее истерика. Когда он вошел в дверь, она завопила, хотела упасть перед ним на колени. Кажется, даже говорила, чтоб он избил ее. Все это было так дико.

— Бедная моя голубка.

— Послушай. Если мы будем жить вместе, чтобы таких штук больше не было. Кончено с бедной голубкой.

— Согласен. Что еще? Он искал меня?

— Он говорит, что не желает тебя видеть, что ему противен самый твой вид, но он хочет сказать тебе кое-что по телефону.

— А он очень зол?

— Вовсе нет. Он очень философично настроен. Он сказал, что так и знал, что ты пойдешь на попятный, но думал, ты переспишь с ней еще несколько раз.

— Он просто не в состоянии понять, до какой степени я идеалист!

— Он излагал философию связи. Сказал, что женщина должна думать о том, чтобы не забеременеть, а мужчина — о том, чтобы прекратить связь, когда это начинает слишком затягивать женщину; надо сказать, мне было несколько странно слышать это от него.

— Почему странно? Это вполне в его стиле.

— Не знаю, забудь о том, что я сказала. Когда я заметила, что это лето было для тебя сущим адом, он сказал: “Не будь дурочкой. Он такой себе устроил праздник!”

— А потом он увез ее домой.

— Через некоторое время. Он еще выпил. Она была в ярости от того, что он вообще со мной разговаривал. Она даже отпустила несколько шуточек насчет того, что я, мол, хочу заграбастать всех мужчин. Честное слово, она сумасшедшая.

— Что ж, может быть, только сумасшедшие женщины и умеют как следует любить.

— Без этого замечания тоже можно было бы обойтись. Я ее даже пожалела. Возможно, я все еще люблю тебя, Джерри, сама не знаю, но уважения к тебе я сей час особого не испытываю.

— А ты бы больше меня уважал, если бы я довел дело до конца и бросил тебя и детей?

— В известном смысле — да. Ведь волновало-то тебя не то, что станет с детьми.

— Нет, именно это.

— Тебя волновало, что станет с твоей бессмертной душой, или еще какая-то чушь в этом роде.

— Я вовсе не говорю, что она — бессмертная, я говорю, что она должна быть бессмертной.

— Так или иначе, в одном я уверена.

— В чем же?

— С ней у тебя все кончено. Она несла такое, что даже Ричард стал тебя защищать.

Руфь внимательно следила, как он это воспримет. Он сказал:

— Отлично.

Джерри уложил детей спать. Укладывая Джоффри, он всегда читал одну и ту же молитву, которую мальчик бормотал следом за ним: “Боже милостивый, благодарю тебя за прошедший день: за еду, которую мы ели, за одежду, которую носили, за удовольствия, которые получали. Благослови маму, папу, Джоанну и Чарли...”

— И Джоффри, — неизменно вставлял мальчик, глядя на себя со стороны, как на члена семьи.

— "...и Джоффри, и дедушку с бабушкой, и наших учителей, и всех наших друзей. Аминь".

— Аминь.

Чарли, самый живой из детей, спал крепко и так быстро засыпал, что Джерри едва успевал взъерошить ему волосы и поцеловать в ухо. Ни о каких молитвах не могло быть и речи. Когда же прекратился этот ритуал? Возможно, мальчик потому так быстро и засыпал, чтоб не молиться. Что ж, пускай, считал Джерри. Ему нравилось, что у мальчика есть гордость — ведь он самый пытливый из троих и потому должен быть самым храбрым.

— Спокойной ночи, — сказал Джерри темной комнате и вышел, не получив ответа.

Джоанна, уже не показывавшаяся отцу раздетой, устроилась в постели с "Пингвинами мистера Поппера".

— Папа? — окликнула она его, когда он приостановился на пороге ее комнаты.

— Да, Джоджо?

— Мистер и миссис Матиас разводятся?

— Откуда ты знаешь это слово — "разводятся"?

— Миссис О. сказала. Ее дочка развелась с одним военным, потому что он слишком много играл в карты.

— А с чего ты взяла, что Матиасы хотят разводиться?

— Она была здесь и ужас как злилась.

— Не думаю, чтобы она злилась на мистера Матиаса.

— А на кого же тогда? На эту ее плаксу?

— Нет. Скорей — на себя. А тебе нравится миссис Матиас?

— Вроде — да.

— Почему только — вроде? Джоанна подумала.

— Она никогда ни на кого не обращает внимания. Джерри рассмеялся, быть может; слишком тепло, ибо Джоанна спросила:

— Она — твоя подружка?

— Что за глупый вопрос. У взрослых не бывает подружек. У взрослых бывают мужья и жены и маленькие дети.

— А у мамы есть дружок.

— Кто же это?

— Мистер Матиас.

Джерри расхохотался от абсурдности такого утверждения.

— Они просто любят иногда поболтать, — сказал он девочке, — но она считает его кретином. Девочка почтительно посмотрела на него.

— О'кей.

— А тебе спать не хочется?

— Вроде бы — да. В этой книжке слишком много слов, которых я не знаю. То есть, я хочу сказать, в общем-то я их знаю, только смысл не могу понять.

— Таких книг много. Так что не утомляй глаза. Доктор Олбени говорит, вообще не надо читать в постели.

— Он кретин.

— Глаза — это очень важно для человека. Спи крепко, детка. Дай я тебя поцелую. — И, обняв дочь, он почувствовал, что голова у нее стала почти как у взрослой, а очертания щеки и голого плеча, когда она легла боком на подушку, — женские. Она выросла с тех пор, как он последний раз по-настоящему видел ее.

Комнаты первого этажа, пустые без детей, прошитые светом фар проходящих машин и тишиной, казались огромными. Руфь поставила на кухонный стол два прибора. Он нерешительно вошел в кухню: когда он был ребенком и мама болела, он так же нерешительно входил к ней в комнату, боясь, как бы она, словно героиня волшебной сказки, не превратилась за это время в медведицу, или в ведьму, или в мертвеца. Руфь протянула ему рюмочку вермута. Вид у нее был выжидающий, а он прохаживался по кухне, потягивая вермут, ел телячью отбивную с салатом, которую она ему подала, и всячески старался заполнить тишину — арену своего поражения, пытаюсь объясниться.

Он говорил:

— Я не понимаю, что произошло. Став женой, или как там это ни назови, она перестала быть мечтой, и впервые я увидел ее.

Он говорил:

— Я не хотел, чтобы она предоставляла выбор мне. Салли не должна была без конца предоставлять мне выбор: ведь я поехал к ней в то утро, уверенный, что все должно быть именно так, а потом поговорил с ней и обнаружил, что это вовсе не обязательно. Все пути были еще до ужаса открыты. Она не так уж сильно хотела, чтобы я был с ней, — хотела не в такой мере, как ты.

Или:

— В общем-то, все дело в Ричарде. Я сидел там тогда вечером и, глядя на него, сказал себе: “А ведь он не так уж плох”. У меня сложилось совсем неверное представление о нем по ее описаниям и жалобам: он человечный; он старался. Я сказал себе: “Господи Боже мой, если он не смог сделать ее счастливой, то и я не смогу”.

Или:

— Она такая самонадеянная.

В его попытки объяснить — неуклюжие и надуманные, нелепые и неопределенные — вторгался голос Руфи, мягкий, но с какими-то жесткими нотками, и в этих ее поисках истины было что-то до такой степени унитарное, убежденное, даже разрушительное.

— Не понравилось мне то, как они оба навалились на тебя.

И:

— Если она так уж тебя любит, почему же ее не устраивает просто связь с тобой? И:

— Они оба такие самонадеянные.

И периоды сдвоенного молчания, не казавшиеся тягостными от того, что оба они рывками — то продвигаясь вперед, то останавливаясь — одновременно начали рассматривать оказавшийся перед ними предмет, набор предметов, тайну из света, и цвета, и тени. В этой готовности жить на параллелях таилась их слабость и их сила. Когда они сели пить кофе, а за окном такая же темная, как кофе, чернела ночь, зазвонил телефон. Джерри застыл в испуге, вынуждая Руфь подойти к аппарату; она сняла трубку в гостиной, послушала и сказала:

— Он здесь. — И негромко позвала, повернувшись к кухне:

— Джерри, это Ричард.

Он тяжело поднялся из-за стола и прошел сквозь полосы тени к телефону. Руфь слушала, кружа по комнате, включая лампы.

— Да, Ричард. — Иронично, устало, примирительно. Голос у Ричарда словно ссохся, гулкость ушла.

— Джерри, мы разговаривали — сегодня не слишком долго, и я, возможно, чего-то не понял. Правильно ли я тебя понял, что, если я разведусь с Салли, ты не будешь с ней?

Повторяю: не будешь?

Старая вилка конем.

Джерри мог бы слабо заблестеть, взывая к рассудку, хотя давно убедился, что на хамов это не производит впечатления, или возразить, что жизнь, в отличие от шахматной доски, не всегда только черная или белая. Вместо этого он сказал:

— Совершенно верно. Я не буду с ней.

Ричард помолчал, ожидая, что Джерри объяснит, но объяснений не последовало, и он сказал:

— Я так и подумал, но, откровенно говоря, Джерри, просто не мог поверить. Не мог поверить, что ты такой черствый, хотя Салли уверяет меня, что ты — порядочный. Значит, ты не будешь с ней, что бы ни случилось?

По тому, с какой сценической четкостью Ричард произносил слова, Джерри догадался, что Салли, видимо, слушает по отводной трубке наверху. Он вздохнул.

— Ты будешь с ней. Она твоя жена. А у меня есть своя.

— Не знаю, приятель Джерри, просто не знаю. После того как она вела себя со мной, не знаю, останется ли она моей женой или нет.

— Это уж тебе решать. Как скажешь, так и будет.

Ричард сказал:

— Я заставлю тебя заплатить за это, приятель Джерри. Я заставлю тебя страдать — так, как ты заставил страдать нас. Ты потрясающий малый. Потрясающе жестокий.

Память Джерри метнулась назад — пляж, дюны, желтое бикини, теплое вино, запах их тел, — и он спросил с искренним любопытством:

— В самом деле? Ричард бросил трубку.

Руфь спросила:

— Что ему было надо?

— По-моему, он хотел устроить спектакль и показать Салли, какая я сволочь. Она все слышала по отводной трубке.

— Она что-нибудь сказала? Или ты слышал, как она дышала в трубку?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь, что она была у телефона?

Джерри повернулся и рявкнул:

— Потому что она — везде!

Руфь испуганно уставилась на него. Хотя она зажгла лампы на всех столиках у стен, середина большой комнаты тонула в темноте, а именно там Руфь и стояла.

Джерри пояснил:

— Ричард был раздражен, потому что теперь ему надо принимать решение, а ему совсем неохота, как и мне: мужчины не любят принимать решения, они хотят, чтобы Бог или женщины принимали решения за

— Некоторые мужчины, — сказала Руфь.

Она пошла на кухню, а Джерри подошел к окну. В темноте за холодным стеклом был Ричард — ветви вяза переплетались и гнили в лишенной Бога стихии, которая и есть суть его врага. Весь мир был Ричардом. “Я заставлю тебя заплатить за это, приятель Джерри”. Где-то на улице выше их дома с ревом включился мотор автомобиля; Джерри съежился, сознавая, что силуэтом выделяется на фоне окна. Визжа шинами, автомобиль промчался мимо — какие-то мальчишки, никого: выстрела не последовало. Джерри улыбнулся. “Ты малый потрясающий. Потрясающе жестокий”. До сих пор его никто еще не ненавидел. Не любили, не считались с ним, но никто не ненавидел; а это, оказывается, помогает чувствовать себя живым. “Смотрика, Салли-О, верно, из Иисуса Христа получилась хорошая ногтечистка?” Глядя сквозь черное, мутно отсвечивавшее стекло, — стекло, похожее на холодную оболочку его разума, — Джерри порадовался, что нанес своему врагу — мраку неизлечимую рану. Кинжалом своей плоти он заставил умолкнуть насмешников. Иисус был отомщен.

V. Вайоминг

Джерри и Салли сошли с самолета в Шайенне. Они с трудом спускались на негнущихся ногах по гулким стальным ступеням, и Джерри, вдохнув всей грудью воздух, понял, что он — дома: непередаваемый воздух Запада, казалось, навеки освободил его легкие от угрозы удушья. В порыве признательности он поспешно обернулся, чтобы проверить, ощутила ли и Салли эту благодать, — она спускалась за ним следом, держа обоих мальчиков за руки, тогда как он нес Теодору и выданный авиакомпанией большой пластиковый мешок, набитый игрушками и книжками. При виде Салли на душе снова — как всегда — стало радостно. На ней был полотняный костюм в тонкую полоску, с рукавами, доходившими до половины ее длинных, покрытых пушком, рук, поперечные складки, образовавшиеся спереди на юбке от долгого сидения, подчеркивали красоту ее широких бедер. Она улыбнулась и сказала:

— Здорово, верно?

— Небо, — сказал он. — Фантастическое небо. — Над ними, в светлой голубизне, припудренной и строгой, кипели, кипели гроззовые тучи, снизу прозрачные, а выше — белые, такие исконно, девственно белые, что глаз невольно окружал их черной каймой, увеличивавшей их массу. По форме они были самые разные, но не тяжелые и не насыщенные дождем, — достаточно появиться в воздухе малейшему дуновению,

малейшей перемене, казалось Джерри, и они рассеются.

На западе вздымались горы, фиолетовые, в меловых, а скорее — снеговых пятнах; в прозрачном воздухе далекие пики казались совсем близкими и в то же время необитаемыми, ненастоящими, как внезапно прыгающий на тебя пейзаж с укороченной перспективой, если смотреть на него в телескоп. В рыжеватых просторах, где-то на полпути к горам, бежала одинокая, видимо, невзнузданная лошадь без всадника, а череда деревьев — скорее всего тополей — возвещала близость воды. Долина была устлана свежим, серебристым, изысканно-зеленым ковром — должно быть, польнь, подумал Джерри. Созвездие камней вдали превратилось в отару овец. На переднем плане были озера, поле для гольфа, красный форт. А как раз под ними кричаще-черной страницей лежал макадам аэродрома, испещренный полосами и нефтяными пятнами, цифрами, стрелами и разноцветными крышками закопанных в землю резервуаров — всеми этими знаками сложного языка, которым пользуется во всем мире раса близоруких гигантов. Став на твердую землю, Джерри поднял глаза и сказал:

— Привет?

— Привет, — сказала Салли позади него, уже рядом с ним. — Чувствуешь себя совсем свободным?

— А мы свободны?

— От некоторых вещей. — Произнося это, она откинула назад волосы и широко шагнула вперед. Она устала. Бобби и Теодору тошнило, пока они летели над шахматной доской центральных штатов. Наверное, потому, что Бобби больше всех похож на отца, Джерри обнаружил, что подыгрывает ему, — то ли стремясь преодолеть инстинктивную неприязнь, то ли желая умиротворить мерзкую властность, которую он чувствовал в Ричарде. И сейчас он обратился к мальчику:

— Как дела, шкипер?

— У меня горло болит, — сказал Бобби, утыкаясь лицом в бедро матери.

— Ты просто пить хочешь, — сказал ему Джерри. — Мы тебе сейчас купим кока-колы в аэропорту.

— А я хочу виноградной содовой, — заявил Бобби.

— А где ковбой? — спросил Питер. Хоть и совсем еще крошка, он словно бы вменил себе в обязанность быть буфером между братом и отчимом, отвлекая их от мертвой схватки, которую им вечно предстоит вести.

— Я видел уже двадцать ковбоев, — презрительно объявил Бобби, да так оно и было, потому что даже механики на аэродроме и те носили десятигаллоновые шляпы.

В аэровокзале было такое множество ковбоев, что казалось, танцевальная труппа ждет самолета на Нью-Йорк — все в узких джинсах от Леви, сапогах в гармошку, распахнутых жилетах, крученых шнурках на шее. Но нет, то были обычные люди, запрограммированные и подогнанные под костюм, который в свою очередь подогнан под местную природу. Взглядом, отточенным непогодой до жестокой скуки, бесцветными глазами, из которых небо вытянуло всю краску, ковбои изучали Салли, ее ситцевую красоту. Джерри легонько обнял ее за талию, демонстрируя свое право и отклоняя подозрение в импотентности: ему казалось, всем и каждому ясно, что все трое детей — не его. Салли вздрогнула от его прикосновения, повернулась с застывшим от испуга взглядом и резко сказала:

— Я подержу Теодору, а ты сходи за чемоданами.

— Возьми-ка для Бобби кока-колы вон там, в автомате. Может, там есть и виноградная содовая.

— Если уж брать ему, надо брать всем троим. А он может попить и у фонтанчика. Это у него от рвоты раздражено горло.

— Я обещал мальчику кока-колу.

— Ты избалуешь его, Джерри.

Он подумал: а быть может, и в самом деле по какой-то непонятной причине он стремится перетянуть на свою сторону этого мальчика, оторвать его от матери, которая слишком с ним крута. Он почувствовал, что начинают возникать ситуаций, над которыми ему и в

голову не приходило задуматься; внезапно все, даже получение багажа, — а ведь это был, несомненно, их багаж, — показалось ему необычайно сложным, хуже того — непорядочным, нечестивым, вызывавшим чувство клаустрофобии. Он явно переоценил себя. Собрать разбросанные вещи, вывести их всех из аэровокзала на улицу представлялось ему поистине невозможным.

Салли, уловив перемену в его настроении, спросила:

— Рад, что ты здесь?

— Что с тобой — да.

— Я научу тебя ездить верхом. Ты здорово будешь выглядеть на лошади.

— Я сломаю себе шею.

— Смотри, вон наши чемоданы. Теодора, не смей. — Под грохот громкоговорителей и шарканье спешащих пассажиров девочка опустилась на пол и заплакала. — Твой новый папа решит, что ты очень несчастна.

— Я тоже хочу коку, — сказала она.

— Вот, — повернувшись к Салли, сказал Джерри. — Три монеты.

Когда багаж, наконец, был получен, и носильщику дали на чай, и схватили такси, дух приключения — повеление рисковать, завещанное нам Священным писанием, — объединил их вновь. Бобби сел с шофером; Джерри, Салли и двое младших детишек разместились сзади. Машину — вместительный старый “пontiак” — вел индеец. Голос у него, когда он спросил, куда ехать, был низкий, и он тщательно произносил слова, словно выкапывал их из земли или мысленно переводил на английский с какого-то более древнего языка. Бобби, как зачарованный, уставился на блестящие черные волосы, пергаментную щеку и амулет из бусинок на зеркальце заднего обзора, и Джерри почувствовал облегчение от того, что ему удалось на какое-то время умиротворить этого сложного ребенка — его новую совесть. Дорога, которая сразу за аэропортом пошла по голым окраинам, где то и дело приходилось снижать скорость и останавливаться на перекрестках, вывела их на просторы долины, и к Джерри вернулось первое впечатление шири и благодати. Воскрешая познания, почерпнутые из путеводителей, он наугад определял буйволу траву, маттиолы и колокольчики; между пучками полыни были гладкие проплешины, где ничто не желало расти. Чтобы не наслаждаться таким счастьем одному, он протянул руку за спинами детей и переплел свои пальцы с пальцами Салли. А она остекленело глядела на однообразный пейзаж. Ее рука на ощупь была твердой и напряженной — рукою труженицы, что ему нравилось. Хотя она ответила на его застенчивое пожатие, которым он давал понять, что готов оберегать ее, в уголке ее рта появилась горькая складка, словно она сожалела, что уже не может по своей воле дарить ему то, что им завоевано и принадлежит по праву. И будто капнули ядом. Самый воздух изменился — чуть-чуть, но достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие их обоюдной иллюзии. Запах полыни усилился; такси поехало быстрее; светло-зеленые побеги замелькали с такой стремительностью, что казались голубыми. Голова индейца, как изваяние, вырисовывалась на свету. Детские головки словно застыли изящными черными силуэтами; Джерри произнес: “Эй?”, и Салли не ответила; пустыня вокруг них — и они вместе с нею — испарилась, исчезла, ее никогда и не было.

Джерри и Руфь спускались на самолете к Ницце. Машина накренилась, и сверкающее Средиземное море прыгнуло на них: пилот совершил серьезную ошибку. В самый последний момент, словно карта, вытянутая со дна колоды, под ними все же открылась земля; колеса самолета ударились так, что затрещали шасси; все закачалось, моторы яростно взревели: они приземлились. Чарли рассмеялся. Маленькие, крытые черепицей домики Лазурного берега потянулись мимо, точно игрушки на веревочке, пока самолет подруливал к стоянке. Надпись “ATTACHEZ VOS CEINTURES” note 32 погасла, затем погасло “DEFENSE DE FUMER” note 33 . Они схватили свои пальто и встали; вслушиваясь в гул голосов вокруг, Джерри понял, что самолет, весь выложенный пластиком, такой весь голубой и американский на аэродроме Айдлуайлд, теперь аннексирован французами. Все говорили по-французски, а он этого языка не знал. “Au revoir” note 34 , — сказала стюардесса, и они стали спускаться по металлическим ступеням. Воздух был мягкий,

чистый и как бы состоявший из отдельных частиц — изрезанный и иссеченный, точно на картинах кубистов, косыми лучами чуть теплого солнца. Им открывались целые миры для обозрения, но глаза Джерри были мертвы: утрата притупила их остроту; дети и жена нетвердой походкой пронесли его чувства по закодированной ленте бетона, через обрывки впечатлений. В толчее у паспортного контроля он услышал — потому что это было повторено несколько раз, — как чиновник в синей форме с раздражающим удивлением произнес: “Trois enfants” note 35 . Джерри услышал, что его жена разговаривает с этим человеком по-французски, и удивился: что за странная женщина стоит рядом с ним, как она могла держать в себе на запоре целый язык. А в аэровокзале, наполненном, будто во сне, шарканьем чужих ног, стояла Марлен Дитрих в замшевых брюках и сапожках на высоком каблуке и курила сигарету, держа длинный перламутровый мундштук. Его дети, в упоении от чувства безопасности и свободы, промчались под ее взглядом, и эта женщина, сочетание света и тени, призраком возникшая из времен его детства, посмотрела на них с откровенным, неожиданным для призрака интересом и благожелательностью.

Марлен Дитрих выглядела молодо за зубчатой стеной своих чемоданов. Джерри увидел в ней доказательство той истины, что путешествия отодвигают смерть — это способ купить жизнь за мили. Он же путешествует, потому что адвокат Ричарда посоветовал ему уехать на время. Он взял отпуск в своем агентстве и собирался заняться живописью. Они с Руфью снова будут сидеть рядом и рисовать. Он прошел сквозь стекло на улицу, где ждала черед такси, на которых, вопреки ожиданию, значилось: ТАКСИ.

— A Nice? note 36 — спросил шофер в куртке такой синевы, какую Джерри видел только на картинах.

— Oui, б Nice s’il vous plaot note 37 , — сказала Руфь и, краснея, назвала отель, словно агент из бюро путешествий мог их подвести. — Votre voiture, est-ce que c’est assez grand pour trios enfants? note 38

— Oui, oui, ca va, madame, les enfants sont petits. note 39

Чарли сел впереди с шофером, остальные четверо — сзади. Джоффри захныкал, что его совсем задавили.

— Нас всех задавили, — сказал ему Джерри, отчаянно стараясь преодолеть стеснение в легких, которое патологически возникало при малейшем нервном напряжении.

Руфь сказала:

— Посмотрите-ка все в мое окно — прямо как картина. — По ту сторону дороги, дальше от моря, на недавно разбитых участках произрастала древняя культура; крутые зеленые склоны, которые по сравнению со стертыми холмами Коннектикута, казалось, только только обрели форму, были со скардным тщанием разбиты на поля и террасы; по этим склонам средневековой перспективой громоздились городки. Европа была четкой по цвету и загроможденной по рисунку. Сероватая зелень на ближних холмах, тускло поблескивавшая, как волосы женщины, когда она их расчесывает, — это, должно быть, оливы. А по другую сторону — извилистая полоса желтовато-грязного песка чуть шире шоссе, окаймленная водорослями и усеянная бетонными волнорезами, отнюдь не напоминала то, что Джерри привык называть пляжем, — тут требуется другое слово. Оно и значилось на зеленом указателе: PLAGЕ.

Джоанна, зажатая между Джерри и окном, произнесла величественно-безразличным тоном:

— На всех дорожных знаках — маленькие рисуночки. — У Джерри было такое чувство, будто она обращается не столько к своим родителям, сколько к идеальным родителям из школьных хрестоматий, лишенным национальной принадлежности, счастливым и автоматически восхищающимся всеми чудесами жизни.

Стремясь подладиться под ее тон, Джерри сказал:

— Это для того, чтобы такие тупицы, как мы, не потерялись. — Когда путешествуешь, всюду видишь опознавательные знаки, указатели, инструкции. Только дома их нет.

Джоанна спросила:

— Почему здесь столько этих стекляшек?

- Оранжевой?
- Наверное.
- Они выращивают цветы для парфюмерной промышленности.
- В самом деле?
- Я так полагаю.

Мимо них на мотоскутере промчалась блондинка с развевающимися на ветру волосами. На ней были белые брюки в стиле "Сен-Троpez" и полосатая вязаная кофточка, — Джерри вжал ногу в пол: прибавить скорость, нагнать ее, заглянуть ей в лицо. Сердце у него учащенно забилось, но такси ехало с прежней скоростью. Руфь повернулась, вглядываясь в его лицо, и то, что она на нем обнаружила, передалось ей, потом снова передалось ему, словно отразившись в двух зеркалах, и маленькое пространство машины наполнилось душераздирающей тоской и напряжением. Он промямлил в качестве объяснения:

— Непостижимо.

Руфь сказала:

- Ты увидел ее позже, чем я. Сходства почти никакого.
- Очень это плохо, — сказал он. Она отвернулась; он почувствовал, что настроение у нее упало, а у него соответственно поднялось. Он посадил на колени Джоффри, прижал его к себе и спросил:
- Как дела, шкипер?
- Отлично. — Мальчик произнес это каким-то грустным тоном, протянув "и".
- Тебе все еще кажется, что тебя задавили?
- Не очень.

Чарли, не сводивший зачарованных глаз с шофера, обернулся — веснушчатое личико его сияло лукавством — и сказал:

— Он вечно жалуется, потому что он еще маленький.

Нижняя губа у Джоффри задрожала, животик под рукой отца вздулся под напором воздуха, который он набрал в легкие, готовясь зареветь. Джерри быстро произнес:

— Смотрите-ка! Мы въезжаем в город, который зовут Славным. note 40

Они въехали в Ниццу — точно въехали в призму. Фасады высоких белых отелей заливало солнце, так что от карнизов и тентов над окнами падали под углом в сорок пять градусов синие тени. Под пальмами, за круглыми стеклянными столиками, сидели дамы и господа в пальто. По Английскому променаду прогуливались люди, четко разделенные на свет и тень, как луна в срединной фазе. Джерри заметил одного типа в самом настоящем монокле. Он увидел женщину в жакете из шиншиллы, которая покупала букетик горных фиалок, завернутый в газету, в то время как пара серых пуделей симметрично обвивала ее ноги своими поводками. За зелеными перилами, ограждающими променады, убежал вдаль, извиваясь, пляж — туда, где над блестящей сталью моря нависает что-то вроде нежно-розового форта; пляж — каменистый, весь в подвижных, намытых водою камешках, в крошечных впадинах и щелях, между которыми, словно в трубах органа, мелодично вздыхал океан. Берег полнился этой музыкой, а вокруг — солнце, сверканье, яркие краски, разноцветные зонты. Джерри сказал Руфи, просто чтобы что-то сказать:

— До чего хорошо. Мне здесь может понравиться. Она восприняла его слова как эстетическую оценку и, проверяя ее, посмотрела в окно.

— Разве не тут обосновываются все короли в изгнании? — спросила она.

Такси свернуло с набережной Соединенных Штатов и поехало вверх по боковой улочке, мимо заржавевшего остова цветочного рынка и магазина с украшенными железной филигранью решетками.

— Nous sommes arrivés, mes enfants note 41, — объявил шофер и обернулся, охватив всех широкой улыбкой, обнажившей желтые от табака зубы. — Ми приехали! — добавил он на ломаном английском.

А из отеля уже выскочили портье и два его помощника, весело и жадно накинувшиеся на них, ибо в это время года постояльцы редки. Было ведь начало ноября.

Предводительствуемые Руфью, они последовали за багажом и долго карабкались по

прохладным ступеням зеленовато-серого мрамора к фасаду, похожему на свадебный торт.

Джерри сошел в Сент-Круа. Тропический воздух, живой и нежный, как брызги распылителя, дохнувший ему в лицо на заре в Сан-Хуане, здесь был суше. Джерри чувствовал необычайную легкость во всем теле, на душе у него было хорошо: он спал всего два часа во время ночного полета из Айдлуайлда, где, стремясь избавиться от стеснения в груди, вдруг взял и сел в самолет. И тяжесть из легких ушла. Аэровокзал был новый, без дверей, так что лишь тень лежала границей между внутри и снаружи. В помещение залетал бриз, принося дыхание земли и цветов. За кромкой тени, сквозь дымку равномерно вращающегося распылителя и сетку аэродромной ограды, видно было, как потоки воздуха, взвихренные пропеллерами самолета “Кериб Эйр”, на котором он прилетел, взметнули столбы пыли, и черные носильщики, вдруг обезножив, словно повисли в воздухе. На низком зеленом холме, таком тусклом, точно вся краска впиталась в незагрунтованное полотно, высилась конусообразная громада — должно быть, остатки сахарного завода, подумал Джерри. Земля казалась одновременно истощенной и девственной. Похоже, самое подходящее для него место.

На стоянке такси негр с сигаретой за каждым ухом спросил, куда он хочет ехать — в “Кристианстед” или в “Фредерикстед”. Джерри не ожидал, что здесь будет выбор.

— А который из них вы рекомендуете? Нетр деликатно пожал плечами.

— Сами решайте, приятель. Один — там, другой, — он повел глазами в нужном направлении, — вон там.

— Значит, в оба сразу поехать я не могу? — сказал Джерри, решив пошутить.

Спокойное молчание последовало за его вопросом, не нуждавшимся в ответе; дышалось ему легко, он чувствовал, что начинает любить эту черту обитателей тропиков — терпеливое ожидание. Он сказал:

— Все, что мне надо, это комната и пляж. — Стоял март, ему говорили, что гостиницы к этому времени начинают пустеть.

Негр посмотрел поверх плеча Джерри, затем повернулся и нежным жестом открыл дверцу своего такси.

— Устроим вас в наилучшем виде, — сказал он.

Джерри залез в машину, и за те несколько минут, что он ждал, пока она двинется с места, еще два негра, а потом еще один вышли из тени аэровокзала и сели к нему в такси: один — впереди с шофером, двое других — сзади, с ним. Его оттеснили в угол. Негры, взрослые мужчины, хихикали и болтали о чем-то непостижимом; они переговаривались на каком-то своем языке, помеси колких шепотков и недосказанных намеков, — совершенно непонятном, хоть и английском языке. Такси помчалось на большой скорости по левой стороне прямой дороги, огражденной с обеих сторон стеной сахарного тростника; прямо на них мчалось другое такси, и они в последний момент чудом избежали столкновения — совсем как в аттракционе с зеркалами. Они проезжали мимо каменных островов с прорезями, в которых когда-то стояли штыри исчезнувших жерновов, мимо хибар, крытых жестью, и более новых, американского типа, домиков, белых, оштукатуренных, с окнами, прикрытыми жалюзи, с бугенвиллеями, с водосточными трубами и цистернами для дождевой воды. На перекрестке указатель гласил: “Верхняя Любовь”; такси остановилось, и один из негров вылез. Шофер спросил громко, совсем другим голосом, явно обращаясь к Джерри:

— Хотите поехать через горы-ы?

— Конечно, — сказал он. Покорись. Забудь.

Они забрались высоко — туда, где были пастбища и стояли раскидистые деревья с белой корой, свисавшей вниз, точно листья, засохшие среди лета. Выше и выше — бирюзовый океан, испещренный пятнами лаванды, то появлялся перед глазами, то исчезал. Теперь вокруг них сомкнулся лес, где волосатые лианы тонули в облаках гибискуса, а корни красного дерева сплетались над землей, образуя у края дороги причудливые храмы-пещеры. Что-то серебристое, точно ртуть, нырнуло под колеса такси, в машине вспыхнул возбужденный разговор, и таксист произнес намеренно четко, для Джерри:

— Ман-гу-ста.

Громыхая по скверной, в выбоинах дороге, они за поворотом вдруг выскочили из леса прямо в небо и остановились. Двое негров вышли и, не оглядываясь, направились к невидимому дому. Джерри понял, что никогда не увидит их домов. Передвинувшись на другой край опустевшего заднего сиденья, он глядел на ленту берега, гогочку шоссе, точки красных крыш с такой же высоты, с какой месяц назад глядел на серые крыши Квинса, тесно придвинутые одна к другой, как картонки на складе.

Моторы самолета тогда вдруг заревели сильнее, черная вода подпрыгнула навстречу им, дети умолкли. Руфь сжала его руку. Колеса чиркнули по бетону полосы, огромное голубое тело машины содрогнулось и жалобно заскрипело — минута опасности миновала. Они были дома.

Из окна спальни домика, что они сняли в О-де-Кане, Джерри, задыхаясь от удушья рядом с Руфью, спавшей сном праведницы, мог видеть за глубокой узкой долиной, где когда-то жил? Модильяни со своей любовницей, созвездие Ориона. Созвездие это словно бы сопутствует морю и самой своей вытянутой формой, напоминающей стройного мужчину, почему-то приносит успокоение, помогает дышать. Вернувшись в Америку, Джерри обнаружил, что созвездие трудно найти: его заслоняли вездесущие деревья, затмевали яркие искусственные огни — оно словно переместилось в звездном пространстве. Когда же однажды с какого-то открытого места Джерри увидел своего утешителя в изгнании, у Ориона не было того дружелюбного сияния, какое, возможно, придавала ему близость посеребренного луною тела его переменной возлюбленной — Средиземного моря, чей шелестящий сон поверженный охотник, опершись на локоть, казалось, неусыпно оберегал.

В Гринвуде Салли нигде не было видно, хотя Ричард в новом белом “порше” появлялся в городке по уик-эндам, а однажды в сумерки, не по сезону мягким мартовским днем, Джерри увидел его на заброшенной дороге с Джейнет Хорнунг — они ехали в машине со спущенным верхом и выглядели точно дети, застигнутые врасплох в одной ванне. Шофер вытянул сигарету из-за уха и закурил — они спускались к пляжу и к городу. Россыпь камней на откосе оказалась отарой овец. Появились дома, но людей не было. Эй, Салли?

Да, Джерри? Ну, как все было? Очень худо?

Временами, но ты был прав, я это знала. Ты очень мудро понял в тот день, чего я на самом деле хотела, а мне казалось, я хотела как раз обратного.

Жаль, что я был таким мудрым. Жаль, что на самом деле ты хотела не меня.

Я хотела тебя и хочу. И ты принадлежишь мне, как Орион принадлежит морю.

Но то ведь боги, а мы с тобой простые смертные, как ты однажды сказала. И мы запутались, потому что мы люди. Ведь все получилось главным образом из-за детей.

Нет, мне бы тоже хотелось так думать, и ты очень добр, что лжешь мне. Но не было бы детей, было бы что-то другое. Была бы Руфь. А поведи себя Руфь иначе, ты бы нашел другой предлог. Ты хотел, чтобы я была безупречной.

В том-то и дело, верно? Такой ты останешься для меня навсегда.

Не навсегда, дорогой, — ты ведь не любишь, когда я зову тебя “дорогой”, да? Никогда не любил, тебе казалось это искусственным. Я никогда не знала, как тебя называть, а в минуты близости мне так хотелось при-думать тебе подходящее имя, но я молчала.

Надо было хоть что-то сказать. Что угодно.

Я стеснялась.

Ты?

Да.

А сейчас ты как? У меня такое чувство, будто я мертвый.

Я все еще не оправилась от потрясения, но теперь уже легче. Я больше не твоя. Ты должен это знать. Через какое-то время я, наверное, ожесточусь и стану тебя ненавидеть, потому что ты унизил меня, а потом и это пройдет, и все мне будет, в общем-то, безразлично. Ты станешь моим бывшим любовником, и между нами могут даже установиться дружеские отношения.

Это звучит ужасно. Ужасно.

Женщины пытаются быть как мужчины, Джерри, что-то надумывают, но в конечном счете все мы люди практичные: жизнь заставляет. Надо идти своей дорогой, одному. Нет. Я не верю тебе. Я любил тебя, потому что ты верила в то, во что верил я. И я следовал за тобой туда, где, кроме нас, никого не было.

Любая женщина, с которой ты будешь спать, ответит тебя туда же. Ничего другого у нас с тобой нет, мой дорогой, — только настоящее, а это — Руфь и Ричард. Люби Руфь, Джерри. А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я — шлюха.

Этот воображаемый разговор между ним и той Салли, чей образ он носил в себе, закончился словами, которые она действительно ему сказала. Это было на вечеринке у Коллинзов, в феврале. Войдя в набитую людьми комнату, он увидел ее, и у него возникло ощущение, что он вобрал ее глазами и она сразу заполнила матрицу, которую он всю жизнь, включая и месяцы, проведенные во Франции, создавал. Они вернулись из Франции, потому что дети заскучали по дому и им пора было в школу. Линда Коллинз написала, что Ричард не будет устраивать сцены: Салли утихомирила его. С живописью ничего не получилось: погода все время стояла чуть слишком прохладная для работы на у яйце, а однажды даже пошел снег, оторочив белым пухом кактусы у них в садике. Словом, хотя Джерри взял отпуск на полгода, во Франции они пробыли меньше трех месяцев. Сидя в комнате, он рисовал карикатуры — и не без удовольствия, хотя все карикатуры потом вернулись к нему. Как и он вернулся домой. После недолгой болтовни сквозь дым его сигареты — о здоровье, о лыжах, о детях — Салли сказала: “А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я — шлюха”, и отвернулась. В отеле в Вашингтоне она в свое время вот так же повернулась к нему спиной и заснула, а он терзался бессонницей. И вот он бродил по комнате, переходя от одной группы гостей к другой и терзаясь, а она стояла рядом с Ричардом. Ричард располнел, налился зрелостью, волосы у него так отросли, что завивались на шее, и, возможно, для большего впечатления он надел черную повязку на слепой глаз. Он выглядел огромным и очень храбрым. Из безопасного укрытия под его крылышком пронзительно звучал голос Салли, отдаваясь в каждом углу. Руфь подошла к Джерри и шепнула, что Салли, похоже, снова стала прежней. Он согласился — да, и подумал, а не напрасно ли он пытался оторвать Салли от ее подлинного “я”.

— Ви едит Сент-Круа для отдых?

— Для перемены места.

Они въезжали в город. Выбеленные солнцем деревянные домики со старинным кружевным орнаментом стояли, как на сюрреалистической картине, вдоль прямой пустой улицы. Негр, лишенный тени, кособоко перекособочил через дорогу под самым их носом. Справа трепетало, переливалось молочно-зеленое море, и грязно-серое грузовое судно стояло на якоре. В конце улицы высился форт со скошенными стенами, весь красный, как цветок на открытке, какие посылают в День святого Валентина.

— Где я? — спросил Джерри.

— “Фредерикстед”, — ответил шофер.

— Я на востоке или на западе?

— Запад, мсье. Конец остров. Ви хотел на восток?

— Нет, это меня вполне устраивает. Великолепно. А место для меня тут найдется?

— Минутка — сейчас приедем. Не надо терять терпеньев.

Джерри опустил стекло, нетерпеливо стремясь почувствовать себя свободным, слиться с этими редкими домиками, с жалкими, унылыми лавчонками, с лютеранской церковью, оставшейся от датчан, с фортом — со всем этим розовым покоем, излучаемым высоким зеленым морем. Он всей грудью вдохнул воздух. Да, наконец он нашел это место, и воздух здесь такой, как надо. Он всегда говорил ей, что есть такое место, и вот теперь он его нашел, он сдержал слово и привез их сюда. Он был несказанно, безмерно счастлив. Сам факт существования этого места на земле убеждал его, что есть такое измерение, в котором он пошел — что было правильно — на ту вечеринку, или пойдет на следующую, и, глядя застенчиво и ликующе в ее милое, печальное, с опущенными глазами лицо, скажет

своей Салли: “Давай поженимся”.